

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

С некоторого времени жизнь в провинции изменяется. Мало-помалу в эту жизнь входят новые элементы, которые захватывают более значительную массу деятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мере, нет того повального бездельничества, которое, в буквальном смысле слова, сокрушало провинциальное общество лет двенадцать – тринадцать тому назад.

Даже центры деятельности сдвинулись с прежних гнезд, а вместе с тем изменились и роли самих деятелей. Деятельность органическая видимо отдаляется от старых центров и скромно приурочивается к новым. Советники разных палат и управлений, конечно, еще существуют, но прежде они ходили окруженные светозарным облаком, теперь же путешествуют по административным пажитям большею частью инкогнито и в значительно сокращенном виде.

Как и водится, такое перемещение деятельных центров производит немалый переполох и в самых деятелях. В одних оно возбуждает зависть и худо скрываемую досаду, в других – чувство робкой недоверчивости, смешанное с некоторым удивлением. На одной стороне сцены стоят люди, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными историографами России и зиждителями ее судеб, на другой стороне – люди новые, которых девизом еще так недавно была знаменитая поговорка: «Изба моя с краю, ничего не знаю». Середку (хор) занимают так называемые фофаны, то есть вымирающие остатки эпохи богатырей. Понятно, с каким чувством смотрят исконные историографы на пришельцев, которые отныне обязываются разделять их труды по части сочинения русской истории.

С призывом новых сочинителей на поприще русской истории старые историографы чувствуют себя неловко. Во-первых, им стыдно, что история, которую они до сих пор сочиняли, имеет несомненное сходство с яичницей; во-вторых, они боятся, что пришельцы, пожалуй, догадаются, что это не история, а яичница, и вследствие того не выдадут им квитанции; в-третьих, им сдается, что пришельцы наступают им на ноги, и хотя говорят: «pardon», но с заметною в голосе иронией; в-четвертых, они чувствуют, что им нечего делать, что праздного времени остается пропасть, а девать его решительно некуда. Поэтому истинный историограф с раннего утра мучится подозрениями и беспокоится мыслью, как бы ему на кого-нибудь так наехать, чтоб от наезда этого гром прокатился от одного конца вселенной до другого, и чтобы разумели языцы, что зубосокрушающая сила отнюдь еще не упразднилась.

Сдается, однако, что опасения старых историографов чересчур преувеличены и происходят оттого, что последние, погрузившись исключительно в сочинение русской истории, недостаточно обогатили свой ум знакомством с политической экономией. Если б этот пробел в их воспитании был пополнен, они поняли бы, что первое условие успешности всякого труда есть его разделение и что появление на сцену новых сочинителей по части русской истории представляет собой не что иное, как ближайшее последствие этого условия. Чтобы изготовить надлежащую яичницу, необходимо, во-первых, затопить печь, во-вторых, вычистить сковороду, в-третьих, выбрать и выпустить яйца и т. д. Каждая из этих операций требует особого специалиста, ибо, ежели выпускать яйца примется истопник, то он легко может помять желтки. Следовательно, стряпать яичницу силами совокупными не токмо не предосудительно, но даже приятно. Работа на людях идет скорее и веселее; истопник подстрекает судомойку, судомойка поощряет повара; поют песни, перебрасываются невинными шутками, а яичница между тем поспевает да поспевает. Не ясно ли, что такого рода зрелище ничего, кроме отрад, возбуждать не должно?

И действительно, наплыв пришельцев отнюдь не означает ни злоумышления, ни посягательства, а есть просто последствие признания принципа разделения труда. Внешние формы труда бесспорно видоизменились, но сущность его осталась столь же обильною разного рода случайностями, как и в то время, когда еще не было истории, а был мрак времен. Конечно, тут, кроме сущности труда, может возникнуть еще вопрос о том, кому-то придется съест устроенную общими силами яичницу, но, по мнению людей благомыслящих, такого рода вопрос, по малой мере, преждевременен. Подобное забеганье вперед может самого кипучего деятеля

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru заставить опустить руки, может тлетворно подействовать на успех дела самого несомненного. Политическая мудрость всех веков и народов убеждает, что цели ближайšie и непосредственные суть, в то же время, и наиболее желанные, а как в настоящем случае ближайшую цель составляет производство яичницы, а не потребление ее, то примемся за это дело вкупе и не будем раздражать нашу мысль опасениями будущего. Ибо съест яичницу, наверное, тот, кому съесть ее надлежит.

Мысль об отдавливании ног, об ироническом выражении ртов и носов есть именно порождение подобных бесполезных забеганий вперед. Всякий согласится, что не изобретено еще тех чувствительных весов, с помощью которых можно было бы взвесить вещь столь неуловимую, как выражение лица. Можно даже утверждать, что самое представление о том или другом выражении лица есть представление почти субъективное. Вы раздражены, ваша мысль напугана неизвестностью будущего, и вот вам кажется, что все носы иронизируют, что все ноги направлены к тому, чтоб злоумышлять против ваших мозолей. Но успокойтесь на минуту, оторвите вашу мысль от сомнительного будущего, и вы убедитесь, что глаза ваши лжесвидетельствовали, что уши были с ними заодно в заговоре, чтоб отравить ваше душевное спокойствие. Бесчисленные свидетельства людей опытных и компетентных удостоверят вас, что в провинциях наших могут быть выражения лиц почтительные, беспечно-преданные, исполнительные, на все готовые, но выражений иронических нет и никогда не бывало. Этого мало: в провинции даже положение человеческого тела невольным образом принимает характер устремительный, но никак не упирающийся или угрожающий – ужели этих свидетельств недостаточно?

Несколько более основательными кажутся опасения насчет сокращения способов умерщвлять избыток праздного времени. Опасения эти возникли еще в то время, когда возбужден был вопрос о сокращении переписки. Уже тогда многим казалось, что власть значительно потрясется, ежели, вместо «имею честь покорнейше просить», будут писать просто: «прошу», а вместо: «о последующем прошу не оставить уведомлением» – «прошу уведомить». Ожидали, что экономия труда произведет праздность, праздность породит неуважение, неуважение – бунт. Впоследствии к этим ожиданиям присоединились соображения еще более веские. Припомнили, что время каждого деятеля распределяется с такою точностью, что всякое нарушение однажды заведенного порядка не может не произвести в организме законного беспокойства. Если приобретена привычка в известный час дня строчить, в другой распекать и т. д., то нельзя себе представить, какая истома овладевает человеком при наступлении урочного часа. Вот-вот, кажется, так бы и истрочил насквозь всю природу, и вдруг – о, ужас! – в ту самую минуту, когда все фибры ваши натянуты, когда длани ваши уже простерты, вам докладывают, что все уже выстрочено и перестрочено.. Чтов тут делать? чтов предпринять?

Нельзя не согласиться, что эти опасения и вопросы далеко не безосновательны. Время – это издревле страшнейший наш враг. Мы неустанно боремся с ним, мы употребляем и коварство и хитрость, чтобы восторжествовать над этим призраком, всегда стоящим перед нами, и постоянно изнемогаем в неравной борьбе. У нас положительно нет ресурсов, и если мы всегда довольно охотно беремся за всякую профессию, то единственно потому, что с профессией этой в уме нашем соединяется понятие совсем не о деле, а о властном положении в обществе, о безответственности и произволе. Все условия нашего прошлого были так направлены, чтобы сделать из нас самолюбивых туеядцев и развить в нас одну страсть – страсть к существованию на чужой счет. Понятно, какого рода идеалы при подобных условиях жизни могли обождать наши умы и какое озлобленное негодование должно закипать в наших сердцах, когда обстоятельства напоминают, что время даровых утех миновалось и что ежели мы желаем продолжать жить, то обязываемся устроить нашу деятельность на иных основаниях.

Как бы то ни было, в провинциальной жизни чувствуется разлад, но разлад, так сказать, односторонний. Собственно, нападает и раздорствует только одна сторона – историографы; другая сторона даже не обороняется, а только молится богу, чтобы об ней на время забыли. Это время ей нужно, чтобы доказать, что она невинна.

Известно, что Россия с древнейших времен периодически подвергается действию различного рода пионеров, которые обрабатывают ее всесторонне и с старательностью, заслуживающею величайшей похвалы. Но неизвестно также, что пионеры всех стран и времен встречали и встречают прием неприветливый. Во-первых, не всякому лестно, что его вот-вот сейчас начнут обрабатывать; во-вторых, пионеры почти всегда являются на сцену снабженные прекраснейшими окладами, на которые очень многие заглядываются. Уж на чтов благонамеренными

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пионерами явили себя акцизные чиновники, а какого переполоха наделало их появление! «нигилисты!» – кричали одни; «коммунисты!» – кричали другие, и нужно было целую массу нечеловеческих усилий, чтоб доказать вселенной, что это совсем не нигилисты, а такие же историографы и столпы, как и все прочие. Точно такой же факт совершился на наших глазах с пионерами контрольными: их до тех пор упрекали в тайных наклонностях к конституционализму, пока они добрым своим поведением победоносно не доказали, что за ними не только к конституционализму, но и к счетоводству наклонностей никаких не водится.

Но пионеры следуют за пионерами с быстротою изумительною, и быстрота эта так вредно действует на ясность понятий, что решительно не знаешь, кого в данную минуту называть пионером, а кого столпом. Те люди, которые еще вчера в глазах всех казались завзятыми пионерами, сегодня именуют уже себя столпами и ниоткуда не встречают на это возражения. В настоящую минуту, сколько можно понять, пионеры самые свежие – это земство и новый суд.

Велико было озлобление против акцизников и контрольных, но невозможно рецив, какие оно приняло размеры и до какой дошло ядовитости относительно людей суда и земства. В виду этих новых пришельцев, историографы становятся в каре и показывают решимость бодаться; они забывают взаимные междуисториографские раздоры и подают друг другу руку примирения; околоточные торжественно лобызуют акцизников и очищают единство кассы от обвинений в либерализме и конституционализме. И все для того только, чтобы противопоставить новому врагу армию сильную, способную поразить его на всех пунктах.

Способы действия историографов известны достаточно; это – отчасти лганье, отчасти клевета. Лгут историографы простодушные, клеветают – злоумышленные; первые были бы подчас даже забавны, если бы, в большинстве случаев, не служили вредным орудием в руках последних.

Можно себе представить, какую богатую пищу представили для этих скудных умов новые судебные и земские учреждения!

Прежде всего их поражает перемена внешних форм обращения. Завелось какое-то «вы», какое-то неслыханное сажание на стул – все это признаки революции. Не то что прежние орлы – налетят, бывало: «А ну, растакие-то дети! распоясывайтесь!» Потом поражает преданность делу (несколько, впрочем, кропотливая), не позволяющая мешать его с бездельем, – опять признак революции, ибо издревле замечено, что человек необщительный, человек, не принимающий участия в провинциальных *folles journées*, [1] непременно должен быть человеком неблагонамеренным и злоумышляющим. В-третьих, поражает скромность образа жизни – новый признак революции, ибо опыт доказывает, что в обществах благоустроенных и богобоязненных сановники должны быть представительные и прикармливать около себя толпу губернских дармоедов. В-четвертых, поражает известная доля начитанности и образованности; в-пятых...

Но нужно ли высчитывать все так называемые признаки революции, которые заставляют бледнеть и трепетать архистратигов нашего болотного воинства? В сущности, они столько же понимают значение слова «революция», как и та простодушная дама, которая уверяла, что революцию развозят по деревням разносчики; но историографы злоумышленные цепко хватаются за хлесткое словечко и действуют неукоснительно, чтобы популяризировать его обращение между историографами простодушными. И начинается тут то неслыханное лганье, которое могут выносить только крепкие обывательские натуры.

У какого-нибудь болотного чибиса пропали старые портянки, а он уже повествует, что в этих портянках спрятана была тысяча рублей и женины приданные ложки.

– И представьте себе, хоть бы вор не сознался! – ораторствует чибис в порыве сочинительства, – сознался, сударь, и пойман и уличен! да нигилисты-то, голубчики-то наши... Как же, мол, это так – ведь вор-то, чай, свой брат... ну, и отпустили! ступай, мол, голубчик, воровать на все четыре стороны!

– Слышали? слышали? – стоном стонет, проснувшись, болото.

– Нет, вы мне вот чтыв скажите: с которых это пор завелось у нас равенство? – вопиет другой чибис, – прихожу я давеча к «нашему», только вижу, и фенька моя тут! – Ну-с, спрашиваю, чтыв угодно вашему высокородию? – А вот, говорит, сейчас

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru будет разбираться ваше дело с крестьянской девицей Федосьей Павловной (это с фенькой-то!). – Слушаю-с, говорю (рассказчик, произнося это, иронически шаркает ножкой). Только началось у нас это разбирательство; я – слово, фенька два, я слово – фенька так и сыплет! Не вытерпел: «Прикажите, говорю, замолчать этой паскуде!» Чтов ж бы вы думали, он-то? «Во-первых, говорит, Федосья Павловна имеет такое же право объяснять свое дело, как и вы, а во-вторых, за то, что вы ее в присутствии моем оскорбили (это феньку-то!), штрафую, говорит, вас тремя рублями». Хороша штучка-с?

Историй в этом роде не оберешься, ибо чибисы зорко наблюдают за каждым шагом пришельцев и каждое их действие подвергают немедленному оболганию. Но из тьмы всякого рода небылиц и нелепых претензий ярче других выступает вперед претензия на так называемое бездействие власти, на то, что подсудимых не бьют по скулам и не сгибают в бараний рог. Припоминаются тут всякие лихие исправники и неслыханных размеров городничие. Повествуется, как некоторый Порфир Порфирыч того-то засек, тому-то ребра переломал, того-то на всю жизнь оглушил.

– У этого, брат, запоешь! – восторженно вопиют разом все кулики, – этому, брат, того наскажешь, чего никогда и не бывало! Уж это так.

Злоумышленные историографы с удовольствием прислушиваются к этому повальному лганью и от времени до времени подогревают его изобретениями своей фабрики. Это тем для них легче, что жизнь действительно представляет факты, по наружности подкрепляющие эти изобретения. В мире не без воровства, не без грабежей и не без убийств, в мире не без скверных дорог и неисправных переправ, – все это такие житейские невзгоды, которые бывали, бывают и будут во все времена. Но в былое время невзгоды эти утопали в бездне безмолвия и безответственности и потому не поражали, не возбуждали ничьих протестов. Нет сомнения, что в былое время кара настигала преступника еще реже, нежели нынче, но так как суд и расправа были, так сказать, делом домашним, то следственные неудачи и судебная безнаказанность не порождали ни толков, ни негодований. Теперь дело иное. Теперь суд есть нечто для всех осязаемое; теперь – это общее достояние, на которое устремлены все взоры. И столпы с большою ловкостью воспользовались этим обстоятельством, чтобы сделать из него злонамеренное орудие. Попробуйте-ка не уличить, не поймать, не открыть во чтов бы то ни стало, попробуйте ошибиться, увлечься, упустить из вида подробность – и вы увидите, какой вдруг гвалт поднимут столпы, и как, следом за ними, застонут и захлопают крыльями простодушные кулики!

– Нет, это так не делается! ça ne se fait pas ainsi! – вопиет, сверкая глазами, какой-нибудь столп, пользующийся между куликами особым авторитетом.

– Возьмите, однако, в соображение...

– Да нет, поймите меня, так не делается! – долбит столп и тут же, обращаясь к толпящимся вокруг него чибисам, прибавляет, – я уверен, что будь это дело в руках моих прежних... моих верных!! – уж давно было бы все раскрыто!

Этого достаточно, чтобы поддать масла в огонь, которым пламенеют сердца куликов. Опять выступают на сцену Порфиры-реброломатели, Кузьмы-оглушители, Фомы-зубокрушители, а «революция», словно живая, так и смотрит в глаза каждому чибису, как будто говорит: а вот я тебя сейчас на сковороду да в печку!

Вот какого рода разлад существует в современном провинциальном обществе и какого рода непрерывным шиканствам подвергается там пионерное ремесло. Чтов же за люди эти пионеры и в чем состоит их вина перед историографами?

В самом начале настоящего письма выражена мысль, что жизнь в провинции изменяется к лучшему. Несмотря на то что многое в дальнейшем изложении условий этой жизни как будто противоречит этому заверению, оно все-таки остается в своей силе. К чести новых пришельцев нужно сказать, что, ежели в современную провинциальную жизнь начинают вторгаться умственные интересы, то этим она обязана исключительно им.

Путник, случайно забравшийся в современную провинцию, не рискует уже, как в бывалые времена, заблудиться в ней, как в дремучем лесу, или очутиться в положении Робинзона на необитаемом острове. Конечно, нельзя утверждать, чтобы карты и доселе не играли преимущественной роли в жизни провинциала, но это почти единственный обломок древней славы, уцелевший на развалинах прежнего развеселого

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru житья. Уж одно то, что прежде постоянно кого-нибудь где-нибудь заушали, что прежде вы не могли сделать шагу, не рискуя услышать: «Батюшки! не буду!», что мысль об этом повальном заушении не могла не терзать существования честного человека и что теперь честный человек несравненно реже подвергается подобного рода опасению, – уж одно это представляет такую отраду, которую взвесить и достойно оценить могут только люди, бывшие непосредственными зрителями старинного столпотворения. Метаморфоза, которая произошла на наших глазах, поистине заслуживает удивления; вы видите мастодонтов, которые еще на вашей памяти били в ярости копытами землю, которые ревом своим заставляли содрогаться природу, которые без малейших усилий обращали в прах человеческие челюсти, – и что ж? теперь эти самые мастодонты удивляют мир своим кротким поведением и все свое ехидство ограничивают невинным судачением по части судебных и земских учреждений. Отчего эта метаморфоза? Отчего это превращение яростных остатков допотопной формации в безвредных и ошипанных куликов? А все оттого, милостивые государи, что явились новые люди с прекраснейшими манерами и убедили вселенную, что сквернословие отнюдь не составляет фаталистической принадлежности русской речи. Дав, нельзя не согласиться, что пришельцы оказались изрядными насадителями грациозных манер и изящного обращения! Ни один танцмейстер, при самых упорных усилиях, конечно, никогда не мог достигнуть таких результатов, каких они достигли в самое короткое время и почти без усилий.

Сверх того, рядом с картами, в провинции уже зарождается потребность чтения и даже потребность мышления. Конечно, опытнейшие историографы и теперь утверждают, что мышление во все времена представляло, так сказать, оппозицию исполнительности, а следовательно, и благоустройству; но позволительно думать, что если однажды нас уже посетила потребность рассуждать, то лучше искренно примириться с этим прискорбным фактом, нежели подкапываться под него. Это примирение даст нам, по крайней мере, возможность направить факт по усмотрению, тогда как вражда непременно оставит нас с носом.

В этом отношении пришельцы представляют клад бесценный, не требующий даже направления. Мысли у них не только благонамеренные, но, так сказать, очищенные. Как люди милые и образованные, они, конечно, не могут временами не озабочиваться известиями об успехах или неудачах Гарибальди, но не подлежит сомнению, что прения такого рода занимают в их беседах место весьма ограниченное. У них так много своего насущного дела, и притом их до такой степени поглощает забота о том, как бы послужить, услужить и заслужить, что, в виду этих капитальных интересов, невольно ступшевывается даже вопрос об исправлении французской границы на Рейне.

И действительно, в настоящее время мы присутствуем при такого рода внутренней работе, что нас должен более занимать вопрос об иных поглощениях, нежели о поглощении Пруссией маленьких государств Германии. Щук развелось в провинции так много, и притом с таким циническим желанием глотать, глотать и глотать, что даже вчуже становится как-то не по себе. Известно, что щука, во время жора, глотает что ни попало, заглатывает даже собственных щурят, эту надежду и цвет всего щучьего рода, – мудрено ли, что прочие рыбы, плавающие в этой мелкой и пресной воде, заслышав приближение ужасного хищника, мгновенно прекращают невинные забавы и устремляются к своим норам?

Итак, пришлец благонамерен, учтив, прилежен, кроток, занятлив, почтителен и послушлив. Он даже не огрызается, когда на него нападают, хотя нападения эти бываюи нередко свойства довольно цинического. Сверх того, он читает книжки, а относительно исполнения того, что называется долгом, не имеет себе равного. Это просто лев. Казалось бы, что при виде такого соединения драгоценнейших качеств щука самая прозорливая должна бы с доверием повторять стихи Пушкина:

В надежде славы и добра,
Идем вперед мы без боязни...

А выходит совсем напротив...

Не ясно ли теперь, что разлад, замечаемый в провинциальном обществе, есть разлад односторонний; что он возбуждается и питается исключительно историографами, которые, без всякой надобности, волнуют провинциальное общество своими личными тревогами и опасениями, и что на долю пришельцев досталась в этой распре роль, хотя и симпатичная, но далеко не выгодная в стратегическом смысле? Не ясно ли также, что самая эта распря имеет поразительное сходство с столь знакомым и столь любезным нашему сердцу делом о пререканиях, на обложке которого читалась крупноначертанная надпись: «Сие дело есть дело о выеденном яйце»?

Но письмо о провинциальном житье будет далеко не полно, если не упомянуть в нем о нашем beau sexe. [2] Прежде всего должно отдать полную справедливость нашим дамам, в том смысле, что вопрос об эманципации женщин, о женском труде и проч. трогает их в самой умеренной степени. В этом отношении они представляют оплот, и притом весьма благонадежный. Существует по этому поводу даже очень трогательный анекдот. Рассказывают, что когда одна юная дамочка от лица всех женщин заявила однажды претензию на фельдмаршальский жезл, то присутствовавший при этом предводитель в упор спросил ее: «Ну, а родить кто будет?» Этого простодушного вопроса было достаточно, чтобы покончить с вопросом о женском труде и чтобы дамы, даже судейские, сделались в поступках своих осмотрительнее и принялись родить пуще прежнего. Тем не менее разлад, огорчающий мужское провинциальное общество, не мог не отразиться и на дамском. Не только жены и сестры, но даже племянницы охотно принимают участие в турнире и этим участием несколько смягчают слишком суровые тоны распри. Но сия последняя и тут поражает своим неравенством. Тогда как жены историографов отличаются неслыханным великолепием одежд, необычайными размерами шлейфов и белизною и округлостью бюстов, жены пришельцев, напротив, представляются слегка ошипанными и даже как бы не совсем кормленными. Посему, когда эти два полка стоят друг против друга в безмолвии, то симпатии проходящих невольно склоняются на сторону историографов.

Кажется, что при подругах голодных и мысли должны быть голодные; напротив того, при подругах сытых и мысли непременно должны быть сытые. Но когда печать безмолвия упадет, когда голодные и сытые начинают чувствовать потребность провещевать, то симпатии изменяют характер и обращаются от последних к первым. Сколько сытые блистают телами и шлейфами, столько голодные пленяют основательностью и либеральною умеренностью своих суждений. Тогда как первые беседуют о различии любви и дружбы и о других предметах, решительно не приносящих никакой пользы для отечества, последние повествуют о гражданской честности и непреоборимой верности. Случается даже слышать весьма удачные суждения по следственной части и по части судебных ошибок, и любопытно видеть, как пламенеют, внимая этим речам, юнейшие из пришельцев мужского пола, и как исчезает в их глазах весь суетный мир с его бюстами и шлейфами, в виду одного ни с чем не сравнимого блаженства... в виду судейской ошибки!

Но еще любопытнее, что и сытые по временам выходят из рамки невинных размышлений о дружбе и любви и выступают на скользкую арену судейских ошибок. Вот тогда-то, собственно, и начинается так называемый турнир.

– Мы всё с своей стороны сделали! – кричат жены, дочери и племянницы историографов, – мы открыли следы, мы указали виновных... Уж если и после этого...

Сытые с презрением пожимают полными и белыми плечами.

– Подите! – не менее крикливо возражает женский штат пришельцев, – сейчас видно, что вы не читали дело Лезюрка!

– Какого Лезюрка? Какого такого Лезюрка? – наивно вопрошают полногрудые, сытые и белотелые.

Голодные язвительно хохочут и, как некогда раскольники, восклицая: «посрамихом! посрамихом!» – торжествуют победу.

Увы! они забывают, что возглас «посрамихом!» не помешал раскольникам и до сих пор называться раскольниками...

И действительно, как ни грустно, а приходится сознаться, что шармы телесные решительно подавляют и, вероятно, долго еще будут подавлять шармы умственные. Оттого ли, что мы, провинциалы, не умеем еще относиться как следует к нетленным красотам ума и сердца, или оттого, что в самых сих красотах скрывается некоторый изъян, – как бы то ни было, но взоры наши не в пример охотнее обращаются в ту сторону, где блестит тленная красота. Да и самое начальство наше как будто преимущественнее туда заглядывается... Да и в самом деле, женщина, которая не сияет брильянтами, женщина, которая не декольтирована до тех пределов, за которыми исчезает всякое представление о неизвестном, женщина, которая, вместо тонкого анализа чувств любви и дружбы, идет напролом с делом Лезюрка... скажите на милость, ужели это женщина?

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
На первый раз, однако ж, довольно; тем более что сказанное выше об изъянах, скрывающихся в наших нетленных красотах, представляет нам естественный выход для заключения настоящего письма. Отчего в самом деле, несмотря на все усовершенствования и преуспевания, в провинции все продолжает царствовать тот же тонкий запах скуки, против которого мы так безнадежно боремся с незапамятных времен? Отчего провинция не перестает быть центром того бесконечного переливания из пустого в порожнее, бездну которого мы тщетно усиливаемся наполнить? Откуда это самошпионство, самоподслушивание, самонаушничество, эти вечно гноящиеся три язвы, которые неустанно точат провинциала и отравляют каждую минуту его незатейливого существования? Откуда эта распря о выеденном яйце?

Как ни запутанны эти вопросы, но, как кажется, они могут быть разрешены с успехом, если мы внимательнее присмотримся к тем упомянутым выше нетленным краскам, которыми с некоторого времени гордимся.

Нельзя отрицать, что вопросы о судейских ошибках, об уликах, об улучшенных путях сообщения, о гражданской честности и проч. суть вопросы капитальные, что интересоваться ими несомненно согласнее с человеческим достоинством, нежели потихоньку погрязать в так называемом милом распутстве. Но, очевидно, тут кроется какой-нибудь пробел, какая-нибудь вредная примесь, которая даже у лучших намерений и проявлений отнимает их жизненный характер и силу.

Искусственность и неискренность – вот первая вредная примесь, которая губит нас и распространяет вокруг нас атмосферу скуки. Подобно провинциальным актерам, мы постоянно играем кожей, а не внутренностями. В нас не волнуется кровь, не болит сердце; в лучших словах нашего лексикона не слышится ни внутренней силы, ни решимости поддерживать их. Чувствуется нечто рыхлое, легко поддающееся всяким влияниям, без борьбы уступающее всяким напорам. Конечно, уж и то немалая заслуга, что мы, имея свободный выбор, все-таки прилепились именно к хорошим словам, а не к растленным и ехидным, но заслуга эта значительно бледнеет перед вопросом: что ж дальше? Самые убежденные люди провинции с трудом выдерживают призыв к делу, который так и напрашивается на язык собеседнику. Мысль останавливается перед своими естественными выводами и оттого получает характер прискорбной недоношенности. Чувствуется какой-то изъян, какая-то нелепая недосказанность, которую отнюдь, впрочем, нельзя обвинить в преднамеренной сдержанности. Нет, это сдержанность естественная, наивная; это неминуемый плод недостатка внутреннего огня, это последствие закоренелой привычки возвращаться в заколдованном круге, это замысловатая алгебраическая формула без малейших приложений и выводов.

Другая вредная примесь нашей жизни – это неисправимая ограниченность кругозоров. Как ни восставайте против так называемых утопий, без них истинно плодотворная умственная жизнь все-таки невозможна. Разум человеческий не удовлетворяется безвозвратно, но испытует все дальше и дальше. В этом вся тайна успеха человеческих обществ, и ежели правда, что утопия не имеет права заявлять претензию на немедленное практическое осуществление, то несомненно и то, что плодотворное ее действие на инициаторские силы человеческого разума все-таки остается вне всякого спора. В этом отношении провинция представляет совершенно тесный и замкнутый круг, в котором мысль окончательно теряет свою смелость и энергию. Теоретические поползновения (если таковые существовали) слишком скоро позабываются и покрываются плесенью; потребность инициативы делается ничтожною. Умственный запас, вследствие скудости и беспрестанного самоповторения, до такой степени быстро изнашивается, что даже вчуже становится совестно. Как ни стара истина, что только в больших центрах человек может смело мыслить и свободно дышать, но в провинции она дает себя чувствовать с поразительной наглядностью и потому никогда не утрачивает характера насущной новизны. Мысль, со всех сторон стесненная, ничем не питаемая, невольно бросается на мелочи и погрязает в них. Вместе с нею погрязает и весь человек...

Мы забываем, что, покуда будем играть только кожей, историографы и столпы не перестанут быть историографами и столпами.

Мы забываем, что покуда будем вместе с историографами ратовать против так называемых увлечений (и где они, эти увлечения?), покуда будем сдерживать и без того несмелую нашу мысль, мы останемся все теми же евнухами в нравственном и умственном отношениях, какими являли себя до сих пор...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Опять о раздоре. Дрянное это явление до того усилилось, что сделалось почти исключительным содержанием нашей жизни; оно отравляет все наши удовольствия; оно поражает даже пресловутое наше гостеприимство. Нет более блинов красных, гречневых, со сметками, с припекой – их заменили блины полицейские, акцизные, судебные и земские! Нет более той карточной игры, которая во все времена ни о чем ином не свидетельствовала, кроме невинности играющих, – ее заменила иная игра, из которой участвующие во что бы ни стало хотят сделать орудие для демонстраций и преткновений! Ни блины, ни преферанс не избегли раздорного веяния, которое грозит надолго утвердиться в нашем обществе.

Странно звучат для слуха выражения вроде: «блин административный», «блин судебный» и т. д., а между тем выражения эти отнюдь не выдуманы, а прямо вывучены из нашей печальной действительности. И, что всего грустнее, выражения эти отнюдь не фигуральные, а согласные с истиной даже по существу. Съешьте блин административный – и вы убедитесь, что он жирен, вкусен, хотя ложится несколько комом; съешьте блин судебный – и увидите, что он тощ и как будто припахивает розовым маслом. Очевидно, что здесь раздор уже перестает быть просто раздором, но оказывает свое пагубное влияние на самое блинное вещество.

Известно, что никакие жизненные отправления не требуют такого спокойствия духа, такой твердой уверенности во взаимном доброжелательстве соревнующихся, как обеденные увеселения и игра в карты. Это совсем не то, что заседания академий или иных ученых обществ, где примерные раздоры в известном случае даже необходимы, потому что из них, как слышно, рождается истина. Тут, напротив того, собираются люди, которые уже умудрились, которые никакого интереса в отыскивании истины иметь не могут, по той причине, что она уже давно найдена. Поэтому, в этих случаях, не только неуместное галдение, но даже простое сомнение относительно благонамеренности кого-либо из партнеров может произвести в остальных лишь желудочную смуту, последствия которой трудно даже предупредить. Представьте себе, например, что на обеде историографов по какому-нибудь случаю затесался пионер – что хорошего может из этого выйти? Во-первых, пионер будет пожирать нежнейшие суфле с трюфелями точно так, как бы пожирал трихинную углицкую колбасу; во-вторых, ни один историограф все-таки ни за что не поверит, что пионер ест взаправду, а непременно будет думать, что он злоумышляет. И, весь отданный своим предубеждениям, он, как и следует ожидать, утратит на время всякую способность наслаждаться и смаковать.

Все это так, все это правда, и если мы видим, что историографы едят блины в своем кругу, а пионеры – в своем, то удивляться тут нечему. Их обязывает к тому чувство самосохранения, которое заставляет человека устранять все, что противно интересам его желудка.

Спрашивается, однако ж, достигается ли в действительности та цель, которую предположили себе при этом оба враждующие лагеря? Обеспечивается ли обособлением сторон то безмятежие обжорства, к которому они стремятся? Как ни прискорбно, но должно сознаться, что результаты в этом случае более нежели сомнительны. Раздор, в течение какого-нибудь года, уже так крепко въелся в наши нравы, что, где бы и в каких бы обстоятельствах мы ни находились, он никогда не оставляет нашу мысль свободною. Даже в сотрудичестве с историографами, несомненно заматерелыми, мы уже не отдадимся наслаждению с тою беззаветною ребяческою резвостью, с которою отдавались ему лет двенадцать – тринадцать тому назад. Да, не предадимся, ибо в тот самый момент, когда мы будем уже простирать руки, будем обонять и предвкушать, перед нами внезапно, как грозный призрак, встанет мысль, что под одним с нами небом обитает некто, который также ест блины, но блины далеко не столь жирные, как наши, и который эту сравнительную тощеть ставит себе даже в заслугу (у меня, дескать, на первом плане потребности духа и т. д.). Ужели одной этой мысли недостаточно, чтоб отравить еду самую обольстительную? Но ежели мы пойдем еще далее, то увидим, что систематическое отметание наших конкурентов по части историографии от общения мало того что не умаляет нашей горечи, но даже значительно усугубляет ее. В самом деле, ежели бы эти ненавистные конкуренты были налицо, то нас, по крайней мере хоть на это время, не тревожила бы неизвестность, не терзали бы паскудные предположения о наущничестве, судаченье и сплетнях. Взвизывая на их ненавистные физиономии, мы были бы, по крайней мере, уверены, что они тут налицо, что они не делают более того, что делают, что они жуют или хоть притворяются жующими. Теперь же, когда мы едим блины врозь, нам поневоле думается: что-то делается там? Какие-то измышляются там подвохи? И, покуда мы задаем себе подобные незамысловатые вопросы, блины стынут да стынут и, ложась комьями на наши желудки, производят дизентерию.

И выходит у нас нечто совершенно нелепое: с одной стороны, мы не можем сойтись, потому что этому препятствует чувство самосохранения; с другой стороны, расходясь и обособляясь, мы это чувство самосохранения попираем самым неразумным для себя образом. В обоих случаях мы, стало быть, действуем явно в ущерб себе...

Таким образом раскол политический, проникая в наши повседневные отношения, окрашивая их и, в конечном результате, производя раскол в пище, питии и играх, не только не упадает, но разжигается с каждым днем больше и больше. Из явления, по-видимому даже не имеющих мирового значения, как, например: блины, стуколка, преферанс и т. д., мы сумели выработать нечто вроде знамен. На одном знамени пишется: изящный вкус, утонченные манеры и наслаждение благами жизни, на другом – чиновнический аскетизм, под которым скромно подразумевается обилие духовных сил. А в сущности, все это та же стуколка и тот же преферанс – никак не более. И вот обе партии начинают хвалиться своими знаменами и даже как будто пошаливают ими и взаимно друг друга поддразнивают. «Даже удовольствия у них какие-то глупые!» – говорят одни; «даже удовольствия у них мужицкие!» – говорят другие, – и в таких бесплодных разговорах тратят золотое время, которое с пользой могли бы употребить за общим столом!

Справедливость требует, однако ж, сознаться, что пионеры злоупотребляют этой игрою в знамена гораздо более, нежели историографы. Начнем хоть с той же еды. Историографы – люди, по большей части, грешные и под веселую руку даже не скрывают этого. У них залежались еще кое-какие остаточки от тех избытков, которые, в бывалые времена, невзначай прилипали к ладоням, – мудрено ли, что вместе с остаточками сохранились и изящный вкус, и привычка подмасливать? Напротив того, пионеры, хотя и снабженные прекрасными окладами, наезжают в губернии почти *au naturel*, то есть в одних вицмундирах, никаких остаточков прежних лет не ведают и не признают, и с маху нанимают таких неслыханных кухарок, перед трудами которых даже кухонные тараканы останавливаются в смущении. В переводе на удобопонятный язык оба эти положения могут быть выражены так: историографы едят вкусно и притом изобильно, пионеры же невкусно и в обрез, – казалось бы, что может быть проще этого, и есть ли тут повод к каким-либо пререканиям? Историографы приблизительно так и смотрят на это положение; они не прикасаются к пионерской трапезе потому просто, что она невкусна, и ежели обзывают пионеров людьми, не имеющими понятия о *savoir vivre*, то делают это не с злобой, а с сожалением. Совсем иначе относится к этому делу пионер: как человек духа, он в эпигуризме историографа видит не просто предпочтение вкусного невкусному, но посрамление человеческого достоинства и непозволительное политическое чревоугодие. И вот еда, этот законнейший, простейший, независимейший из актов человеческой жизни, вдруг, благодаря страстям, возводится на степень принципа нравственного, социального и политического и, облеченная в этот сан, становится семенем раздоров и поводом для всевозможных взаимных обзываний.

То же самое можно сказать и об игре в карты. Любимая игра историографов – это стуколка; любимая игра пионеров – преферанс, и притом с мизерами и легким подсиживаньем. Надо сознаться, что стуколка – игра глупая по преимуществу; играется она в три карты, и единственное соображение, которое при этом нужно иметь, заключается в том, чтобы, обладая козырным королем, иметь такую морду, как будто на руках три семерки фоски. Ясно, что хитрость такого рода и для непрозорливого ума весьма доступна. Благодаря этой простоте историографы предаются стуколке до самозабвения и, начиная стучать с утра, кончают лишь поздней ночью. Что же касается до преферанса, то, конечно, это игра более сложная, но, говоря по совести, ужели же можно утверждать, чтобы человек, предающийся ей, тем самым доказывал преобладание духа над плотью, как это делают пионеры? А тем более придавать столь невинным занятиям, как преферанс и стуколка, значение нравственно-социально-политическое и устраивать из них предмет для междоусобий и более или менее кровопролитных битв?

Но, при известном настроении общества, всякое лыко пишется в строку. Одни умеют округлять руки – это признак благовоспитанности; другие, видя это, нарочно начинают махать руками, как мельничными крыльями, – это признак независимости; одни хвастают своими связями в высших сферах; другие, напротив, хвастают тем, что у них никаких связей в высших сферах нет. Всякая дрянь делается предметом распри, которая, таким образом, грозит продлиться без границ.

Пионеры в этом случае, конечно, более виноваты, нежели историографы. Они

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru виноваты уже тем, что ни к какому делу не приступают просто, а все как бы священнодействуют. И при этом тычут в глаза: посмотри, какой я умный, какой я честный, какой я развитый и как твердо знаю уложение о наказаниях! Историографы видят это и выходят из себя. Они втайне сами сознают превосходство пионеров; по секрету, они даже ропщут. «Господи! да отчего же мы такие глупые!» – восклицают они по временам; но существенно их огорчает совсем не то, что они глупы, а то, зачем им так явно тычут в глаза их недальновидностью. Скажите им это же самое обиняком, отнеситесь снисходительно к их слабости и беспомощности, и тогда, быть может, и для вас, о пионеры! отверзутся их объятия, и для вас сделаются доступными их жирные блины.

Но, в ожидании вождельной минуты самообнимания, нельзя умолчать об одном явлении, хотя и довольно известном, но которое в последнее время в особенности огорчительно влияет на жизнь провинциального общества. Явление это – так называемые «складные души», число которых, благодаря раздору, день ото дня возрастает с быстротою поистине изумительною.

«Складные души» – явление не новое; деятелями этой категории издревле изобиловали все профессии человеческой деятельности, все отрасли человеческого знания. Издревле существовали сплетники политические, литературные, государственные и научные; тем не менее явление это настолько важно, что тот оказал бы немаловажную услугу, кто проследил бы участие «складных душ» в истории человеческой цивилизации, кто изложил бы то учение, в силу которого человеческая душа, нимало не стыдясь, делается складною. Не претендуя на выполнение такой обширной задачи, мы займемся, собственно, современными и притом провинциальными «складными душами».

Если вы видите человека, который мечется как угорелый между двумя враждебными лагерями и называет это метание мудростью, – будьте уверены, что это «складная душа»; если вы видите человека, который, называя себя пионером, не прочь иногда в сумерки забежать покаякать с историографами насчет пионерских дел и называет это дипломатией, – будьте уверены, что это «складная душа»; если вы видите человека, который утверждает, что в иных случаях ломаная линия может быть короче прямой, и называет это постепенностью в преуспевании, – будьте уверены, что это «складная душа».

Если нам кажется мелкою распря, существующая между историографами и пионерами, если мы не можем без некоторой иронии отнестись к тем потугам, при помощи которых пионеры силятся доказать, что Россия достигла зенита своего благополучия, то это нимало не распространяет нашего недовольства на самые личности пионеров, личности во всяком смысле честные. Мы в этом случае только задаем себе вопрос: возможно ли видеть в пионерском ремесле что-либо действительно обновляющее (а не просто обязанность состоять лишь при исправлении должности пионера), когда в основании этого ремесла нет никаких необходимых гарантий, которые ограждали бы его будущность? И, задавши этот вопрос, невольно пожимаем плечами. Но этого мало: при всей исключительности наших симпатий к пионерам, мы и к ремеслу историографа относимся без ожесточения, хотя и не питаем к нему положительно никаких симпатий. Уж это так самим богом устроено, чтоб были на святой Руси пионеры и были историографы и чтоб они взаимно препирались. На чтов же тут претендовать? И таким образом обе великие партии, раздирающие в настоящую минуту наши губернии, если не в равной степени привлекают наши симпатии, то, по крайней мере, находят себе некоторую экспликацию.

Совсем другое дело – «складные души». Их деятельность есть именно та дрянная деятельность, о которой нельзя говорить без чувства гадливости. Не негодования, а именно гадливости.

Во все времена провинции наши изобиловали «складными душами», во все времена водились в ней охочие люди, готовые по первому знаку травить на чужой счет хорошую еду. В бывалое время в особенности суетились и оживлялись эти люди перед наступлением дворянских выборов. Смирные и заспанные незадолго перед тем, они внезапно оживали и, словно сурки под влиянием лучей весеннего солнца, выползали из своих нор. И начиналась у них тут суета, беготня и то безмерное жранье, перед размерами которого робеет самая смелая человеческая мысль. Здесь продавались за рюмку водки старые благодетели и покупались новые, и тут же сряду, за другую рюмку, продавались новые благодетели и вновь покупались старые. «Складные души» носились по улицам как озаренные; глаза их блестели, ноздри раздувались, уста

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru источали слюну, утробы ныли.

Это было зрелище не весьма приятное для глаз, но оно выкупалось простодушием своего содержания. Как бы гадливо ни относились вы к этим слюноточивым героям, вы все-таки могли быть уверены, что за их беготнёю ничего нет и не может быть, кроме еды. Хватая с изумительной ловкостью бросаемые подачки, эти люди продавали, сплетничали и лгали так неискусно, что никому даже и на ум не всходило заподозрить их в умысле. Но с усовершенствованием нравов усовершенствовались и «складные души». Это не прежние халатники, едва не падавшие в обморок при виде куска колбасы; нет, это люди очень приличные, которых помыслы хотя и вертятся около пирогов, но около пирогов, так сказать, невещественных, около пирогов почестей, славолюбия и карьер.

Нынешняя «складная душа», по положению своему, в большинстве случаев принадлежит к пионерам. Но, обуреваемая жаждою почестей и постигнув в совершенстве дух века сего, она скоро догадывается, что пионерское поле – бесплодное поле, и что пироги заправские, румяные пироги с начинкой, пекутся совсем не тут, а инде. В самом деле, как ни беспутничай, какую безлепицу ни твори историограф, ему все как с гуся вода. Для всех видимо, что он и невежествен, и бесполезен, и ни на что не способен, что он только мутит общество нескончаемыми сплетнями и навязчивою праздностью. Кажется, мало в преисподней пропасть такому человеку – ан нет! стоит он себе как столб и даже не покачивается! «Стало быть, сила-то еще там!» – говорит, замечая это, «складная душа» и в то же время обдумывает, как бы таким манером сыграть Иуду-предателя, чтобы никто этого не приметил. И, не откладывая дела в дальний ящик, начинает подвливать.

Сначала дело идет хорошо, потому что пионеры на этот счет просты. Разве у самого прозорливого вырвется слово «чудак!» при виде, как неуклюжая «складная душа» тщетно старается вытанцевать какое-то грациозно-историографическое па, как она округляет руки, в знак благовоспитанности, как усиливается придать своим взорам умильно-почтительно-преданное выражение. «Складная душа» всячески скрывает свою игру как можно долее и нередко объясняет ее даже целями пользы и дальновидности. Нужно, дескать, видеть врага лицом к лицу, нужно подробно знать его средства, чтобы с успехом отражать наносимые им удары и разрушать его козни. И действительно, мелькнув между историографами, «складная душа» через минуту опять поворачивается к пионерам и вновь подтанцовывает им.

– В самом деле, какие они чудачки! – говорит она, позевывая и потягиваясь, – даже разговор у них словно детский. Обрывки какие-то!

Пионеры слушают это и восхищаются. Им лестно, что даже тот человек, который всех более из них оказывает способностей к почтительно-умильному выражению лица, – и тот сознается, что, в виду этих полулюдей, не может быть речи о каком-либо общении. «Складная душа» даже приобретает некоторую популярность между пионерами; ей не только не вменяется в порок подвливание перед историографами, но даже усматривается в этом какое-то доказательство «симпатичности» характера.

Но вот мало-помалу на горизонте показываются тучи, в лагере историографов слышится безмозглый шепот, виднеются загадочные улыбки, произносятся нелепые односложные слова. Пионеры начинают чувствовать себя неловко; они стараются проникнуть в смысл односложных слов, но слова эти так глупы, что проникнуть в них невозможно. Сдается, однако ж, что в них скрывается какое-то смутное обвинение и едва ли не обвинение в заговоре. И вдруг – открытие! Одному из пионеров-застрельщиков удалось соследить «складную душу» и изловить ее на месте преступления. Он собственными глазами видел, как «складная душа» перемигивалась и перешептывалась и как вслед за этим перешептываньем в историо-графском лагере сделались известными некоторые пионерские провинности. Пионер-застрельщик не слышит под собой земли при мысли, какую услугу бог привел ему оказать достолюбезному пионерскому делу; он делается красноречив, он представляет факты, доказывает и убеждает.

– Прочь изменника! – решают хором пионеры...

«Складной душе» некоторое время не совсем ловко; сначала ей даже сдается, как будто ее побили; но так как она прежде всего имеет природу общительную, так как она минуты дохнуть не может без общества людей, хотя бы дрянных, то никакие жизненные невзгоды не ставят ее в затруднение и не заставляют долго задуматься. И действительно, не успело еще остыть негодование, возбужденное открытием

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пионера-застрельщика, как «складная душа» уже всецело предалась историографам.

Для историографов подобные перебежчики всегда драгоценны. Во-первых, как ни остерегаются перед ними пионеры, но так как, говоря выражениями пословицы, от своего вора убережешься нельзя, то всякое праздное слово, произнесенное в пионерском кружке, неминуемо пересказывается историографам до точности. Во-вторых, «складная душа» знает слабые стороны пионерского дела и потому может наносить удары более действительные и злохитрые, нежели те, которые наносятся историографами. В-третьих, люди эти, хотя и с подлинною, все-таки имеют внешние признаки людей современных и развитых, и следовательно, присутствие их значительно скрашивает общество историографов.

А посему, когда «складная душа» перебегает к историографам, то она некоторое время катается как сыр в масле. Обвороженные мужья кормят ее, потчуют наливками и охотно вверяют ей все интересы, оставляя за собой только стуколку; белотелые жены сверкают перед глазами счастливица обнаженными бюстами, как будто говоря: «Ну, скажи, дурашка, видал ли ты что-нибудь подобное у ваших некормленных?» «Складная душа», упоенная, пламенеющая и алчущая, не ходит, а носится по стогнам града, как будто у нее выросли сзади невидимые крылья.

Но, увы! «складная душа», рассчитывая на пироги, обыкновенно упускает из вида одно: великую глупость историографов. Это промах тем более непростительный, что историограф глуп очевидно, глуп по призванию, глуп без уменьшающих вину обстоятельств, глуп как чулан. Он от природы так устроен, чтоб быть глупым, и потому, чем нелепее историограф, тем он историографичнее. Заручившись перебежчиком, историограф, как сказано выше, сгоряча всячески убожает его – это первый период или, лучше сказать, медовый месяц этого незаконного союза. Затем, замечая, что «складная душа» идет ходко, историограф мало-помалу начинает думать, что тут с ее стороны не принесено никакой жертвы и что измена «складной души» есть не что иное, как должная дань превосходным его, историографа, душевным качествам. Поэтому он начинает обходиться с перебежчиком с панибратскою откровенностью, вываливает перед ним пахучий хлам своей души и в заключение требует, чтобы «складная душа» разыгрывала перед ним, историографом, комедии. Это период второй. «Складная душа», упоенная и счастливая, сначала не только не огорчается подобными поползновениями, но даже в угоду благодетелям выкидывает некоторые коленца. Но чем больше выкидывает она коленцев, тем ненасытнее делается относительно сего рода зрелищ историограф; избалованный угодливостью своего клиента, он начинает предъявлять свои требования беспрестанно, предъявлять их даже тогда, когда «складной душе» вовсе не хочется откидывать коленца. Наступает минута, когда несчастный клиент начинает смутно понимать, что он из политического перебежчика сделался просто увеселителем и шутком, и вследствие этого делает попытку надуть губы – это период третий. Видя это, на него начинают дуться в свою очередь; мало того: в глазах, перед его носом, без всякого зазрения совести, подыскивают, на перемену ему, другую «складную душу», – это период четвертый...

«Складная душа» содрогается, ибо ее преследует представление о потерянном рае. Видя себя одинокою и не будучи в состоянии сносить одиночество, она начинает роптать на провидение. «Природа-мать! – вопит какой-нибудь опальный перебежчик, – зачем ты наделила меня душою складною, а не неуклонною? зачем ты направила стопы мои по стезе шаловливости, а не по стезе добродетели?» И, пороптавши таким манером с минутку, он тщательнее прежнего складывает свою удобопереносную душу и предпринимает целую серию таких удивительных извивов, выгибов и зигзагов, что постороннему зрителю остается только восклицать: «Эк его ломает!» Он легкими, чуть заметными прыжками перебегает сцену и осторожно приближается опять к тому лагерю, который был свидетелем его первого грехопадения, все озираясь, все обольщая себя надеждою, что никто его не заметит. Надежда тщетная! прежде нежели успел он выполнить первое антраша, историографы уже заволновались. Они припоминают весь хлам, который так добродушно выбрасывался перед «складной душою», и справедливо заключают, что из этого хлама можно выработать бесподобнейший увеселительный материал.

– Прочь изменника! – восклицают они в свою очередь, и горе «складной душе», если она в эту гневную минуту не успеет провалиться сквозь землю, ибо историографы, будучи постоянно глупы, нередко бывают и пьяны.

Тогда наступает новый фазис в жизни «складной души», все еще не верящей постигшему ее несчастью, все еще надеющейся и колеблющейся. Приходит она,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru например, в общественное собрание, где за одним столом ужинают пионеры, за другим – историографы. Подходит она к столу пионеров, – и вдруг все общество, как бы по данному знаку, смолкает. «Складная душа», однако ж, не робеет и начинает заигрывать; она как-нибудь усаживается бочком за общую трапезу (большею частью около того из пионеров, который подбробнее) и изъявляет намерение рассказать несколько бесценных анекдотов из жизни знаменитейших историографов. Но никто не внимает, никто не улыбается; собеседники хранят упорнейшее молчание и нетерпеливо между собой переглядываются. Во рту у «складной души» делается скверно; в эту минуту она поцеловала бы ручку у того из пионеров, который бы хоть крошечку, хоть из жалости улыбнулся ей. Тщетно. Несколько времени «складная душа» продолжает ораторствовать, и новые, бесценные анекдоты один за другим льются из ее уст... И вдруг голос ее прерывается на половине анекдота. «Складная душа» понимает, «складная душа» чувствует. Неслышными шагами она ретируется от неприязненного ей стола и столь же неслышно, даже робко приближается к другому столу. И опять подсаживанье бочком, опять заигрыванье, опять анекдоты, но на сей раз уже из жизни пионеров – и опять гробовое молчание, прерываемое отрывистыми возгласами: «Водки! уксусу! горчицы!»

Кончается тем, что «складная душа» ужинает посредине залы, и ужинает одна-одинешенька.

Дети! прочтите внимательно настоящий правдивый рассказ, и всякий раз, как вас будет соблазнять легкое ремесло «складной души», представьте себе муки, которые ожидают этих несчастных в сем веке и в будущем! И, размыслив о сем, спешите, скорее спешите примкнуть или к историографам, сим пионерам прошедшего, или к пионерам, сим историографам будущего!

Но так как в жизни вообще не существует положений вполне безнадежных, то нет резона, чтобы это общее правило не применялось и к опальным «складным душам». Да, и они могут ласкать себя надеждами, и они имеют право рассчитывать на лучшее будущее. В самом деле, источник «складных душ» так изобилен, что невозможно даже провидеть, чтобы он когда-нибудь иссякнул. Предположите теперь, что с каждою из этого легиона душ произойдет тот самый процесс превращений, который описан выше, а именно, что каждая из них будет сначала наверху славы и величия, а в конце концов все-таки не минует общей участи «складных душ», то есть опалы и отчуждения. Очевидно, что число отверженцев должно будет постепенно возрастать и, наконец, образует массу достаточно компактную, чтобы обнаружить признаки некоторой самостоятельности. Вот тогда-то к двум великим корпорациям историографов и пионеров прибавится еще третья великая корпорация – «складных душ». И будут организовавшиеся «складные души» жениться и посягать, как и прочие губернские люди, будут ужинать и танцевать на всей своей воле, будут принимать визиты и отдавать их, будут мириться и враждовать... Одним словом, народится в провинции новая сила...

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

С 19 февраля в понятии русского человека всегда соединяется представление о чем-то весьма доброкачественном. В особенности же ощутительно доброе влияние 19 февраля в провинции. Тут 19 февраля действовало непосредственно и воочию всех; тут оно в самой жизни привело черту, до такой степени яркую, что то, что стоит над чертою, не имеет почти ничего общего с тем, что стоит под чертою. А так как над чертою хорошего стояло мало, то весьма понятно, куда должны тяготеть общие симпатии.

Тем не менее нельзя не сознаться, что и в провинциальном обществе существуют известные слои, в которых 19 февраля отозвалось последствиями свойства довольно неожиданного. В противность всяким соображениям оно выдвинуло вперед в этих слоях совсем не тех, кого следовало выдвинуть, и поставило вне деятельности совсем не тех, кого следовало вне деятельности поставить. Одним словом, вышла какая-то беспримерная и только у нас возможная путаница, вследствие которой влиятельными практическими деятелями на почве 19 февраля явились люди, не могущие и даже не дающие себе труда воздержаться от судорожного подергивания при малейшем намеке на эту почву; люди же, всецело преданные делу, верящие в его будущность, очень часто не только отстраняются от всякого влияния на правильный исход его, но даже, к великой потехе многочисленного сонмища фанатов и праздношатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революционерами и демагогами.

И действительно, взгляните несколько в наших влиятельнейших провинциальных

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru историографов, в тех, которые и о сю пору еще пишут вольным духом нашу историю, – чтов составляет язву, непрестанно точащую их существование? Эту язву составляют: упраздненное крепостное право, гласные суды, земство, то есть именно то, в чем замыкается существенный смысл 19 февраля. В чем состоит самая яркая, характеристичная сторона их деятельности? Эта сторона состоит в жалких усилиях во что бы то ни стало подорвать те плодотворные последствия, которые заключают в себе намерения 19 февраля...

Как ни маловероятен кажется такой факт, но он составляет явление до того общеизвестное, что сомневаться в его действительности нет ни малейшей возможности. Ненавистничество до такой степени подняло голову, что самое слово «ненавистник» сделалось чем-то вроде рекомендательного письма. Ненавистники не вздыхают по углам, не скрежещут зубами втихомолку, но авторитетно, публично, при свете дня и на всех диалектах изрыгают хулу и, не опасаясь ни отпора, ни возражений, сулят покончить в самом ближайшем времени с тем, чтов они называют «гнусною закваскою нигилизма и демагогии» и под чем следует разуметь отнюдь не демагогию и нигилизм, до которых ненавистникам нет никакого дела, а преобразования последнего времени.

Торжество ненавистничества есть факт недавний, происшедший на нашей памяти в какие-нибудь последние пять-шесть лет. Много метаморфоз испытала провинция, много видела она видов, много вынесла на спине своей всяких рукавиц, а преимущественно ежовых, но ничего подобного происходящему на наших глазах не испытывала, не видала и не выносила. Целые легионы ничтожнейших шалопаев рыскают по градам и всеям любезного отечества с специальной целью явно и тайно уничтожать и подрывать действие 19 февраля... скажите на милость, бывало ли когда-нибудь слышано подобное чудовищное дело? Даже обидно становится, когда посмотришь на эту повальную непросветную галиматью, и именно потому обидно, что ни под каким видом ничего нельзя понять. Нельзя понять, почему все это ничтожество, которое еще так недавно жалось около стен, смиренномудричало и притворялось, вдруг всплыло наверх, заняло самую середину сцены и, как весенняя мошкара, кружится на солнце, готовое залепить и глаза, и нос, и уши всякому проходящему. Нельзя понять, почему вся эта неспособность, которая еще так недавно сама сознавала себя ни на чтов не годною, кроме гранения мостовых, зуботычин и смертного боя, вдруг загалдела о каких-то высших соображениях, о каких-то священных интересах и правах. «Чтов такое произошло? – невольно спрашиваешь себя. – Чтов могло вызвать этих слепорожденных из темных их нор? Уж полно, все ли спокойно в любезном отечестве? уж нет ли где признаков, которые бы предвещали хоть какое-нибудь, хоть отдаленное замешательство?»

Можно поручиться, что сами ненавистники затруднятся дать сколько-нибудь удовлетворительные ответы на эти вопросы, а если и укажут на какие-нибудь признаки, по мнению их, зловредные, то в этих указаниях всего замечательнее будет не сущность их (всегда ребячески пошлая и лживая), а то злорадство, с которым они делается. Нельзя себе представлять того наслаждения, с которым ненавистник хватается за всякую поруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучит неприятное ему дело. Прослышит ли он, что народ беднеет, – он ликует; вычитает ли, что в делах застой, – он торжествует всею утробой; дойдет ли до него, что города и села опустошаются пожарами, – нет предела, нет границ его поганым восторгам. Он всякую народную беду готов приурочить к 19 февраля, потому что в дурацкой его голове нет ни одной мысли, кроме мысли об обиде, нанесенной ему этим ужасным для него числом. И можно быть уверенным, что, случись когда-нибудь всероссийское землетрясение, он с радостью согласится погибнуть под развалинами, лишь бы иметь случай лишний раз прокричать: «Это оно, это девятнадцатое февраля!»

Дав; ненавистник – существо жалкое, почти помешанное от злобы. Подобною злобой бывают одержимы только люди совершенно глупые, и именно потому, что в их наглухо забитые головы не может проникнуть никакая связная мысль, никакое общее представление. В этом смысле ненавистник представляет собой психологическое явление, весьма замечательное; он, так сказать, не различает ни прошедшего, ни будущего; он не может отыскать начала, не может предвидеть конца; он не постигает связи вещей, и потому существующее представляется ему произвольным и разбросанным, в виде мелких оазисов, разделенных непроходимыми песками. Вряд ли он даже имеет ясное представление о том, чтов называется отечеством. Единственное впечатление, завещанное ему прошедшим, это впечатление дарового куска, который некогда тешил его утробу; единственное стремление его в будущем – это стремление к тому же даровому куску...

И за всем тем надо пожить среди этих людей, чтобы убедиться, какие у них здоровые зубы и как ловко они умеют вгрызаться в тела ненавистных им субъектов!

Говорят, будто бы Россия изнемогает под бременем либеральных поползновений; говорят, что эти поползновения обуревают ее до такой степени, что даже заставляют опасаться за ее драгоценное здоровье. Вот, дескать, та причина, в силу которой делается необходимым появление таких деятелей, которым небезызвестна теория ежовых рукавиц. Но спросите, где доказательства этого мнимолиберального исступления, потребуйте, чтобы вам указали факты, свидетельствующие об основательности подобного рода опасений – и вы, вместо фактов и доказательств, получите целый ряд трогательно-нелепых рассказов об экипажах, мчащихся с горы в пропасть, о лошадях, вырвавшихся на свободу и умирающих с голоду, и пр. и пр. Мы, провинциалы, охотно прибегаем к образам (забывая, что это доказывает только нашу непривычку мыслить), до того охотно, что даже не даем себе труда проверить, имеют ли эти образы какое-нибудь отношение к данной мысли. Это дает нам возможность уклониться от ответа, это позволяет нам безнаказанно клеветать, сколько душе угодно. В самом деле, что вы можете предпринять после трогательной истории об экипаже, мчащемся с горы в пропасть? Что, кроме того, чтобы вновь потребовать фактов и доказательств? И вот, в ответ вам, уже готова легенда о вырвавшейся на свободу и умирающей с голоду лошади... Не правда ли, как все просто и незатейливо в этом заколдованном круге и как хорошо должно житься в нем глупцам-ненавистникам!

Дело в том, что фактов нет и представлено быть не может по той простой причине, что их не существует в натуре. Нелепые рассказы о каких-то «девках-поганках», требующих конституции, об отставных солдатах и разносчиках, посевающих семена революции по деревням и селам, свидетельствуют только о крайнем умственном убожестве самих рассказчиков. Намерения 19 февраля пали на такую благодарную почву и укоренились в ней так просто и естественно, что тут не может быть места для опасений. Россия не только не мечется в либеральной горячке, не только не требует лечения посредством ежовых рукавиц, но даже относится к этому лечению не без изумления, хотя и принимает его без ропота. Кажется, этого последнего факта одного уже чересчур достаточно, чтоб опровергнуть какую угодно систему доказательств в пользу появления дантистов и ненавистников. И между тем несомненно, что эти дантисты и ненавистники существуют и даже сознают себя призванными к чему-то высшему. Что за притча сия?

Чтобы понять, как трудно и как необходимо разрешить эту загадку, потрудитесь, читатель, из мира интересов общественности перенестись мыслью в тот тесный мир, в котором замыкаются ваши частные интересы. Предположите, что вы задумали предприятие, которое не может быть приведено к концу одними личными вашими усилиями, а требует сотрудничества многих других лиц. К кому вы прежде всего обратитесь? не к тем ли, которые относятся к вашему предприятию сочувственно? не к тем ли, которые обладают надлежащею суммой способностей и сил, необходимых для успеха вашего дела? не к тем ли, наконец, которых вы, во всяком случае, не имеете повода заподозрить в лукавстве или в намерении подкопаться под вас? Дав, конечно, к ним, к этим способным и сочувствующим людям, вы и обратитесь; этого требует и здравый смысл, и прямая ваша выгода. Закон, направляющий в этом случае ваши движения, до такой степени произволен, что, если вы, например, затеваете дело хорошее, то избираете для него и сотрудников хороших, а ежели затеваете дело дрянное, или, лучше сказать, не дело, а только изворот, то и деятелей для него избираете изворотливых, а отчасти и гнусных.

Все это до такой степени очевидно, общепонятно и общепринято, что нет угла в целом мире, где какое-нибудь дело делалось бы иначе как при содействии людей, его понимающих, ему сочувствующих и к нему подготовленных. И вдруг, однако ж, оказывается, что существуют такие сферы человеческой деятельности, где теория самоедства признается не только полезною, но даже необходимою!

Не правда ли, что мы имели полное основание назвать такое положение загадочным?

Но ежели известное явление не подходит ни под какое логическое объяснение, то из этого следует, что для раскрытия его необходимо прибегнуть к путям неестественным. Так мы и сделаем.

Если бы у ненавистников не было за душой ничего, кроме ненавистничества, то дело кончилось бы тем, что они пожрали бы друг друга и сами себя, и, таким образом,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вопрос о достославной их деятельности вскоре упразднится бы сам собою. Однако ж деятельность эта продолжается и заставляет предполагать, что тут примешались кой-какие другие данные, которые, в глазах поверхностного наблюдателя, смягчают самое ненавистничество и позволяют взирать на него без негодования. Данные эти, как увидим ниже, чисто внешнего свойства и имеют весьма слабое отношение к сущности 19 февраля; но так как у нас внешность и до сих пор еще всегда на первом плане, то нет ничего удивительного, что тление, которое за нею стоит, ускользает от анализа неопытного и неискусного большинства.

Первое преимущество, которое ненавистник охотно выставляет вперед, – это приличная и, так сказать, дисциплинированная внешность. И действительно, взирая на открытое и розовое лицо какого-нибудь ненавистника, вслушиваясь в его умеренно-пошловатую речь, весь смысл которой резюмируется словами: «как прикажете?», видя этот учтивый нос и эти ласковые, слегка закатывающиеся глаза, которые, кажется, так и говорят: «навек я твой и даже больше!», всматриваясь в его плавную, преданно-спешащую походку, в его мягкий, несколько бесцветный жест и не усматривая притом в положении его тела ничего, кроме благодарно-устремляющегося и готовно держащего, – вам даже в голову не придет сказать: «Вот человек, у которого в сердце завелось укусное гнездо, у которого в голове засела каверза, у которого внутренности поражены гноящимися струпиями!» Напротив того, вы скажете: «вот обворожительный малый, который отлично владеет французским диалектом и у которого притом из всех пор сочтется пот готовности и признательности!» И, однажды сказав себе это, вы непременно почувствуете к этому человеку влечение и начнете относиться к нему с упорным пристрастием. Неразвитость его вы назовете наивностью, невежество – простодушием, незнание дела – неопытностью; даже в его лукавстве вы будете видеть не то вредное качество, которое и в животных низшего разряда возбуждает отвращение, а милую изобретательность не очень обширного, но благонамеренно направленного ума. Вы не заметите ни той судороги, которая по временам мгновенно пробегает по его лицу, ни тех подергиваний, ни того воздымания ноздрей, в которых собственно и заключается ключ к его сердцу. Перед вами только человек с мягкими, смеющимися глазками, с устремленным вперед корпусом, одним словом, человек, которого можно и намотать на клубок, и опять размотать – как угодно! Не клад ли такой субъект! И возможно ли сравнить его с теми угрюмыми личностями, которые не только не устремляются, но даже как будто назад опрокидываются? Нет, ни сравнить, ни променять ни на что подобное невозможно – это ясно как день. Это тем более ясно, что каверзы, которые выкидывает очаровательный ненавистник, совершаются не на глазах ваших, а там, за кулисами, на каком-то заднем дворе...

И вот, благодаря грациозным манерам, прах, простой и ничтожнейший прах, столбом кружится по градам и весям любезного отечества, залепляя глаза и носы изумленным обывателям!

Другой факт, на который сильно упирают ненавистники и которым они в особенности отводят глаза, заключается в буквальном соблюдении обрядной части 19 февраля. Насчет обрядов ненавистник просто лев; и ему тем легче геройствовать на этом поприще, что самое понимание его не идет дальше обряда, что все воспитание его исключительно основано на обряде и что у него пропасть свободного времени, избыток которого позволяет ему следить за обрядом с пунктуальностью изумительною. Мундиры, парады, обеды, молебны – вот почва, на которой твердо стоит ненавистник, и плохо придется тому, кого пронизательный взор его усмотрит на этой почве небрежным или неисправным. Нужды нет, что тут же, в этом самом мундире, ненавистник измышляет пакость тому самому делу, в пользу которого он парадно вырядился, – повторяем: эта пакость совершится за кулисами, на заднем дворе, на сцене же будут красоваться все внешние признаки преданности делу, на сцене будет обряд, а много ли найдется людей, которые сумеют отличить обряд от сущности? Итак: горе тому, кто оплошал в мундирный день! горе тому, кто в день сей страдал головною болью или коликами! горе тому, кто просто позабыл о происходящем торжестве, а усмотрен был во время оно гуляющим! Тысячи обвинений, одно другого нелепее, одно другого зловреднее, посыплются на его голову и ежели не поразят окончательно, то навредят и нагадят настолько, что человеку опротивеет не только провинция, но и самая деятельность, на которую он в ней осужден.

Дав; вот и дрянные, по-видимому, людишки, а подите-ка, уберегитесь от их белых, поганых зубов! устояте-ка против их козней, несмотря на явную нелепость и глупость последних!

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Читателю петербургскому все эти неудобства и каверзы провинциальной жизни могут показаться паршивыми дрызгами – не больше. Многого из них он не поймет, о многом скажет, что все это дела, не стоящие плевка. Конечно, с своей точки зрения, петербургский читатель будет прав; но представьте себя, так сказать, водворенным среди этих паршивостей, представьте, что вы вошли в тучу комаров, которые и жужжанием и жалением до того одолевают вас, что даже парализуют самую вашу мысль, – как отнесетесь вы к подобному положению? Прибегнете ли вы к тем высшим соображениям, в виду которых это положение не стоит плевка? Назовете ли его именем дрызгов... Дав, это действительно не больше как дрызги, но потому-то именно они так больно и влияют на человека, что уж чересчур паршивы. Смириться перед ними – нет резона; уединиться среди их – тем дряннее и омерзительнее встанет перед вами картина этой властной и торжествующей паршивости. Одним словом, для провинции это вопрос совсем не пустой, а вполне жизненный и совершенно неизбежный. Шпионство, наушничество и вольный донос до того одолели ее, что некуда деваться порядочному человеку, нельзя совершить самого простого акта, чтобы не подвергнуться всякого рода зловредным толкованиям.

И сверх того, не надо забывать, что эта паршивость не потому только вредна, что она заедает того или другого субъекта, но и потому, что она врезывается в самую жизнь и растлевет наилучшие намерения. Не надо забывать, что это паршивость, не лишенная атрибутов силы, а потому действующая самоуверенно и почти без возражений. Но это-то именно и не понимается в Петербурге, и потому всякое, даже слабое противодействие ненавистничеству представляется там какою-то неуместною строптивостью.

Вообще Петербург не охотник до так называемых пререканий; они кажутся ему вредными; они тревожат его олимпийское спокойствие, они мешают ему думать, что в любезном отечестве все обстоит благополучно. Петербуржцу кажется, что стоит какому-нибудь Ивану Ивановичу хорошенько поцеловаться с Иваном Никифоровичем, – и все пойдет как по маслу. «Помилуйте! ведь это все преувеличения! вы там деретесь, а мы должны из-за ваших ничтожных драк оставлять наши общие соображения!» – вот что обыкновенно слышит страдалец-провинциал от любого петербуржца, которому вздумает поведать повесть своих провинциальных затруднений. И никак не убедится глубокомысленный петербуржец, что есть же причина, которая обуславливает эту организованную драку, и что ежели тут на первом плане пустяки, то это именно те пустяки, которые загораживают живое и кровное дело, которое делается отнюдь не в Петербурге, а в провинции.

Надо сознаться, что в последние три-четыре года в провинциальной жизни выработалось много не весьма хорошего, и, между прочим, явилась на свет целая система обвинений, против которых предполагаются невозможными никакие возражения. Таковы, например, обвинения в нигилизме, в коммунизме, в демократизме, в безверии и т. п. Обвинения, при известных условиях и при общей сбивчивости понятий об истинном смысле их, очень веские. Спросите любого ненавистника, что он понимает под этими выражениями, которыми он сыплет направо и налево, – он наверное разинет рот или понесет совершеннейшую чепуху. Но дело в том, что ему совсем и не важно знать, какое значение имеет то или другое выражение; для него достаточно быть уверенным, что есть на свете такие сладкие термины, которые позволяют ему стрелять в упор, и вот он постреливает да постреливает себе полегоньку, отнюдь не сомневаясь, что выстрелы его рано или поздно достигнут-таки надлежащей цели. Положим, например, вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьян до разорения под благовидным предлогом казенного интереса, с действительно же целью, пускай, дескать, знают поганцы, какова сладка хваленая их свобода! – и вот, вместо ответа, в вас стреляют обвинением в коммунизме! Или, положим, вы доказываете необходимость и пользу независимости судов, пользу, признанную законом, а в вас, вместо ответа, стреляют обвинением в неуважении к власти! Что вы предпримете вы против таких обвинений? Станете ли возражать, что между коммунизмом и правильным ходом крестьянской реформы, между неуважением к власти и независимостью судов нет никакой связи? но разве тут может быть речь о какой бы то ни было связи? Разве тут что-нибудь требуется, кроме гнусного голословного обвинения? Да, это положение почти безнадежное...

Есть, впрочем, одна сила, которая могла бы удерживать ненавистников в пределах благопристойности, ежели бы ей было дано надлежащее развитие и ежели бы она сама сознавала, как много она значит и как много может. Эта сила – печать.

Не можно измыслить тех проклятий, которыми осыпается в провинции бедное печатное

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru русское слово, но в то же время трудно себе представить трепет более почтительный, нежели тот, с которым ожидает ненавистник печатной кары своим злоумышлениям. Совершивши свинство, ненавистник долгое время проводит в весьма нелегких терзаниях. С тех пор, как завелась так называемая спасительная гласность, жизнь значительно опостылела ненавистнику. Гг. Катков, Аксаков, Скворцов и проч. кажутся ему не просто смертными, а какими-то недремлющими волшебниками, которые невидимо присутствуют при всяком паскудном деянии и от которых бесполезно было бы даже что-нибудь таить. Они все видят, все знают, все предугадывают. И вот, в виду этого всеведения, за содеянным свинством всегда наступает для ненавистника ряд дней томительного ожидания кары, ожидания более тяжкого, нежели самая кара. «Не может быть, чтоб меня не сказнили!» – резонно твердит себе ненавистник, и содеянное свинство во всех малейших подробностях встает в его воображении, а дни получения газет становятся днями трепета и невыносимейших нравственных истязаний.

Само собой разумеется, что в большинстве случаев эти ожидания только трепетом и разрешаются; но велико бывает смятение в те редкие и памятные дни, когда и в самом деле в одной из газет появляется краткое известие о наших секретных и явных деяниях.

Представьте себе физиономию ненавистника, который вдруг вычитывает из газет, например, следующее известие:

Наилучший способ употребления пожарных лошадей. Из города Окова пишут: «Пожары в нашем городе, благодарение богу, редки, и вот местные распорядители, чтоб не лишить пожарных лошадей полезного моциона, придумали ссужать их под кавалькады туземным аристократам. Недавно одна из таких кавалькад красовалась по улицам города, и обыватели имели случай убедиться, что лошади эти выезжены под верх весьма удовлетворительно».

Или:

Особенный вид благотворительности. Из Окова пишут: «Недавно цвет нашего аристократического общества давал с благотворительною целью любительский спектакль. При этом способ привлечения публики был избран хотя и не новый, но весьма оригинальный: билеты навязывались обывателям под угрозой мести; сказывают даже, будто некоторые извозчики получили по нескольку билетов и были в большом затруднении, в каких костюмах явиться на драматический фестиваль. Одним словом, явился новый, неожиданный налог».

Нельзя, конечно, сказать, чтобы заметки эти были очень ядовиты или глубоко захватывали наши провинциальные немощи, тем не менее и они, несмотря на свою невинность, производят действие довольно существенное. Видя себя застигнутым, ненавистник некоторое время смотрит совершенным именовником. Он чаще обыкновенного появляется в публику и хотя старается игнорировать о поднесенном сюрпризе, но в то же время озирается и ищет. Он перебирает в уме своем личности, которых можно заподозрить в знании орфографии и знаков препинания; он подслушивает, подсматривает, подсылает; он то нападает на след, то теряет его... Конечно, ежели виновник обнаружится, то и он, в свою очередь, не останется без сюрпризов весьма существенных; тем не менее можно поручиться наверное, что кавалькады уже не повторятся и что аристократкам города Окова уже не придется щегольнуть перед извозчиками богатством блонд и кружев. Что ж, и это результат хоть куда! По крайней мере, извозчики за нас, бедных литераторов-обывателей, богу помолят!

Но ежели таков результат обличений мелких и случайных, то можно себе вообразить, во сколько крат он был бы действительнее, если б эти обличения повторялись почаще (этак через день по ложке), или – что гораздо важнее – если бы эти обличения затрогивали самый строй провинциального быта и выводили наружу те немислимые ни в каком цивилизованном обществе противоречия, в которых мы путаемся на каждом шагу.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В прошлом письме было мимоходом упомянуто, что историографы наши снабжены белыми и острыми зубами, которыми они ловко врезаются в ненавистных им субъектов. Считаю нелишним подтвердить этот факт и даже остановиться на нем, так как чрезмерное развитие плотоядных инстинктов может, наконец, привести к совершенному обезлюдению наших провинций и превратить их в пустынные пастбища,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru на которых будут пастись лишь ожиревшие фофаны, стрегомые бдительными историографами.

В провинции до сих пор пользуется большим авторитетом то совершенно неосновательное мнение, в силу которого могущество и величие общества зиждутся исключительно на фофанах. Чем гуще в известной местности фофанское насаждение, – говорит это диковинное учение, – тем та местность счастливее, тем более представляется залогов для обеспечения будущего благоденствия страны...

Основания, из которых вышло подобное убеждение, понять довольно трудно; тем не менее можно догадываться, что главную роль тут играет едва ли не пресловутое фофанское смирение. Предполагается, что человек, который вообще не имеет склонности к мышлению, не может мыслить худо; что человек, который ничего не делает или же с утра до вечера хлопает себя по ляжкам, не может делать худа; что человек, который аккуратно каждый день напивается пьян, спит глубже, нежели человек, который пьян не напивается, а следовательно, не только противообщественных, но и никаких снов видеть не может. Отсюда умозаключают, что жить с фофанами не в пример удобнее, и это заставляет многих смотреть на фофанов, как на какую-то каменную стену, под защитой которой можно радеть и ревновать на всей своей воле.

С другой стороны, если человек имеет вид незаспанный и не сопит, то весьма естественно, что к нему нельзя подойти с тою бойкостью и развязностью, с какой подходят к мертвому телу. Нельзя поставить его в угол носом, чтоб он этого не слышал, нельзя ушибить, чтоб он этого не почувствовал, нельзя замазать рот скверностью, чтоб он этим не стеснился. То есть, коли хотите, все это сделать можно, но нас приводит в негодование уже одно то, что вот человека пришибают, а он еще, каналья, стесняется!

Но этого мало; не все же ушибать и замазывать рты; иногда необходимость заставляет побеседовать, посоветоваться и вообще поразмыслить. Как бы мы ни старались избегать преткновенений, требующих работы мозгового вещества, но жизнь, с замечательным упорством, становится перед нами и делает умственный труд неизбежным даже для самого легкомысленного из историографов. Вот тут-то, среди этих преткновенений, собственно и познается, что разница между фофаном и человеком несопящим существует несомненная и притом весьма ощутительная.

Историограф, с внутренней стороны, очень мало чем отличается от фофана: он так же невежествен, так же мало развит, нравственные его убеждения и правила почерпнуты из того же классического источника, то есть из романов Поль де Кока. Их взаимное отличие чисто внешнее и заключается единственно в том, что историограф может распорядиться деятельно, а фофан имеет право распорядиться лишь исполнительно. Следовательно, если историограф обращает свое слово к фофану, то он заранее уверен, что слово это будет по инстинкту понято и принято без возражений; мало того, он уверен даже, что фофану непременно покажется, что у него, историографа, вылетают из уст совсем не те глупые и пошлые слова, которые вылетают на самом деле, а огненные языки. Совсем другим характером отличается слово, обращенное к человеку незаспанному и несопящему. К великой досаде историографов, этот последний имеет неудобную привычку усвоивать себе то, что ему говорят, и потому на веру ничего понимать не умеет. Так, например, если ему говорят: «*Mais ça ne se fait pas ainsi!*», [3] то он, стремясь уяснить себе, что именно *ne se fait pas ainsi*, непременно об этом спросит, и когда получит объяснение: «*Mais c'est impossible!*», [4] то, пожалуй, и опять спросит.

Надо думать, что это делается само собой, без всякого дурного умысла. Человек незаспанный не только сам желает понять, что ему говорят, но хочет, чтобы и говорящий был не совсем чужд этому пониманию. Историограф, объясняющий свои намерения и предначертания, – ведь это такое любопытное существо, что самое обыкновенное чувство человеколюбия предписывает употребить все меры, дабы развить его, по крайней мере, в той степени, чтобы он познал самого себя. Спрашивается: где тут злокозненность? Согласитесь, читатель, что если мы предположим даже самое дурное, если мы посмотрим на это дело даже с предубеждением, то и тут вряд ли отыщем что-нибудь иное, кроме неопытности. Мы охотно допускаем, что пионер, как и всякий другой человек, пускаясь в опасное плавание между подводными камнями, носящими название историографов, обязан заранее подготовиться к этому подвигу; что он прежде всего должен основательно изучить Поль де Кока и прочих классиков, потом выслушать курс наук в заведении минеральных вод и затем уже, пришибив себе слегка голову, явиться в мир кормчим

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru добрым и благонадежным. Если он не исполнил этого – он виноват; но именно потому-то, что тут есть вина бесспорная и несомненная, самая простая справедливость требует, чтобы вопрос был ограничен его естественными пределами, а не усложнялся обвинениями в неблагонамеренности. Зачем прибегать к уголовщине, когда преступление подходит к категории деяний, вызывающих лишь дисциплинарное взыскание? Не понимает человек – надо его вразумить, а если вразумлять некогда – надо напомнить кратко, что понимание вредно, и указать, для лучшей видимости, на фофанов, которые никогда ничего не понимают, но живут.

Оказывается, однако ж, что подобное ограничение вопроса не так легко, как можно было бы ожидать с первого взгляда; оказывается, что наивная пионерская пытливость до такой степени сразу огорошивает историографа, что всякие компромиссы делаются невозможными. Его поражает бесконечно, что слова его не только не кажутся вылетающими из уст в виде огненных языков, но даже принимаются с некоторою недоверчивостью относительно смысла, в них содержащегося. Ему кажется это предумышленным притворством. Он пробует прибегнуть к разъяснениям, но каждое новое толкование приводит за собой новую путаницу, а вместе с тем и новый повод кипятиться и негодовать. Раздраженное воображение начинает рисовать разнообразнейшие картины, в которых по одну сторону стоят фофаны, все понимающие и все исполняющие, а по другую – пионеры, ничего не понимающие и всему противодельствующие. Разгоряченный непрошено пытливостью, историограф забывает даже свое знаменитое «parlez moi de ça!»[5] и сразу озадачивает своего собеседника восклицанием: «А позвольте вас, милостивый государь, попросить быть осторожнее в ваших выражениях!» И таким образом тайна слов «mais ça ne se fait pas aînsi!» остается неразъясненного и нередко даже уносится историографом в могилу.

И вот начинается странный поход за непонимание «parlez moi de ça!». Поднимается генеральная пальба; в воздухе пахнет доносом; на небе собираются тучи, из которых, подобно молниям, изрыгаются извещения. Внизу стоят фофаны, кидают вверх шапки и кричат: «Виват!» Близорук и легкомысленно самонадеян будет тот, кто не поймет этих предзнаменований и не поспешит вовремя уложить свой багаж!

Ни клевета, ни ложь, ни даже свой собственный срам не остановят историографа в борьбе с человеком, который не умеет понять сразу значения «mais c'est impossible». Не имея иных желаний и помыслов, кроме стремления беспрепятственно расправлять локти, историограф тем с большею яростью нападает на ненавистного ему субъекта, чем более встречает в нем сознания права и законности, чем более усматривает в нем сомнений относительно необходимости и полезности безграничной игры локтями. Законность – это тот многоглавый Минотавр, с которым сей новый Тезей искони ведет неустанную борьбу, и ведет далеко не безуспешно...

Конечно, нельзя не сознаться, что в беспрепятственности отношений имеется немалая доля привлекательности и что этим весьма достаточно объясняется ненависть к тем людям, которые не скоро поворачиваются и не идут навстречу ушибаниям; но не следует забывать и того, что привлекательность эта чисто личная и что для дела собственно тут пользы ни в каком смысле не предвидится. Мы желаем расправлять наши локти на всей своей воле – нет ничего приятнее; но подумаем, однако, не рискуем ли мы при этом, что нам, в конечном результате, придется расправлять эти локти в пустоте, что нам некого будет со временем даже задевать ими?

Взглянем ближе на эту странную теорию, в силу которой благополучие общества ставится в зависимость от размножения фофанов, и мы убедимся, что выгода, представляемая покладистостью и смиренством фофанов, есть та кажущаяся выгода, которая на деле сейчас же сводится к нулю. Прежде всего, перед нами обнаружится совершенная неспособность фофанов к какой бы то ни было производительности, исключая унавоживания полей; потом обнаружится, что, при всей неспособности, и непроизводительности, фофаны в высокой степени прожорливы и не прочь погулять в златотканых одеждах, чтов обходится стране довольно дорого; наконец, обнаружится, что, несмотря на смиренность и послушность, их исполнительные качества не стоят ломаного гроша, ибо, даже в этом смысле, они могут только шарахаться из стороны в сторону, убивать, ушибать, а не исполнять. А потому, если мы захотим представить себе среду, исключительно составленную из фофанов, с полным устранением каких бы то ни было живых элементов (чего именно и вожделяют столь пламенно некоторые историографы), то в самом ближайшем будущем убедимся, что подобная среда не только не изображает пресловутой каменной стены, но представляет несомненнейшую пустоту, в которой одиноко бушуют историографы.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Позволительно усомниться в назидательности подобного зрелища, хотя и нельзя отказать ему в некоторой грандиозности. Опыт с достаточной убедительностью доказывает, что успех какой бы то ни было страны находится в зависимости совсем не от страдательного и бессмысленного присутствия в ее истории фофанов, а от деятельного участия в ней живых и сознательных сил. Истина эта стара, как мир, и только одни историографы до сих пор остаются ей чуждыми. Как ни вредны науки, но совершенно упразднить их нельзя, потому что

Науки юношей питают,
Отраду старцам подают... –

и, следовательно, позволяют и тем и другим проводить время без ущерба для благочиния. Как ни неуместно кажется сознательность, но и без нее обойтись невозможно, потому что только то дело прочно, которое делается с сознанием. Летайте, сколько угодно, из края в край, устрашайте, угрожайте, оглушайте, преследуйте систематически всякое поползновение на обладание мыслью и убеждением, – вы не получите в результате даже того смиренства, которого так страстно добиваетесь, а будете иметь только мертвенность.

Предположим в самом деле, что какой-нибудь остервенившийся историограф второй или третьей руки все совершил, что совершить ему надлежало, то есть нигилистов истребил, коммунистов разорил, демократов разгромил, науку упразднил, а Поль де Кока водворил; что он, весь потный от трудов смертного боя, почил наконец на лаврах и лицо его сияет удовлетворенною глупостью. Он сидит, окруженный своими Пьерами, Анатолями, Жоржами, Симонами и прочими бонвиванами польдекоковского закала; сидит и ведет благодушную беседу о том, как отвратительно жить в России, как развратен русский народ и как должно быть теперь привольно там, в Петербурге, на минералках, под крылышком у И. И. Излера...

Je suis solide au poste,
Car j'ai un fier tempérament! –

испускает историограф-победитель, подражая несравненной m^{lle} Lafourcade.

Приносится мадера, являются историографские жены, историографские помпадурши, историографские прихвостни и прихвостницы и присутствием своим усугубляют блеск торжества.

Таковы первые плоды победы. Историографы счастливы бесконечно.

Je m'en fiche, contrefiche...[6] –

раздается из края в край с таким мастерством исполнения, что даже станковые, и те вдали канканируют.

Но не забудем, что за первыми плодами всегда следуют вторые. Пакостные разговоры имеют ту слабую сторону, что не представляют никакого разнообразия и потому немедленно иссякают. Да и атмосфера в провинции как-то слишком густа для канкана. Вольно и естественно танцуются этот танец только на минералках; мы же, провинциалы, слишком тяжелы на подъем, слишком стеснены окружающими сиволапыми мужиками, чтоб иметь возможность поднимать ноги до надлежащего уровня. Таким образом нежданно-негаданно наступает время для плодов иного рода, и плоды эти оказываются уже далеко не столь сочными и приятными, как плоды нумера первого.

Возникают преткновения, требующие неременной и безотлагательной работы мозгов; возбуждаются вопросы, тоже без участия мозгов отнюдь не разрешимые; среда сиволапых дает себя чувствовать все стеснительнее и стеснительнее. В какую сторону ни обернется историограф, везде видит препятствие, везде чувствует сердцем противодействие. Давно ли, казалось, он разорил нигилистов и истребил коммунистов, а противодействие не только не унимается, но угрожает принять невеселые размеры. Оказывается на поверку, что историограф понимает под противодействием все то, что имеет ненавистное свойство заставлять его двигать мозгами.

– Чтов делать? какв поступить? – мечется он от Симона к Пьеру, от Анатоля к Жоржу.

Увы! Симон только сосет палец в ответ. Пьер молчит, потому что продолжает страдать собачьею старостью; Анатоля хотя и стоит la loi à la main,[7] но и в этом трогательном положении усматривает только фигу; что касается до Жоржа, то

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru он, как малый скоропалительный, предлагает перепороть всех до единого, не взирая даже на особ.

– Mais ce n'est pas pratique, mon cher, ce que vous proposez là! [8] – восклицает в отчаянии историограф-победитель и, с угрызением впервые проснувшейся совести, вспоминает о разоренных им коммунистах, которые в данном случае все-таки могли бы подать полезный совет и, пожалуй, даже оградить его от ожидаемых в будущем головомоек.

– Господи! да ведь это дураки! – в первый раз в жизни делает он остроумное и притом несомненно правдивое определение окружающих его бонвиванов.

В первый раз он раскаивается; в первый раз он чувствует, как несостоятельна и даже опасна теория беспрепятственной игры локтями.

Читатель! не радуйся слишком скоро этому вынужденному обращению историографа к чувствам более или менее человеческим! помни твердо, что он сам малый со взломом, что для него самого всякое явление, заставляющее шевелить мозгами, есть явление противное, которое во что бы то ни стало следует исторгнуть вон с корнем!

А так как явлений этих много и дело вырывания корней – дело не легкое, то историограф, не находя ни в себе, ни в своих сотрапезниках никаких мало-мальски практических указаний, делается на время угрюм и задумчив. Он ищет глазами, не найдется ли где какого-нибудь завалящего пионера, которого он позабыл второпях разорить, но оказывается, что таковых не обретается. Везде тишь, да гладь, да божья благодать; везде умственная нищета и изнурительное нравственное убожество; везде погром, везде бессилие... Вдали пасутся откормленные фофаны, стрегомые сосущим палец Симоном и подстегиваемые, для порядка, скоропалительным Жоржем.

– Чем-то нас сегодня будут кормить: бардой или жмыхами? – лениво урчат фофаны.

Сердце историографа сжимается.

– Хоть бы молчали, подлецы! – ворчит он, досадливо закусывая усы.

И вот он прибегает к средству самому простому и вместе с тем очень решительному. Не находя возможности овладеть жизнью с помощью собственных средств, он воздвигает укрепления за укреплениями, окопы за окопами и уводит туда за собой своих сотрапезников. «Уж там-то, – думает он, – не найдет меня никто, и я могу свободно показывать нос всевозможным вопросам!»

Не думайте, однако ж, чтоб это были укрепления настоящие, выстроенные из гранита, кирпича и т. п. Нет, это укрепления бросовые, наскоро слепленные из таких же бросовых и давно повсюду признанных негодными материалов. Тут есть и насилие, и самоуправство, и безответственность поступков, и бесцеремонное отношение к человеческой личности. И весь этот хлам, весь этот брак кой-как слеплены собственными слюнями историографов.

Оградивши себя и присных своих этими нелепыми твердынями, историограф мнит, что бессрочно окопался от всевозможных запросов и что, в крайнем случае, он будет иметь возможность сокрушить беспокойных и противляющихся посредством пальбы.

И действительно, первое время в этом укрепленном лагере живется отлично. Поощренный кажущоюся безопасностью, историограф не только не остепеняется, но с каждым днем все больше и больше предается пагубным страстям. Мало-помалу он упрощает свои приемы до того, что только фыркает, брыкается и ржет.

Все это хорошо; все это так, как и быть надлежит, но, говоря откровенно, как-то плохо верится в силу возводимых историографами укреплений. Вообще мы, русские, никогда не отличались особенною сметливостью по части сооружения твердынь. Оттого ли, что наши инженеры недостаточно сообразительны, или от иной какой-либо причины, но как-то всегда оказывается: или что укрепления выстраиваются совсем не там, где следует, или же что под видом укреплений воздвигаются дрянные картонные домики. А потому, когда нам приходится палить, то мы либо палим по своим, либо убеждаемся, что без пороху палить невозможно. Было время (уж и памятно же оно нам! – да и где наконец те времена, которые были бы нам не памятны!), когда мы укреплялись и окапывались с особенным рвением, когда мы

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru думали даже, что вот-вот окопаемся от целого мира, – и что ж? – в ту самую минуту, когда мы мечтали, что дело окапывания наконец завершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-наплотно закупорить себя, как в бутылке... в эту самую минуту оказалось, что инженеры наши по всей линии сплеховали!

Это было зрелище потрясающее и в то же время вполне поучительное. Сколько рухнуло разом надежд, сколько вырвалось криков изумления! Мы до сих пор не можем забыть изумление одного учителя географии, который до того понадеялся на прочность твердынь, что даже в учебнике своем написал:

«Россия есть бутылка, со всех сторон осмотрительно и благонадежно закупоренная» – и вдруг должен был сознаться, во-первых, что Россия совсем не бутылка, и, во-вторых, что она закупорена очень неплотно, хотя денег на закупку пошло с три пропаста. Припоминается нам много и других изумлений, отчаяний и воплей, раздавшихся по поводу незакупоренности нашего отечества, и, сознаёмся откровенно, с тех пор нами овладело сомнение.

Вот, думаем мы, уничтожены шлахтаумы – и сердце России не дрогнуло; упразднилось крепостное право – и помещики возвеселились сугубо; сдан в архив откуп – и кабаки приумножились; наложена печать молчания на суды земские, на суды уездные – и злодеи не только не восторжествовали, но вострепетали пуще прежнего! А ведь какие были твердыни и какого переполоха надлежало ожидать от их падения! И ничего! не только ничего, а как будто бы этих твердынь совсем и не бывало! Факт этот до такой степени поразителен, что мы полагаем, что если будет признано излишним упразднить казенные палаты и особые о земских повинностях присутствия, то и тогда не последует ни потоп, ни труса, то и этой невзгоде Россия подчинится с благоразумием и готовностью, достойными похвалы.

Сверх того, история всех времен и народов доказывает довольно убедительно, что обилие укреплений всегда порождает известную долю подозрительности, и именно в те самые минуты, когда подозрительность всего менее желательна. Течение жизни самое скромное может наконец заметить, что против него умышляется что-то недоброе, и заметит это тем скорее, чем чаще напоминают о том фальшивыми тревогами и искусственными страхами. В ту самую минуту, когда мы всего менее о том думаем, вдруг с поразительной ясностью выдвигается вперед вопрос: «за чтов ж ты дерешься?» – и, постепенно овладевая помыслами обывателя, становится в упор всем насущным потребностям дня. И вот обыватель становится назойлив и отчасти нахален; хотя он еще не протестует против оплеух, но уже хочет уяснить себе это явление, хочет дойти до сознания, в каких случаях плюха с обстоятельствами дела согласна и в каких – нет. Казалось бы, что тут-то именно и ждать от твердынь всякой благодати, что вот тут-то они и дадут отпор непрошеной обывательской любознательности, а выходит совсем напротив: выходит, что в этих-то случаях и проявляется во всем блеске сугубая их несостоятельность.

Во-первых, вопрос «за чтов ты дерешься?» принадлежит к тем изумительно ясным и простым вопросам, которые, в самое короткое время, приобретают неимоверное количество прозелитов. Во-вторых, не следует упускать из вида, что в подобных обстоятельствах всегда немаловажную роль играет измена. Она незаметно проползает в самое сердце твердынь и ядом своим растлеивает сердца самих палителей. Все эти Жоржи, Пьеры, Анатоли и сосущие палец Симоны оказываются далеко не столь благонадежными и твердыми в вере, как это предполагается. Как ни запирайте их на замок, как ни ограждайте от соблазна, соблазн настигнет их неизбежно. И вот возникает свара и галдение в самом святилище бонвиванов; зарождается и растет мысль о предательстве; число дезертиров с каждым днем увеличивается; костюм ренегата становится *très élégant et très porté*...[9] В одно прекрасное утро бонвиваны, под предводительством Жоржа, с распущенными знаменами и под звуки песни:

A Provins, trou-la-la-la...[10] – выходят из укрепленного лагеря, и вслед за тем пресловутые твердыни мгновенно покрываются паутиною и зарастают репейником.

Тем не менее в отношении к нашим историографам, доводы самые убедительные оказываются бесполезными, потому что они влекутся к укреплениям даже не по своей воле, а фаталистически.

Поговорите с любым из губернских историографов, – чтов вы услышите от него? – вы услышите жалобы на то, что его положение недостаточно твердо; вы услышите

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru назойливые домогательства об укреплении этого положения; вы услышите нахальные угрозы, что вселенная разрушится, если в самом непродолжительном времени не будут приняты действительные и энергические по сему предмету меры. В виду этих суровых сетований и предсказаний, вы вглядываетесь и прислушиваетесь кругом и, к удивлению, не видите ни одного движения, не слышите ни одного звука, которые, хотя в самомалейшей степени, давали бы повод для столь трагических опасений. Вы обращаете ваши взоры на историографа – и видите, что у него, сверх того, висит целый колчан стрел за спиною и руки вооружены увесистыми бульжниками. Стало быть, есть чем и отпор дать. «Господи! да рожна, чтов ли, ему надобно?» – невольно спрашиваете вы себя.

Не удивляйтесь этому тоскливому голошению; мы, коренные обитатели губернских палестин, можем разъяснить вам это явление очень просто. Все дело в том, что нас, провинциальных историографов, с одной стороны, удручает весьма замечательная умственная неразвитость, а с другой стороны, не менее притесняет изнуренное преждевременным чтением Поль де Кока воображение.

По Поль де Коку, жизнь человеческая представляется в виде цветущей долины, и течение ее обуславливается самыми несложными мотивами. Обыкновенно какой-нибудь Альфред, ремеслом, по-французски, бонвиван, а по-русски – шалопай, шатается по белу свету, не держа в голове никакой другой мысли, кроме мысли о повсеместном распространении учения о безделице. И вот ему сначала встречается Арманс, потом встречается Бланш, потом Жюстин и множество других ревностных последователниц этого учения. Он смакует, порхает с цветка на цветок и с каждой поочередно разыгрывает водевиль на тему: *dansons, buvons... et chantons!*[11] Наконец, однако, он пропивается дотла и к довершению всего занемогает истощением сил. Очевидно, ему надлежит пропавсть, но Поль де Кок слишком добродушен, чтобы допустить столь справедливую, но печальную развязку. И действительно, в самую отчаянную минуту у изголовья Альфреда является хорошенький мальчик, который своим старательным уходом оказывает благотворное влияние на возобновление истощенных сил шалопая. После довольно продолжительного любовного бездельствия Альфред приходит в себя, прикасается дрожащими руками к хорошенькому мальчику и тут же начинает чувствовать, как возвращаются к нему способности селезня. Оказывается, что хорошенький мальчик совсем не мальчик, а скромная, но грешная девица Клеманс, которая давно любила Альфреда и с тайною грустью следила за его истощающими здоровьем похождениями.

Вот и все. Незамысловато, но зато общедоступно и успокоительно в том отношении, что указывает в перспективе легкую поправку распутства, в лице девицы Клеманс. Легко себе представить, как действует такое чтение на человека, который был основательно подготовлен к нему домашним подобного же рода воспитанием. Во-первых, он получает убеждение, что жизнь есть не что иное, как торжество безделицы; во-вторых, он проникается мыслью, что для Альфредов ни в чем не может быть ни препон, ни отказа; в-третьих, он приобретает непреодолимое влечение к легкому труду; в-четвертых, он окончательно растлевает и тот небольшой обрывок умственных сил, который составлял все наличное духовное богатство его. Вообразите же себе этого человека при первом столкновении с действительною, а не шутовскою жизнью! Вообразите себе его в ту минуту, когда в голове его впервые зарождается подозрение, что мир населен не Клемансами и Жюстинами, а чем-то иным? Кавк должен он отнестись к указаниям, требованиям и противоречиям жизни?

Очевидно, что сначала он отнесется к этим невзгодам довольно легко. Он, подобно бабочке, будет перелетать с одного цветка на другой, подобно наемной блуднице, будет расточать всякому встречному поцелуи. Но вот наступает период истощения; все цветы перепробованы, все поцелуи расцелованы, а невзгоды не унимаются, шероховатости нимало не сглаживаются. «Клеманс! где ты?» – восклицает он в изнурении; но, увы! Клеманс не является на выручку, потому что она солгана классиками, в действительности же ее нет и не бывало...

Увы! как бы хозяйственно ни устроились историографы в своем укрепленном лагере, положение их не сделается от этого ни менее уединенным, ни менее беспомощным. Человеческая природа слишком сложна, чтобы в продолжение неопределенного времени довольствоваться одною и тою же гнилою пищею. Как ни сладки трактаты о прелестях бонвиванства, но с течением времени они приедаются даже таким необширным умам, каковы умы историографов. Тут, кроме неизменности содержания беседы, есть еще неизменность приемов и замашек, которыми сопровождается беседа. Заранее известно, какой жест делает Nicolas, как прищурит глаза Пьер, как облизнется Simon. Это становится под конец до того отвратительным и невыносимым, что

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru потребность освежить содержание жизни становится вопросом дня. Предлагаются различные проекты для улучшения историографского быта, стуколка заменяется игрою в *le jeu ou noir*, [12] но так как мозги шевелются лениво, то изобретательная способность оказывается ничтожною. Начинается скука, за скукой сплетни, наушничество, шпионство; историографы зевают, раскалываются и взаимно друг друга подают.

Таковы конечные результаты торжества историографов в провинции.

Но все это только личная комедия; могут спросить, как отзывается она на деле? На этот вопрос можно ответить так: в настоящее время в провинции никто ничего не делает. Пионеры делают мало потому, во-первых, что орудия действия находятся вне их влияния, а во-вторых, потому, что деятельность их почему-то постигается параличом. Историографы совсем не делают ничего, потому что их назначение канканировать и мешать делать другим. Каким же образом идет какое бы то ни было дело? На это один ответ: провидение...

Петербургская журналистика нередко в довольно резких формах осуждала убеждения так называемых «постепеновцев» (к ним всего ближе подходят те люди, которых мы разумеем под именем пионеров). Не будем входить здесь в рассмотрение сущности этих убеждений; скажем одно: люди этих убеждений – те самые, против которых в настоящее время направлены самые ядовитые стрелы историографов. Лицо историографа немедленно покрывается пурпуром при одном виде постепеновца, и покрывается не без основания, ибо в постепеновце он видит человека, которому самую судьбою предназначено отнять у него лакомые куски. Насколько основательно это последнее предположение – мы сказать не можем, но знаем, что в нем заключается весь смысл распри. Не та или другая сущность дела, не то или другое направление его, а именно лакомые куски составляют все содержание историографских наездов с их темною свитой вольных доносов и извещений. Не жалкое ли это зрелище? не жалкие ли нравы?

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Из всего, изложенного в предыдущих письмах, достаточно явствует, что в провинции существует немало препятствий, которые в значительной степени затрудняют правильное развитие скромных зачатков, положенных в основу русской жизни в течение последнего десятилетия. Препятствия эти, по нашему мнению, заключаются, во-первых, в трудно объяснимом, но тем не менее весьма явственно ощущаемом недоброжелательстве к этим зачаткам со стороны тех самых лиц, которые, по всем видимостям, должны быть наиболее заинтересованы в их успехе; во-вторых, в исконном и неисправимом свойстве наших бюрократов всякое общее дело связывать с своими личными интересами и повсюду усматривать посягательство на их власть; и, в-третьих, в крайнем невежестве губернских историографов, которое фаталистически обрекает их на праздность и заставляет прибегать к пререканиям и суесловию, как к единственной форме, дающей их полусознательным движениям какой-то вид деятельности.

Но, само собою разумеется, все эти препятствия никак не могли бы иметь той решительной силы, какую они в действительности имеют, если бы рядом с ними не существовало нечто другое, имеющее корень в самом складе губернской жизни и наносящее ее успехам ущерб несравненно более значительный, нежели нелепое самопожирание обозлившихся бюрократов второй степени.

По неисповедимой воле судеб, у нас как-то всегда так случается, что никакое порядочное намерение, никакая здоровая мысль не могут удержаться долгое время на первоначальной своей высоте. Намерение находится еще в зародыше, как уже к нему со всех сторон устремляются разные неполезные примеси и бесцеремонно заявляют претензию на пользование предполагаемыми плодами его. Не успели вы порядком оглядеться в новом порядке, как уже замечаете, что в нем нечто помутилось. Вглядитесь пристальнее, и вы убедитесь, что тут суетится и хлопочет целый легион разнообразнейших чужеродных элементов.

С этими чужеродными элементами происходит довольно странная история. Так как существование их лишено всякой самостоятельности и находится в тесной зависимости от более или менее удовлетворительного состояния тех предметов, которые доставляют им питание, то казалось бы, что самый простой здравый смысл требует, чтобы отношения паразитов к этим предметам были основаны на строгой расчетливости и чтобы в деле сосания чужих соков была по малой мере соблюдаема известная деликатность и экономия. На практике, однако ж, всегда случается

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru совершенно противное. Паразит непредусмотрителен и ограничен по преданию; ему не жаль расходовать чужие соки, потому что он не понимает, что это вместе с тем и его соки. Он наедается всегда досыта, то есть до тех пор, пока вместить может, потому что мысль о завтрашнем дне слишком отвлеченна, чтобы уместиться в его голове. Поэтому, если в жизнь закрадываются чужеродные элементы, то зрелище, которое на первых порах являет их плотоядность, бывает поистине изумительно. Заприметив в каком бы то ни было общем деле известного рода мякоть, они нападают на нее с безрассудною прожорливостью саранчи, высасывают ее дотла, не сознавая и не предусматривая, что своим невоздержанием они не только отнимают у общего дела самые нужные соки (это-то, пожалуй, было бы им на руку!), но в то же время нимало не устроят и своих личных маленьких дел.

Чужеродство – это вреднейшее наследство нашего прошлого. Нельзя сказать, чтобы этот элемент когда бы то ни было заявил миру о своей устойчивости и чтобы вообще прошлое оправдывало необычайную живучесть его; напротив того, он постоянно показывал себя до того рассыпчатым, рыхлым и нерассудительно жадным, что даже не сумел выработать самого простого понятия, без которого не может существовать ничто сколько-нибудь претендующее на живучесть, – понятия о дисциплине. Но есть у него своего рода драгоценное качество, заменяющее и устойчивость и дисциплину – это способность примелькаться – и вот, благодаря этой простой и чисто страдательной способности, чужеродство сделалось в наших глазах как будто даже не чужеродством, а очень обыкновенной профессией, которая не только не оскорбляет нашего нравственного чувства, но с которой, напротив того, мы находим нелишним, при всяком удобном случае, считаться.

С одной стороны, способность примелькаться, с другой, способность ко всему привыкать, со всем сживаться – и вот, в итоге оказываются чудеса! Нельзя себе представить, каких неожиданных результатов достигало иногда чужеродство при помощи одной мелькательной способности. Взору представлялась какая-то беспутная масса, в которой незаметно было ни действительного порядка, ни обдуманной дисциплины, но которая была сильна единственно своими инстинктами. Проникнуть в эту массу, заставить ее на месте преступления, уличить в чем бы то ни было – не представлялось решительно никакой возможности, потому что она с невероятной быстротой засасывала всякую штуку и тут же бесследно хоронила концы в воду. Виноватых не находилось, не потому, чтобы их не существовало в природе и чтобы в толпе чувствовалось оскудение в предателях, а потому просто, что в самом воздухе была разлита какая-то таинственная симпатия к чужеродству и ко всему, что из него проистекать могло. Припомним, какую бесплодностью всегда отличались самые грозные походы против многообразных злоупотреблений, удручавших русскую жизнь. При первом взгляде на паразитов казалось: вот бросовые, ничтожные люди, которых ничего не значит смять как угодно! а на поверку выходило, что эти люди далеко не бросовые, но сильные своим аппетитом, с которым тем более надлежало считаться, что он заменял им и убеждения, и чувство гражданственности, и даже инстинкты касты.

В это недавнее время не редкость было встретить целые губернии, в которых до такой степени буйствовала сила желудочных страстей, что нельзя было повернуться, чтобы не встретиться лицом к лицу с разверстым зевом и щелкающими челюстями. Это были какие-то укрепленные преисподние, в которых без вести пропадал всякий человек, не обладающий твердыми желудочными убеждениями, в которых буквально совершались злодеяния, не встречая не только отпора, но даже робкого протеста. Посылались туда всевозможные ревизоры и соглядатаи, иногда даже с заранее принятым намерением во что бы то ни стало истребить, уничтожить, не оставить камня на камне, но результатов никогда никаких не получалось. Все, не чуждое дару слова, от рождения было заражено чужеродством; все, имеющее силу и власть, поголовно и одинаково плутовало, лгало и подкупало. Все члены этой плотоядной массы задыхались под игом взаимной солидарности, в основании которой лежало не сознание, а простой животный инстинкт. Ревизоры приезжали и сразу упирались в стену, в которую как ни стучи, ни до какого ответа не достучишься...

Существовали особые профессии зверства, и в каждой из них допускалась бовльшая или меньшая степень мастерства, в каждой были свои виртуозы. Кто может поверить, чтобы были виртуозы по части устраивания внезапных смертей? виртуозы по части подкидывания мертвых тел? виртуозы по части выдумывания небывалых преступлений? а между тем они существовали достоверно; они пользовались в обществе почетом и преимущественно перед другими избирались членами и старшинами клубов. Кто поверит, например, чтобы в губернии мог занимать видное место и виртуозничать человек, значащийся по всем документам умершим? а между тем этот факт у всех на

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru памяти, да и не одиночный какой-нибудь факт, но повторяющийся в преданиях очень многих местностей с самыми незначительными вариантами. Кто поверит, чтобы могли существовать такие общественные кружки, в которых похвальбы воровством и казнокрадством служили бы единственным содержанием бесконечных и никогда не надоедающих бесед, а между тем мы все, люди того времени, были свидетелями, с какою бесцеремонностью и с каким бессознательным бесстыдством велись эти растленные разговоры.

– Когда я был командиром... – начинал один.

– Когда я был исправником... – продолжал другой.

– Когда я был судьей... – перебивал третий.

И всякий наперерыв спешил перещеголять своего соседа какую-нибудь матёрою мерзостью, всякий усиливался неопровержимыми фактами доказать, что не кто другой, а именно он есть тот самый злодей и негодяй, которому мало места на каторге!

Казалось бы, что, в виду такого рода громких и ярких фактов, раскрытие их не должно было представлять особенных затруднений, но на практике выходило совершенно наоборот. Во-первых, исследование всегда встречалось в этом случае с тою солидарностью, о которой говорено выше и сквозь которую тем труднее было пробиться, чем большею она обладала бессознательностью. Во-вторых, существовало и еще одно обстоятельство, о котором нелишне будет сказать здесь несколько слов.

Дело в том, что, на случай излишней любознательности со стороны, у наших губернских виртуозов всегда хранились про запас известные фортели, которые хотя и не блистали замысловатостью, но тем не менее достигали цели почти без промаха. Мы и теперь еще можем встретить чуть ли не в каждой губернии не очень-то древних старожилов, которые не прочь порассказать нам множество самых характеристических анекдотов по этой части. Главными и самыми простыми фортелями против излишней любознательности были: наивность, неведение и забвение.

– А подайте-ка сюда деле об обманном сведении отставным майором Негодяевым роци, принадлежащей заштатному богословскому монастырю! – взывал ревизор к оторопевшему канцелярскому стаду, прибавляя мысленно, – ну, теперь-то вы уж не отвертитесь от меня, крысы прожорливые!

Но крысы таинственно переглядывались между собой и наивно недоумевали.

– Дело... о сведении... роци... – произносила с расстановкою какая-нибудь из крыс побойчее.

– Ну, дав; дело об обманном сведении майором Негодяевым роци, принадлежащей заштатному богословскому монастырю! – внятно повторял ревизор.

– Дело... – опять шепчет крыса, как будто припоминая. Вся физиономия, весь организм этой крысы дышит таким наивным удивлением, как будто она сейчас только на свет божий произошла, ничего не знает и даже никаких прирожденных идей о «таком обманном отставного майора Негодяева поступке» не имеет.

– Это точно-с... такое дело было-с! – выручает другая канцелярская крыса, – только оно бывшим копиистом Подгоняйчнковым неизвестно куда утрачено-с!

Ревизор багровел, но сдерживался.

– А сделано ли распоряжение о возобновлении дела? – спрашивал он.

– Как же-с! – бойко отвечала крыса, – над самым этим Подгоняйчиковым и следствие в то же время наряжено-с... об утрате, то есть...

– Ну?

– Только самый этот Подгоняйчиков вскоре после того волею божией повмре...

Ревизор багровел пуще прежнего; слышалось легкое скрипение зубами»

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Ну, а подайте мне дело о расхищении тем же майором Негодяевым принадлежащих приказу общественного призрения сумм! – вопиял он.

Опять шепот, опять недоумение. Вполголоса раздаются восклицания: «Да когда же?» – «Што врать-то? невшто не помнишь?» – «Да вот еще Михал Михалыч спрашивал!» – «Михал Михалыч справку брали!» и проч., и проч.

– Скоро ли? – топал в нетерпении ревизор.

– Такое дело точно было-с, только оно в бывый пожар вместе с прочими сгорело! – отвечала одна из крыс.

И таким образом подвигалась вперед вся ревизия. Одно дело сгорело, другое пропало, третьего, как ни бились, не нашли, четвертое продано в кабак в качестве оберточной бумаги. И если б еще не было сделано никаких по сему предмету распоряжений! о, если б не было! но нет, все распоряжения сделаны: о пропаже в ту же минуту назначено следствие, а о возобновлении дела со всеми концами России производится переписка.

– Странно! – скрипит ревизор зубами, – какие же у вас дела есть?

– А вот-с: дело о бунте Тришки-мордвина против предержавших властей; дело об оскорблении Васькой-чувашенином словом и действием капитан-исправника; дело о пограблении черемисином Алешкою с товарищи медной гривны... ведутся неупустительно-с!

Ревизор углублялся, рассматривал предерзостные действия Алешек и Васек и убеждался, что действия эти преследуются вполне неупустительно, что обложки у дел чистые и нерваные, и описи при делах исправные. А зловредный оный майор Негодяев, который обманным образом в одну ночь увез на подводах целую рощу, принадлежащую заштатному богословскому монастырю, и несколько лет сряду потихоньку воровал казенные деньги, так-таки и выскользнул из-под ревизорского скальпеля!

Но этого мало; устраивались целые пожары на случай ревизорской любознательности, и этот факт был одним из самых оригинальных, хотя и довольно обыденных проявлений нашего чужаждства. У всех на памяти и всем ведомо, как сожигались целые корпуса присутственных мест и приносились в жертву чужаждной мамоне необозримые вороха дел и бумаг, – и никто ни о чем не смел проронить слова! Когда же наезжал ревизор, то все было гладко и чисто, как на ладони. Мало и этого: устранялись даже люди, у которых язык говорлив не в меру. То «угорит» в тюрьме партийка арестантов, в которой не ко времени завелись так называемые «похвальбившки», то невзначай помнут бока так называемому «беспокойному», да так помнут, что он долго после того и другу и недругу заказывает: «С сильным не борись!» и вот – как ни вертится ревизор, но нигде ничего не усматривает, кроме неукоснительного ведения дел об Алешках-грабителях и Васьках-оскорбителях.

Таково-то было это канцелярско-обывательское чужаждство, с которым мы до сих пор ни под каким видом разминуться не можем.

– И, батюшка! – не в редкость слышать и нынче от обывателей-старожилов, – и языка-то, кажется, не достанет, если порассказать, что в прежние годы бывало! Этот самый Негодяев-майор соберет, бывало, с деревни всех девок и баб, оголит их как есть да и велит мужикам тех баб и девок секчи!

– Чтов ж мужики?

– Чтов мужики! известно, приказ исполняют! Один, было, этакой выискался, сечет это свою бабу да говорит: «Неладно ты, майор, эко дело затеял!» – «Что!» – взревел на него майор. – «Ничего, говорит, только неладно ты, майор, эко дело затеял!» А сам знай бабу сечет да сечет! Только как отняли у него эту бабу – глядь, ан она мертвая! засек, значит!

– Чтов ж дальше?

– А дальше, значит, этого самого мужика в Сибирь за грубость сослали!

Всему этому беспутному, бессознательному и ненужному злодейству, всем этим

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подвигам тьмы и бессмысленного варварства положило безвозвратный конец 19 февраля. Как бы ни были обширны наши притязания к жизни, мы не можем не удивляться великости этого подвига. Разом освободить из плена египетского целые массы людей, разом заставить умолкнуть те скорбные стоны, которые раздавались из края в край по всему лицу России – такое дело способно вдохнуть энтузиазм беспредельный! Но за работой освобождения следует работа организации, и тут-то приходится нам бороться с препятствиями еще более действительными, нежели даже те, с которыми мы боролись во время трудной работы освобождения.

В настоящем случае, то есть относительно реформ последнего десятилетия, чужеродным элементом, тормозящим правильное их развитие, является пресловутое наше крепостничество, одевшееся, в последнее время, в мантию консерватизма.

Совершенно основательно думают те, которые утверждают, что истина в конце концов всегда торжествует и что, в согласность этой аксиоме, несомненно должно восторжествовать и все то, что исходит прямым и естественным путем из дела освобождения. Но не надо забывать, что и противная делу сторона, то есть чужеродство-крепостничество, также не остается в бездействии. Оно не только не умерло, как это многие утверждают, но мало-помалу сбрасывает с себя иго распущенности и начинает уже толковать об организации и дисциплине. Имея это в виду, мы не только не должны, но даже не имеем права впадать в беспечность.

К сожалению, мы видим на практике очень много такого, что прямо свидетельствует о нашей опрометчивости и близорукости в этом смысле. Несмотря на то что чужеродство доказало свой вред путем историческим, несмотря на то что мы сами отлично сознаем этот вред и на каждом шагу, так сказать, осязаем его руками, это явление, как объяснено выше, до того уже примелькалось, что мы считаем невозможным обойти его, не вступив с ним в известного рода сделки, и притом в сделки весьма решительные и нередко компрометирующие самый смысл предпринятого дела.

Задумывая какое-нибудь предприятие, мы на первых же порах только о том и печалимся, как бы пристроить к нему чужеродство. Напрасно и совесть и память шепчут нам, что, идя об руку с чужеродством, мы дошли, наконец, до глухой стены; что благодаря чужеродству гений народный, не развернувшись, уже увядает, как будто, испив до дна чашу рабства, он в то же время оставил в ней и все свои силы. Мы, конечно, не прочь согласиться с этими доводами, но вместе с тем как будто так мало еще отрезвились, что не в состоянии даже представить себе, как может над нами такая беда стрястись, чтоб жить нам по простоте и без вредных примесей. И вот мы ломаем многострадальные головы, каким бы образом так ухитриться, чтобы и чужеродство было не без дела, да и намерениям нашим оно вредило как можно менее...

Результат таких сделок и колебаний очень простой: задача, разрешения которой мы, на первых порах, так ревностно добивались, постепенно утрачивает свою определительность и, делаясь добычей всевозможных посягательств, проникается другим, иногда даже совершенно неожиданным для нас, смыслом.

Чтобы сделать нашу последнюю мысль более ясною, да позволено будет прибегнуть к сравнению. Оставим на минуту провинцию, перенесемся воображением в большие, густо населенные центры, и мы без труда убедимся, что там дело преобразования русской жизни имеет совершенно иной ход, нежели в наших губернских палестинах. Мнение о невозможности одинакового во всех случаях применения того или другого принципа, мнение о том, что понятие о правде есть понятие относительное, что она одна для Ивана и другая для Петра, – все эти диковинные мнения, столь незыблемо стоящие в провинции, не только не имеют в больших центрах обязательного авторитета, но нередко вызывают даже противоречие. Скажем более: в этих центрах дело овладевает исполнителями даже помимо их воли; если же, за всем тем, и можно указать на примеры уклонения от истинного смысла задачи, то факты такого рода, во всяком случае, не остаются без указания и более или менее правдивого обсуждения. Нередко случается даже так, что исполнитель несомненно чувствует над собой известное тяготение, которое так и нашептывает: да откинь же ты, милый человек, коленце, чтобы ведали добрые люди, каковы таковы в русской земле реформы называются, – но коленце как-то не выкидывается, а ежели и выкидывается, то вяло и восторгов ниоткуда не вызывает. Теперь вернемся назад, в нашу родную провинцию, и первое, что поразит наш умственный взор – это наивная невыработанность понятий о правде и праве. В этом отношении у нас существует такое вавилонское столпотворение, что право и правда подразделяются чуть не на

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru столько отдельных и совершенно друг на друга непохожих видов, сколько существует отдельных субъектов, до которых эти понятия касаться могут. Это словно проклятый какой-то маскарад, в котором право для одних является началом утучняющим, для других – изнуряющим и уничтожающим. И это нимало не бросается в глаза и не оскорбляет ничьего нравственного чувства, потому что провинция до того закалилась в произволе, что тот день считается чуть-чуть не потерянным, который не был свидетелем одного из бесчисленных и диких проявлений его.

Отчего происходит такая разительная разница в степени и способах применения одного и того же начала – понять очень нетрудно. Явление это совершенно удовлетворительно объясняется тем, что в больших центрах чужаеству сравнительно все-таки отведено гораздо менее места, нежели в тех бесчисленных музьях, в которых оно не только не представляет капли в море, но, скорее, наоборот. Вследствие великого разнообразия жизненных условий, сосредоточения на ограниченном пространстве всевозможных форм человеческой деятельности и легкости обмена мыслей, самый уровень жизни делается выше и в то же время не допускает тех разительных пропусков, какие замечаются нами в провинции. Рядом с правами традиционными возникают права новые, предъявляющие иск о своем признании не перед судом привычки и закостенелого предрассудка, а перед судом разума и общественной совести. Понятно, что в кругу этих новых соперничающих сил чужаеству не совсем-то ловко расправляют свои крылья во всю ширь, хотя бы искусственная обстановка и благоприятствовала такому расправлению. Напротив того, провинциальная жизнь сплошь составлена из одних неровностей и пропусков и вследствие того представляет такое множество пустых мест, в которых истари ничего другого, кроме расправления крыльев, не производилось, что, по самому простому расчету, тут надлежит заботиться не столько об умножении пустых мест, сколько о сокращении их.

Но такова наша несмелость перед примелькавшимися явлениями жизни, что, вместо того чтобы распутывать узел, мы направляем все наши усилия к тому, как бы крепче затянуть его. Заявляя о своем стремлении к правде общечеловеческой, защищенной от наплыва чужадных примесей, мы в то же время ставим ее в такие условия, среди которых она не может свободно дышать. Признавши прежние рамки жизни слишком тесными для беспрерывно увеличивающегося содержания ее, мы тем не менее до того неохотно расстаемся с ними, что люди неопытные и в рамках несведущие легко ошибаются и утверждают, что никаких новых рамок нет и не было, а остались прежние, те самые, в которых так удобно было расправлять крылья.

И вот благодаря чужаеству общее дело русской жизни, дело ее преуспеянья и развития, становится делом домашним. Если читатель припомнит действия мировых посредников при самом начале крестьянской реформы и сравнит их с действиями последующими, то он без труда поймет, какая громадная легла тут разница. Эта разница – факт несомненный, засвидетельствованный общим сознанием: но будем ли мы правы, если причину этого факта станем искать безусловно в какой-то мнимой неустойчивости русского человека, в его неумении спокойно начать дело и столь же спокойно довести его до конца? Очевидно, что предположение такого рода не только голословно, но даже и неправдоподобно. Во-первых, круг деятельности мировых посредников вовсе не был так обширен и сложен, чтобы от них требовалось какого-то сверхъестественного напряжения умственных сил; во-вторых, дело само по себе так просто, намерения законодателя так ясны, что совсем не нужно быть героем, чтобы выполнить их во всей точности. Везде и всегда исполнителями являются люди, нимало не претендующие на гениальность, но никто этим не смущается, да и дело от того нимало не терпит. Отчего же только у нас, и у нас одних, происходят сии неожиданные превращения? Не оттого ли, что мы великие мастера отыскивать во всяком деле такую мякоть, которая позволяет нам приурочивать это дело для нашего личного, домашнего употребления?

Но ежели мы мастера отыскивать эту мякоть, то естественно возникает вопрос: действительно ли это мастерство столь драгоценно, что необходимо его поощрять и воспитывать?

Та метаморфоза, которая произошла у всех на глазах с учреждением мировых посредников, может легко постигнуть и другие зачатки развития русской жизни. В последнее время провинциал охотно и чаще других слов повторяет прилагательное вотчинный, и повторяет его с такою уверенностью, которая невольным образом заставит задуматься. Очень может быть, что это уверенность ни на чем не основанная и преувеличенная и что в будущем она окончится пшиком, но несомненно, что в настоящем она наносит делу преуспеянья вред явный и положительный.

Трудно себе представить зрелище более поразительное, нежели зрелище добра, изнемогающего в муках рождения. Правда, как только показала в провинцию лицо свое, так уже, так сказать, распалась на ся. Есть правда княжеская и графская, есть правда дворянская, правда чиновническая, правда мещанская, правда мужицкая. Титулярный советник имеет право на бовльшую долю в правде против коллежского регистратора, дворянин – на бовльшую против мещанина и мужика. Злосчастный ремесленник, обозвавший дворянина гнусным именем мещанина, оказывается более виновным, нежели дворянин, угрожавший этому ремесленнику палкой... Вот новый фазис, в который вступает деятельность пресловутого чужейдства.

Всюду, куда вы ни обернетесь в провинции, всюду встретитесь с этим вьедчивым элементом, который, по-видимому, поставил себе задачу заполнить вселенную. Сильный против бессилия, бессильный против силы, он обделывает свои дела, вопреки истине, вопреки свидетельству здравого смысла. Тщетно собственная выгода подсказывает ему о необходимости уступок и соглашений – он сосет, сосет и сосет, не сознавая, что в то же время высасывает дотла и свои собственные соки...

Удивительно ли, что, чувствуя под собой такое твердое основание, наши исконные губернские историографы не только не ускромняются, но дерзают пуще прежнего? Представьте себе эти две силы: историографство и чужейдство, простирающие друг другу объятия и заключающие твердый и ненарушимый (до первой кости) союз, и спросите себя: чтов может выйти из этого союза?

В будущем, – конечно, ничего; но кто вознаградит за те ущербы, которые наносятся в настоящем?

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Историки уверяют, что Западная Римская империя пала от изнеженности нравов, а Византийская – от коварства царедворцев, которые ничего будто бы не делали, а только коварствовали. Как бы то ни было, но падению этому, во всяком случае, предшествовал известный внешний факт. Явились с востока гунны, лонгобарды, османлисы и другие человекообразные и сразу доказали то, чего не мог доказать целый ряд Мессалин, Агриппин и не менее замечательный ряд иконописных Никифоров и Евдокий. Не будь этого внешнего факта, очень может статься, что римляне и до сих пор продолжали бы предаваться изнеженности нравов, а византийцы – коварствовать, то есть сплетничать, целовать в плечико и подставлять друг другу ножки.

Мы, провинциалы, историков не имеем, но у нас есть историографы (чином повыше), которые занимаются не столько историей нашего прошлого, сколько предусмотрительными набегами в наше будущее.

Если верить этим глубокомысленным людям, Россия должна погибнуть в самом ближайшем времени, и погибнуть втихомолку, без всякого внешнего натиска, единственно силою собственных пороков. Так что если, например, вы сегодня видите Россию, а завтра на этом самом месте увидите пустое место, то не имеете права даже удивляться этой пропаже, ибо она есть естественное следствие нашей заранее доказанной и предсказанной историографами развращенности.

Само собою разумеется, что, по внутреннему убеждению историографов, главный наш порок – это уничтожение крепостной зависимости; но так как это порок секретный, о котором распространяться не всегда удобно, то найден другой порок, не столь капитальный, но служащий для наших историографских философствований немаловажным подспорьем. Порок этот – пресловутое всероссийское пьянство.

Было время, когда надежды историографов на падение Российской империи покоились преимущественно на грубости нравов. Предполагалось, что, тотчас по освобождении крестьян, русская земля немедленно запустеет, что Ваньки будут сидеть, задравши на стол ноги, и беседовать об изящных искусствах, что Тришки перестанут чистить сапоги и унавоживать поля, что торговля упразднится, потому что не будет разносчиков, и т. д. «Кто будет сеять, жать, варить и печь, кто будет шапки перед нами ломать?» – спрашивали друг друга испуганные историографы, и к чести их должно прибавить, что никому не пришло на мысль сказать: «Мы будем сеять! мы будем жать!» Однако надежды насчет грубости нравов не выгорели, отчасти, быть может, потому, что тогда еще бодрствовал откуп (все-таки хоть какое-нибудь утешение!), отчасти же потому, что все эти Ваньки и Тришки совсем не так воспитаны, чтобы сидеть задравши на стол ноги и беседовать об изящных

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru искусствах.

Потребовалось другое основание для историографских погибельных предсказаний, а так как жизнь никогда не скупится подачками подобного рода и так как тут же кстати последовало и упразднение откупов, то, на смену грубости нравов, естественным образом явилось пьянство.

И подлинно, вышло нечто весьма подходящее.

В самом деле, представьте себе страну, которой жители поголовно пьяны, в которой господа с утра до ночи пьют мадеру, а рабочий и прочий «подлый» народ сивуху, – какое будущее может ожидать такую страну?

Представьте себе: в этой стране есть правосудие, но оно отправляется в пьяном виде; есть армии, но они защищают отечество в пьяном виде; есть администрация, но она повелевает в пьяном виде; есть, наконец, администрируемые, но они повинуются в пьяном виде... Вы, конечно, скажете, что все это не больше, как плоская и невероятная шутка, что это нелепо волшебное представление, в котором неожиданности и сверхъестественности превращений дозволено заменить здравый смысл, – дав, это так, это действительно наглая и смеха достойная шутка; но таков именно фон той картины, которую всласть рисуют перед нами историографы.

Если верить рассказам историографов, в губерниях наших происходят чудеса. Опииваются целые деревни; целые села замерзают в бессознательном положении. Удивительно, как только бог грехам терпит! Стыд забыт, понятие о выкупных платежах упразднилось; мужик бросил семью, перетаскал из дома все до последней бечевки и орет в кабаке дурацкие песни. Пресловутая мужицкая полоса лежит в поле непаханую, и ежели на ней за всем тем растет рожь, то не та тучная рожь, которая одним своим видом свидетельствовала о непреоборимой твердости россиян в бедствиях, а какая-то тощая, беспутная. Место семейных добродетелей заменило кровосмешение, место сыновней почтительности – увечье и убийство. Снохачи открыто пристают к сыновним женам и даже не свидетельствуются при этом историческими примерами; жены, без всякого стыда, понимаются с прохожими молодцами и не приводят в свое оправдание *que c'est ainsi que cela se pratique dans le monde*. [13] Даже невинное детство – и то не избегло общей участи распада; и оно слоняется по улицам, задерживая хвосты и оскорбляя стыдливые взоры проезжающих историографов. Вдали виднеется грозная фигура целовальника, сплошь увешанная синими и зелеными патентами.

– *Où allons-nous? Dieu! où allons-nous?* [14] – восклицает встревоженный такую картиной историограф.

– А вот выпьем мадеры, так оно виднее будет, – цинически отвечает другой историограф.

– Позвольте! Мы исстари были сильны нашими семейными добродетелями – так или нет?

– Это так. Наши бабушки... кроме как куаферов... ни-ни!

– Позвольте! *Il ne s'agit pas de cela*, [15] речь совсем не о *péchés mignons* [16] наших бабушек! Я вас спрашиваю, были ли мы сильны нашими семейными добродетелями или нет?

– Чтов толковать! Уж насчет чего другого...

– *Eh bien! je vous le donne en mille*... [17] благодаря этой отвратительной сивухе, теперь вы не насчитаете ни одной невинности на квадратную милю! Вы понимаете, куда это нас ведет?

Историографы выпивают по рюмке и впадают в уныние.

– Теперь другой вопрос: не были ли мы сильны своим трудолюбием, не поражали ли наши поля своим плодородием? *Eh bien! je vous le certifie*: [18] благодаря этой сивухе, мои поля шесть лет сряду лежат пустые, и хоть бы они ухом повели!

Выпивают по другой рюмке и снова впадают в уныние.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Третий вопрос: какое будущее ожидает нашу армию? Могут ли у нас быть надежные солдаты? Спрашиваю я вас: не были ли мы сильны непобедимостью и натиском своих армий? Souvaroff! mais c'est un nom, qui à lui seul vaut bien une épopée![19] и вот взгляните, благодаря сивухе, он уже с пятилетнего возраста начинает постепенно терять свою силу; ноги у него дрожат, грудь делается впалой, глаза меркнут, открытость лица исчезает... Какой может выйти из него фрунтовик? какая может быть в нем непобедимость?

Новая рюмка; новое уныние.

– Еще вопрос: не были ли мы сильны своею субординацией, своею беспрекословною готовностью исполнять приказания старших? Теперь послушайте, что пишут со всех сторон исправники. «Строптивость и грубость нравов, – пишут они, – поддерживаемая и развиваемая употреблением горячих напитков, есть то самое зло, которое в наискорейшем времени российское государство в бездну погибели увлечь может...» Joli?[20]

Еще рюмка; еще уныние.

– Pardon, mais il y a encore une question.[21] Мы исстари были сильны своею торговлею. Наши предки еще с Византией вели торговлю медом, воском, звериными шкурами и щетиною... avec Byzance – vous concevez?[22] Спрашиваю я вас: куда девалось все это баснословное богатство? Где этот мед, этот воск, эта щетина... «Стальной щетиною сверкая...» куда все это ушло? Пойдите на нашу базарную площадь – что вы увидите? – лапти и веревки, веревки и лапти! Et notez bien,[23] что наши предки исстари всегда ходили в сапогах – и вдруг... лапти! Куда же девались эти звериные шкуры, о которых повествуют историки? Куда, как не в кабаки, где они ждут своей очереди, вместе с пудовками хлеба, дугами, шлеями, новинами и прочим скарбом мужицкого хозяйства!

Рюмка.

– Où allons-nous![24] кто будет платить подати? qui suffira aux besoins du budget?[25] Исправники пишут: «В случае распространения пьянства, в уплате податей большое чувствуется затруднение и даже самый недобор...» Недобор! чувствуете ли, понимаете ли, чем это пахнет!

И так далее, и так далее. Сколько вопросов, столько рюмок, сколько рюмок, столько вопросов. Количество тех и других вполне солидарно и идет рука об руку до тех пор, пока беседующие окончательно не перестают понимать друг друга. Тогда начинается та общая, безобразная lamentation, смысл которой заключается в том, что мы против всего устояли, все победили, но не можем устоять против одного... против сивухи!

Столичный читатель, конечно, волен верить или не верить существованию подобных разговоров, но что они записаны со слов самих их авторов, в том удостоверит всякий сколько-нибудь добросовестный провинциал. Всякому приходилось быть свидетелем и даже участником подобных бесед, и увы! нередко даже случалось находить в них тень человеческого смысла, а не исключительное свидетельство размягчения мозга!

Дав; такова эта мадерорастлевающая среда, что человеку, хотя и не зараженному ею вполне, но не искусенному провинциальной опытностью, нелегко бывает совершенно отрешиться от ее воззрений на жизнь. Все эти бонвиваны, напоминающие французский водевиль, переложенный на русские нравы, все эти изнеженные воспитанники Поль де Кока прежде всего бросаются в глаза своим добродушием, за которым довольно трудно бывает распознавать ту жестокою глупость, которая, по пословице, считается хуже воровства. Конечно, бессмыслица lamentation настолько очевидна, что поводов для действительных сомнений относительно их внутренней стоимости не может даже существовать, но все-таки почему-то кажется, что сквозь массу преувеличений и нелепостей просвечивает и малейшая частица истины.

Куда, в самом деле, делась наша торговля медом, воском, звериными шкурами и щетиной?

Отчего наш мужик ходит в лаптях?

Отчего в деревнях царствует такое сплошное, поголовное невежество?

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Отчего мужик почти никогда не ест мяса и даже скромного масла?

Отчего почти ни один не знает, что такое постель?

Отчего во всех движениях мужика замечается что-то фаталистическое, не отмеченное сознанием? Отчего, если он идет вперед, то его как будто гонит какая-то неведомая сила, которую даже анализировать невозможно? Отчего он родится как муха и как муха же мрет?

На все эти вопросы историографы заладили одно: все от нее, все от проклятой сивухи (читай: все вследствие упразднения крепостного права). Некоторые из них в своей наивной ограниченности доходят до того, что в регламентации распивочной продажи водки видят единственный способ выйти из периода лаптей и вступить в период сапогов. О! если б это было так! если б было можно, с помощью одного ограничения числа кабаков, вселить в людей доверие к их судьбе, возвысить их нравственный уровень, сообщить им ту силу и бодрость, которые помогают бороться и преодолевать железные невзгоды жизни! если б можно было доказать людям, что с изменением системы патентного сбора их ждет в перспективе тот отраднейший, светящийся пункт, к которому они искони бесплодно стремятся! Как легка была бы наука человеческого существования! и каких ничтожных усилий стоило бы разом покончить со всем безобразием прошлого, со всеми неудачами настоящего, со всеми сомнительными видами будущего!

Оставим на время в стороне наших нелепых историографов с их нелепыми воздыханиями и обратимся к тому, что составляет действительную суть дела.

Едва ли, разумеется, нужно доказывать, что не упразднение крепостного права обусловило существование тех вопросов, которые намечены выше. Только очень ограниченные и совсем глупые люди могут утверждать, что наш крестьянин или что мы, русские, вообще представляем в общей человеческой семье такую особенную разновидность, на которую свобода оказывает действие совершенно противоположное, нежели на прочих членов этой семьи. Нет нужды также утверждать, что предположение о пьянстве, как об органическом пороке целого народа, есть предположение глупое, могущее возникнуть только под влиянием паров мадеры. Подобного рода ребяческие клеветы свидетельствуют только о низкой степени умственного развития их слагателей.

Тем не менее невозможно ни на минуту усомниться, что русский мужик беден действительно, беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и – что всего хуже – беден сознанием этой бедности.

Для того чтоб понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо или пройти сквозь них, или, по крайней мере, видеть их лицом к лицу. Бывают очень запутанные нравственные положения, но до постижения их можно дойти и без указаний личного опыта, с помощью одних логических выводов, по той простой причине, что трудно назвать такую нравственную смуту, зерно которой, влиянием времени, не заносилось бы во внутреннее святилище каждого современного человека. Совсем другое дело – смута материальная. Цивилизованному меньшинству она представляется в виде такого исключительного и неразрешимого положения, которое во всем своем объеме может существовать только в сильно настроенном воображении художника.

Мудрено представить себе то убожество, в котором живут массы и которому они, по-видимому, вполне подчинились. Негодование, которое проникает человека при виде явлений легковерия, одичалости и насилия, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, и собственными легкими вдыхаешь струю той затхлой атмосферы, которою они дышат. Самое ничтожное обстоятельство, мимо которого мы, люди меньшинства, проходим не только не задумываясь, но просто без всякой мысли, влияет на жизнь бедного труженика до того решительно, что сразу парализирует в нем всякую энергию. Интересы, по-видимому, грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую сумму, под бременем которой совершенно неприметно погибает член «несуществующего» у нас пролетариата. Дав, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни, даже подстоличные, и вы увидите сплошные массы людей, для которых, например, вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших дум и для которых даже не существует вовсе вопроса о материальных удобствах; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru годовой бюджет заключается в пятнадцати – двадцати рублях, с трудом выработываемых мотанием бумаги. А пролетариата нет. Правда, что массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но тут, однако, возникает вопрос, что же чему предшествует: бесчувственность ли обязательному отсутствию на столе соли или наоборот? Нам, людям, живущим особняком от масс, даже трудно себе представить, до какой наглости может доходить это вечное притязание желудка, из-под гнета которого ни на минуту не освобождается жизнь мужика; но тем не менее оно не выдумка, а один из тех бесспорных и всем видимых фактов, для подтверждения которых не требуется даже ссылаться на статистические исследования.

Положение человека, фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть, не утонуть в болоте и вообще «не пропасть как собаке», есть одно из тех противоестественных положений, которые настоятельно приковывают к себе внимание мыслящего человека. Это те самые первоначальные нужды, при неудовлетворении которых немисливо развитие никаких иных нужд. А в развитии этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен, по малой мере, от необходимости исключительно останавливать свое внимание на средствах примириться с желудком, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Сегодня он думает только о хлебе материальном, завтра он уже будет думать о хлебе духовном; но, покуда он не имеет положительных средств обеспечить свободу желудка, он, конечно, не предпримет никаких мер, чтобы обеспечить свободу мысли. Следовательно, несправедливо и едва ли даже возможно ожидать, чтобы бедность духовная была побеждена прежде, нежели будет побеждена бедность материальная.

Конечно, такое предприятие включает в себе трудности почти непреодолимые. Человек массы мало того что страдает: он, сверх того, имеет самое слабое сознание этого страдания; он смотрит на него как на прирожденный грех, с которым не остается ничего другого делать, как только нести его, насколько хватит сил. Скажите ему, что обязанность не наедаться досыта, обязанность зябнуть, утопать в болотах и не в меру напрягать мышцы – вовсе не есть необходимый удел, что тут нет даже никакого предопределения, – и вы увидите, что первое чувство, которое изобразится на его лице при таком разъяснении, будет чувство недоумения. Не ясно ли, что, покуда такое недоумение существует, никакие намерения относительно изменения характера его судьбы не могут быть действительны?

– Куда я теперь денусь! куда я денусь! – голосила на днях, при наших глазах, некоторая баба, бегом устремляясь по дороге и размахивая руками.

Оказалось, что мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала на мельницу посмотреть, как его раздавило. За нею следом бежала туда же чуть ли не вся деревня. Покойный был хозяин зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми, и то относительное «благополучие», в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова платить подати не могла, и, следовательно, земля от семьи немедленно отбиралась (да она не имела и средств обрабатывать ее); мир, с своей стороны, несмотря на «раденье» покойника, смотрел на вдовью слезу тупо.

– Да; добышник был, царство небесное! – молвил дядя Миняй.

– К крестьянскому делу радельщик был! – подтвердил дядя Митяй.

И пошли себе дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготовляясь назавтра же начать изучение той бедственной жизни, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя и детей, и в конце которой (вот подлинно сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери – название деревенской сахарницы, для нее самой – бесконечное голодное мыкание по белу свету.

Может ли эта баба о чем-нибудь думать? Может ли она что-нибудь ощущать, кроме безотчетного, панического ужаса? Нет, она не может ни думать, ни ощущать. Она не имеет времени обсудить свое положение, размыслить о средствах выйти из него; она должна без оговорок принять его, как неизбежное, и прямо вступить в ту колею, которую уже до нее проторили подобные ей бобылки. Она не может даже вдоволь наплакаться над телом своего добышника, да и те немногие слезы, которые она прольет по этому случаю, будут слезы не бескорыстные, но отравленные мыслью: «На

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
кого-то ты меня покинул? как-то я завтра хлеба добуду себе с детьми малыми?»

Спросите теперь эту самую бабу, чтó она предполагает с собой делать.

– А чтó делать? – ответит она, – стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду!.. – И в глазах ее не блеснет ни злобы, ни негодования, с языка ее не сорвется ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее беспомощною, а ежели по временам и поглаживают старшего ее сынишку по голове, то непременно с тайной мыслью: «Славный будет солдат!»

Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем особенных оснований относиться к толпе с уважением – это правда; но отчего же тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не торопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на явную ее жестокость, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто заманчивое и симпатичное? А вот почему.

Все эти Митяи – народ вовсе не злой и даже внутренне не испорченный; они равнодушно поглядывают на чужое несчастье совсем не по окаменелости сердечной, а просто потому, что и опыт и история доказали им слишком достаточно, что все они равны перед несчастьем, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет, но даже не останавливает надолго их внимания. Есть ли повод плакаться над чужою бедой, когда завтра та же беда может стрястись над ними самими? Да есть ли еще и время плакать? Да и не стряслась ли уж эта беда? Не вековечная ли она спутница, которой и ждть даже совсем излишне?

Имеем ли и мы, с своей стороны, повод удивляться тому, что толпа до сих пор сумела выработать из себя только слепое орудие, при помощи которого могут свободно проявлять себя в мире всевозможные темные силы? Конечно, мы имели бы этот повод, но в таком лишь случае, если б могли указать на существование каких-либо образовательных элементов, участие которых было бы способно подвинуть толпу на пути самосознания. Но этих элементов история нам не приготовила, а если они когда-нибудь и существовали (как силятся доказать некоторые), то, очевидно, корни их были слишком слабы, чтобы при помощи их можно было устоять даже против простой случайности.

Чем больше представляет известное положение однообразия, чем меньше видится в нем посредствующих исторических построений, которые бы свидетельствовали о постепенном изменении и расширении форм жизни, тем больше рискуем мы встретить в нем всякого рода трудностей. Если нам даны два крайние полюса, между которыми брошена безграничная гладкая степь, то очевидно, что утомительность пути по этой степи будет совершенно пропорциональна ее нагоде. Как ни мало удовлетворяют чувству справедливости некоторые явления и результаты исторической борьбы, но они важны тем, что облегчают работу последующих поколений и выработывают известные средние идеалы, доступ к которым несравненно менее труден, нежели изнурительный бег по необозримому пространству пустыни. Тут всякий шаг вперед приобретает силу аксиомы, в проверке которой, для грядущих поколений, не предстоит уже никакой нужды. В голой степи нет места для подобных аксиом: тут все подлежит проверке, утомительной работе сызнова. Конечно, мы вовсе не хотим этим сказать, что масса, находящаяся в подобном положении, обязана создавать свою историю с начала; но мы будем совершенно правы, утверждая, что для этих масс путь к достижению самосознания представляет бесчисленное множество таких затруднений, которые, при других исторических условиях, были бы даже немислимы.

Дав; русский мужик беден; но это еще не столько важно, как то, что он не сознает своей бедности. Приди он к этому сознанию, его дело было бы уже наполовину выиграно, и главные причины нашего экономического неустройства, то есть случайность, неожиданность, произвол и т. д., устранились бы сами собою. Но что могло привести его к этому сознанию? Где те средние, доступные его пониманию, идеалы, оперевшись на которые он мог бы помочь себе в трудном странствовании по житейскому морю? Ничто и нигде. Повторяем: он не более как крайний полюс той безграничной голой степи, на которой история не бросила ни одного этапа, ни одного освещающего путь маяка..

Итак, главная и самая существенная причина бедности нашей народной массы заключается, по нашему мнению, в недостатке сознания этой бедности; причина же этого последнего явления, очевидно, скрывается в истории. Те, которые негодуют на нашего крестьянина за то, что он ходит не в сапогах, а в лаптях, за то, что

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru он круглый год довольствуется пустыми щами да черным хлебом, никогда даже не размышляли о том, что развитие материального довольства неминуемо влечет за собою и сознание иных потребностей. Наверное, ежели бы они обсудили этот предмет пристальнее, ежели бы они представили себе картину материального довольства во всей ее полноте, негодование их значительно бы смягчилось. Они поняли бы, что особенной выгоды тут для них нет. Но в том-то и дело, что понятия этих господ до того перепутались, что они даже утратили способность понимать и не могут действовать иначе, как под влиянием тех непосредственных впечатлений, которые испытываются ими в данную минуту. И таким образом близорукость и несообразительность являются невольным коррективом ехидному историографскому злопыхательству.

С этой точки зрения, сетования наших губернских историографов на грубость и бессознательность русского мужика не лишены даже некоторой забавности. «Куда девалась наша торговля?» – спрашиваете вы, милостивые государи; но какое вам дело до нашей низменной мужицкой торговли? кто, кроме древней Византии, мог пострадать от того, что она исчезла? Вы сетуете на то, что мужик не ходит в сапогах? но сообразили ли вы, что субъект, обутий в лаптях, поворачивается всегда проворнее, нежели таковой же, обутий в сапогах? Вы говорите, что мужик невежествен? но подумали ли вы когда-нибудь, что невежественность и невежливость – понятия совсем не однозначные, что нередко они даже взаимно друг друга исключают? Опомнитесь, милостивые государи! Дойдите, по крайней мере, хоть сами-то до сознания того, об чем вы сокрушаетесь и на чтов жалуетесь!

Картина, на которой мы изображаем мужика, конечно, вышла бы во сто крат занимательнее (да и во всех отношениях поучительнее), ежели бы, вместо того чтобы бесплодно обзывать мужика – мужиком, мы дали себе труд добросовестно изобразить наши собственные историографские наезды против этого самого мужика. По крайней мере, мы убедились бы тогда, что следует делать именно совершенно противное тому, чтов мы делаем, чтобы дать русскому крестьянину возможность без напряжения перейти из периода лаптей в период сапогов...

Итак, оказывается, что, несмотря на вековечное существование, масса успела воспитать в себе только рабское тяготение к силе да еще бессознательно равнодушное отношение не только к общим интересам, но даже и к тем, которые ближайшим образом затрагивают ее собственную жизнь. Кто более всего должен страдать от такого положения? чьим интересам оно должно наносить ущерб наиболее чувствительный? очевидно, что, при отсутствии сознания в самих массах, наибольшая доля ущерба должна пасть на того, кто наименее свободен от понимания тех последствий, которые влечет за собою предоставляемый силе безусловный разгул. Как бы отрешенно мы ни жили от жизни масс, уровень этой последней слишком решительно воздействует на уровень нашей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждом шагу. Мы не можем считать себя водворенными в мире законности, пока представление о законности не имеет в понятиях масс никакого определенного смысла. Мы не имеем основания считать себя обеспеченными от неожиданностей, покуда эти неожиданности будут иметь в массах свои добровольные и всегда готовые к услугам орудия. Чтов можем мы сделать с нашим бедным одиночным сознанием, когда вокруг нас кишит ликующая бессознательность? На чтов нам оно нужно, кроме того, чтобы во всей полноте дать почувствовать всю горечь нашего одиночества?

Выше мы сказали, что все эти дяди Митяи, которыми кишат наши палестины, вовсе не злой и не настолько испорченный народ, как это кажется с первого взгляда. Это первый повод, сообщающий нашим отношениям к толпе характер симпатичности. В самом деле, нельзя же выступать с обвинением против того, что не имеет никаких признаков вменяемости, а в этом смысле бессознательность, конечно, принадлежит к таким явлениям, относительно которых гораздо приличнее сожаление, нежели укор. Но есть еще и другой повод для симпатичности отношений к толпе – он заключается в тех внутренних нитях, которые от самого рождения связывают нас с массами и которые проходят потом неизменно чрез все наше существование.

Нет никакого сомнения, что известные движения толпы могут поселять в нас чувство горечи. Но, негодуя на толпу и сознавая вполне свое право на это негодование, мы все-таки не можем скрыть от себя, что не в другом чем-нибудь, а именно в ней, в этой бессознательной толпе, заключается единственное основание нашей собственной силы (или, лучше сказать, возможность его), что без нее (без толпы), без ее участия и внимания мы хуже чем слабы – до нас никому нет и не может быть никакого дела. В этой зависимости от толпы, конечно, мало привлекательного (в

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?); но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет никакой возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно той забитой, маломысленной и подчас жестокой толпе, что самый великий мыслитель, которого мысль, по-видимому, не может иметь ничего общего с мыслью толпы, именно ей отдает лучшую часть своей деятельности. Дав, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не хотят или не могут объяснить, а фатализм, объясняемый той общечеловеческой основой, которая именно и составляет соединительное звено между неразвитой толпой и наиболее развитой отдельной человеческой личностью.

История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенной любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты получали действительное значение, которые имели в виду толпу. Это вовсе не значит, чтоб эти люди идентифицировались толпе, чтоб они принимали ее инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе, как о конечной цели всякого полезного человеческого действия, сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если бы исключительно вращалась в сфере отвлеченностей. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет, ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно-покойными и мирно наслаждаться нашим развитием, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного благосостояния. Человек нуждается в обществе себе подобных совсем не по капризу, а потому, что природа его, по преимуществу, общительная. Следовательно, стоя на недостижимой высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он, конечно, загрубел бы в своем уединении, если бы, к счастью, толпа сама, на каждом шагу, не напоминала ему о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того одиночества, на которое он нерасчетливо себя обрек.

Таким образом, как бы подчас ни казалась горька наша зависимость от толпы, мы все-таки едва ли отважимся обвинить ее в том, в чем она совершенно неповинна. Вся наша умственная деятельность в этом случае должна быть обращена не к обвинениям, а исключительно к тому, чтобы отыскать для масс выход из той глубокой бессознательности, которая равно вредна для них, как и для нас. Какие существуют средства, чтобы отыскать и указать такой выход, — об этом мы покуда распространяться не будем и даже думаем, что средства те откроются сами собой всякому человеку, взирающему на народ не с высоты бессмысленного величия. Но не можем умолчать здесь о том основании всех средств, которое, по нашему мнению, само по себе уже может оказать весьма важное воспитательное действие. Мы говорим о сближении с народом, или, иными словами, о симпатическом отношении к тем разнородным и бесчисленным убожествам, которые оцепляют его жизнь.

Много было у нас писано и толковано о так называемом сближении с народом, и в конце концов мы пришли только к необходимости подвергнуть осмеянию все попытки, которые делались в этом смысле в тех или других пунктах наших обширных палестин. И в самом деле, поводов для смеха было достаточно. Везде, на первом плане, была какая-то меньшая братия, которую мы, с самой серьезной наивностью, старались возвысить до себя посредством сидения на одинаковых с нами креслах и сотрапезования на одинаковых с нами тарелках. Как мы ни стары, как ни велика наша опытность, однако мы ни до чего другого, кроме тарелок и стульев, не додумались. В равенстве тарелок мы уже видели какое-то начало, уравнивающее людей, а в равенстве объедения усматривали какую-то эмблему, существование которой давало нам повод надолго успокоиться от дальнейших попыток в этом роде.

Нигде, ни в одной из этих бесчисленных попыток, член народной массы не являлся не в качестве меньшей братии, а просто в качестве человека.

Всем нам памяты эти полуребяческие торжества, в которых преимущественно выражалось наше так называемое сближение с народом; все мы твердо знаем, сколько было тут высказано чувствительных и, пожалуй, даже искренних слов, сколько было приедено прекраснейшей провизии и выпито вина, вина, вина... И все мы никакого другого чувства из этих торжеств не вынесли, кроме самого тяжелого. Отчего?

А оттого, милостивые государи, что мы и тогда очень хорошо понимали и теперь понимаем, что тут в самом благоприятном случае не присутствовало ничего другого,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru исключая минутного нервного раздражения. Это была поэзия, это было мгновенно разыгравшееся вдохновение, влиянию которого так охотно поддается русский человек и которое так же быстро и так же беспричинно потухало, как и возбуждалось. Все эти вольные художники, раскаленные любовью к народу, утихали и успокоивались немедленно, как только убрали со стола тарелки. Зрители, присутствовавшие при речах, которые в пору произнести иному влюбленному, не успевали опомниться, как уже повсюду усматривали одни объедки. Оумуженные благородные ораторы удалялись предаваться новым вдохновениям; облагороженные мужики уходили восвояси, мечтая о том, какого нового пришибания следует ожидать от разыгравшихся ораторов. Это было общее поголовное упоение звуками своего собственного голоса, это было торжество того неприличного явления, в силу которого Хлестаков мог в одно и то же время и понимать, что он говорит небывальщину, и искренно верить этой небывальщине. Ясно, что попытки такого рода не могли даже претендовать на название серьезных.

Но, за всем тем, даже и они не остались бесследными, даже равенство тарелочное не вполне оказалось бесплодным, Везде, где прошла эта ребяческая струя, оказалось, что человеческая совесть уже заручилась каким-то воспоминанием, каким-то смутным вожделением. Как ни мало обязывает сидение за одним столом и еда вилками, сделанными из одинакового металла, но и они к чему-то обязывают, хоть к тому, например, что нельзя развязно бить по лицу и обзывать курицыным сыном того самого субъекта, который не дальше как вчера был нашим сотрапезником и собутыльником. С этой точки зрения всякая новая формальность, становящаяся между мужиком и членом цивилизованного меньшинства, есть уже формальность не бесполезная, а могущая служить отправным пунктом для многих других, тоже бесполезных, формальностей.

Тем несомненное должны быть следы, которые имеет оставить по себе то серьезное сближение, где народ является не в качестве меньшей братии, наряженной и приглаженной по-праздничному, а в качестве собрания людей, выросших в меру взрослого человека. Сближение такого рода не имеет в себе ничего фантастического; это не славянофильское любование какими-то таинственными и всегда запечатленными клеймом бессознательности задачами, которые суждено, будто бы в ущерб себе и вопреки здравому смыслу, выполнить русскому народу; это не ласкательство предрассудкам, жестокости и дикости, потому только, что они родились в народе; нет, это просто изучение народных нужд и представлений, сложившихся более или менее своеобразно, но все-таки принадлежащих несомненно взрослому человеку.

Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недостает, необходимо поставить себя на его точку зрения, а для этого не требуется ни нагибаться, ни кокетничать. Если кому-нибудь из читающих эти строки случалось быть в положении человека, пораженного большим несчастьем, понесшего тяжкую для сердца утрату, то он, без сомнения, помнит, как тягостны и даже противны казались те бесплодные утешения, те бессодержательные соболезнования, которые сыпались на него по этому случаю со всех сторон, и как драгоценны были те немногие попытки, которые уясняли ему его положение и указывали практический выход из него. Толпа народная находится именно в положении этого глубоко огорченного человека, которому в равной степени противны и бессознательные сетования, и пошлые, всегда лицемерные, заигрывания насчет претерпеваемых им утрат..

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

У нас до сих пор не возникал еще вопрос о том, может ли и в какой мере провинция заявлять претензию на самостоятельность. Чувствуется ли, например, потребность в местных органах печати? возможно ли в провинции самостоятельное общественное мнение? настолько ли действительны и живы местные интересы, чтобы ради них лучшие силы губернской интеллигенции имели повод задерживаться в провинции, а не устремляться вон из нее, чтобы отыскивать для себя поприще более обширное и деятельное?

Должно сознаться, что даже и в настоящее время, когда уже начинает мало-помалу сказываться связь между центром и окрестностью, столичное общественное мнение все еще смотрит на провинцию как на какой-то придаток, существующий не ради себя самого, а для удовлетворения иным, иногда даже весьма не близким целям.

Так называемая мысль провинции, ее желанья, инстинкты предполагаются до такой степени общеизвестными, что никому даже в голову не приходит проверить, в самом ли деле эта общеизвестность такова, как предполагается. Нет ли тут какой-нибудь

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru игры слов? Не следует ли вместо выражения «общеизвестность» употребить более подходящее «обязательность»?

Что такое отношение столичного общественного мнения к провинции существует – это доказывается уже тем, что даже в таких случаях, когда первое почему-нибудь считает излишним, чтобы провинция подала свой голос в известном вопросе, то оно ожидает от этого голоса не проверки, а только подтверждения. И факты никогда не обманывали подобных ожиданий; напротив того, они постоянно и упорно подтверждали, что столичное мнение имеет полное право называть провинциальную мысль и общеизвестною и обязательною.

Испытайте мысль любого из столичных бюрократов о провинции, очистите эту мысль от тех оговорок, которыми она почти всегда затемняется, и вы, наверное, прочтете так: провинция есть среда, в которой собираются подати и налоги, необходимые для безостановочного действия центров. Испытайте мысль об этом же предмете любого члена нашей празднующейся интеллигенции, и вы прочтете так: провинция есть то злчное место, из которого извлекаются материальные средства, необходимые для удобного существования в столице. Спросите, наконец, любого из историографов, преждевременно одряхлевших от волнений, испытанных в столичных танцклассах, и в настоящую минуту делающих наезды на наши провинциальные палестины, – спросите их, зачем они приволокли сюда свою дряблость и истасканность? – и вы, наверное, услышите ответ: надо же наконец отдохнуть! Даже купцы, в руках которых скапливалось в былое время большинство местных капиталов и которые всегда охотно сживались с родными гнездами, нынче, благодаря торговому космополитизму, вводимому железными дорогами, совсем растерялись и не знают, куда обратиться деятельности, для которой провинция уже не представляет выгодного поприща. Правда, остается мужик, который по-прежнему сидит крепко на месте; но чтов же такое мужик, как не тягловая единица, которая постоянно производит и у которой постоянно же производимое более или менее проходит между пальцев?

Все чувствующее в себе силу неудержимо стремится вон из провинции. Сами провинциальные обыватели, по-видимому, совершенно искренно убеждены, что провинция не чтов иное, как придаток, и что это самое приличное для нее положение. «У нас просто, у нас без хитрости, у нас всякой борзой собаке место найдется», – скажут вам одни, и вы почувствуете, что это слова не бросовые, что они произносятся даже не с ожесточением, а с добродушной искренностью. «У нас скука! у нас от нее одной не поглупеть невозможно!» – скажут другие; но и в этих словах вы не почувствуете ни озлобления, ни ропота, а разве какую-то робкую, почти неуместную иронию. «Ничего у нас не поделаешь, да и делать, признаться, нечего», – присовокупляют третьи и, ежели угодно, даже докажут фактически, что делать действительно нечего. И наконец: «У нас без того, чтобы не пить, нельзя...»

Несколько раз в течение настоящих писем была выражена мысль, что современная провинция уже не представляет собою того дремучего леса, каким она была в прежнее и даже весьма недавнее время. По-видимому, мысль эта противоречит мнению, высказанному выше; но это противоречие только кажущееся. Нет спора, внешние формы провинциального быта улучшились, даже внутреннее его содержание значительно видоизменилось; но никто не скажет, что это улучшение и изменение выработалось провинцией самостоятельно, чтоб оно не было наслано на нее извне в такую минуту, когда она меньше всего о том помышляла.

Жизнь обновилась, но по поводу этого обновления провинция не выказала ни малейшей инициативы. Мало того: это обновление потребовалось в нее вводить точно таким же порядком, как вводится, например, шестипольное хозяйство вместо трехпольного. Разделят каждое поле надвое и начнут пахать, боронить и сеять по-новому. Земля непосредственно не возражает против нововведений, но и не содействует им; то есть, коли хотите, и у нее есть способ откликаться на нововведения земледельца посредством урожаев или неурожаев, но это способ чисто страдательный, свойственный ее неорганической природе. То же самое можно сказать и относительно провинции, с тою только разницей, что тут не может быть речи об урожаях или неурожаях.

Мы живо помним конец пятидесятых и начало шестидесятых годов; в то время столичное общественное мнение кипело и волновалось так называемыми вопросами, кипела и волновалась ими и провинция. Но и в этом, по-видимому, искреннем кипении она на каждом шагу путалась в противоречиях; с одной стороны, преувеличивала, с другой – пасовала; но ни в том, ни в другом случае не сумела выказать одного: самостоятельной творческой способности. Провинциальный нерв

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru напрягался и ослабевал, повинуюсь какой-то случайности, так что со стороны можно было заподозрить, нет ли тут какого-нибудь начального предписания. Но предписания никакого не было, а было одно: отсутствие сознательности. Замутилось столичное общественное мнение – замутилась за ним и провинция. Не потому замутилась, чтобы дошла до сознания, что кипеть довольно, а просто замутилась – да и все тут. И даже не постепенно произошла в ней эта перемена, а вдруг; вчерашние рьяные либералы проснулись либералами стыдливыми и не могли ни другим, ни себе дать отчета, почему это так сделалось.

Все это факты, совершившиеся на наших глазах. Высказала ли провинция по поводу их свое слово? выразила ли она хоть чем-нибудь, что ее мнение не есть то заранее известное и обязательное мнение, узнавать о котором было бы совершенно лишнею формальностью, ведущей только к проволочке времени?

Нет; не высказала и не выразила ничего, потому что нет у нее главного условия, которое необходимо для жизни деятельной и полагающей почин, – нет самосознания, а следовательно, нет и слова для выражения его. Конечно, и в провинции вы можете встретить – и даже нередко – людей несомненно талантливых и даже энергических; но самая характеристическая черта этих талантливых заключается в том, что они постоянно как будто торопятся и постоянно же чего-то ожидают. Знаете ли, что собственно составляет предмет этих тревожных ожиданий? Увы! Это не более и не менее, как приезд сановника, флигель-адъютанта или вообще лица, власть имеющего. И совсем не потому, чтобы лицемерие сих особ заключало в себе нечто необычайно лестное для дальновидного провинциала, а просто потому, что в каждой «особе» талантливость усматривает орудие, которое может извлечь ее из неизвестности, то есть опять-таки вывезти из провинции. «Вот, – думает талантливость, – приедет W; сейчас я его пленяю и приятно изумляю; он меня, я его, и...» И уже видит себя окруженную некоторым бюрократическим ореолом и вносящую так называемую новую струю в разнообразный департаментский сор, веками накопленный в столицах.

Таковы тайные стремления так называемых провинциальных талантливых. И наяву и во сне они видят одно: как бы развязаться с провинцией. Им не улыбается мысль, что лучше быть первым в деревне, нежели вторым в Риме; им не приходит в голову даже то совершенно естественное предположение, что, сделавшись участником столичного движения, они не только не внесут никакой новой струи, но сами утонут в департаментском соре. Нет, они фаталистически и без всяких соображений влекутся вон из провинции, все интересы которой кажутся им и ограниченными и пошлыми.

Примеры подобных неудержимых стремлений истинно поразительны; укажем здесь на один из них. Известно, что нигде так не распространен класс так называемых самоучек, как в провинции. Эти люди все свои способности употребляют или на то, чтобы изобретать изобретенное, или на то, чтобы разрешать неразрешимое. Очень может статься, что это личности в своем роде весьма способные, но не подлежит спору, что в то же время нет на свете породы людей более бесполезной и более бросающейся в глаза своею неразвитостью. И что ж? попробуйте испытать сокровенную мысль одного из этих решителей неразрешимого, и вы, наверное, прочтете ее так: «А вот погоди! ужов, как открою квадратуру круга, в ту ж минуту махну в Петербург!» Вот видите ли, даже эти недоразвившиеся организмы находят для себя провинцию слишком тесною; даже они, почувствовав смутные признаки умственного вождения, уже ищут для него поприща более свободного и просторного!

Но ежели провинциальная жизнь представляет так мало интересов, что лучшие силы провинции не имеют повода задерживаться в ней; ежели провинция постоянно много дает и постоянно же мало получает в возмездие, то весьма естественно возникает вопрос: до каких пор может продолжаться подобный несоразмерный обмен услуг и не должна ли эта явная несоразмерность привести к постепенному обеднению и даже разорению той стороны, которая, по обстоятельствам, поставлена в более невыгодное положение? Что это вопрос действительный, а не призрак, вызванный взволнованным воображением, – в этом легко убедится всякий, у кого есть глаза для сравнений и здравый смысл для выводов.

Всякий земледелец, даже рутинер, нынче хорошо понимает, что, как бы ни были богаты производительные силы земли, она постепенно беднеет и даже совсем перестает производить, если относительно ее принята система все брать и ничего не возвращать. Всякий не совсем безумный помещик доброго старого времени, желая извлекать выгоду из своего дворового человека, никогда не упускал из вида, что

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru достигнуть этой выгоды нельзя иначе, как предварительно вооружив этого дворового средствами для добывания нужного оброка. С этою целью дворовых людей с малолетства обучали мастерствам, убогих же и калек, по малой мере, снабжали сумою. Но и тут нередко оказывалось, что человеческая кожа не без конца растяжима и что человеческие мышцы не могут безгранично напрягаться. Кажется, этих двух простых примеров весьма достаточно, чтобы доказать, что вообще в целой природе нет и не может быть такой благодатной сокровищницы, из которой можно было бы черпать и только черпать.

Тем не менее нас не вразумляют ни свидетельства опыта, ни подсказывания здравого смысла. Мы ухитряемся воссоздать для себя мифологический образ древней фортуны, слепой и неразумной, но в то же время никогда не истощающейся. Эта фортуна – провинция; она и слепа, и бессильна, и скудна начинаниями, но, о чудо! кошель ее действительно как будто не опорожняется, несмотря на то что усилия, делаемые в видах этого опорожнения, не подлежат никакому сомнению.

Каким образом происходит, что бесплодие производит плоды, а бессилие дает силу – это объяснить довольно трудно. Впрочем, едва ли кто-нибудь и старается выяснить себе эту странную аномалию, ибо тут, по-видимому, важен только непосредственный практический результат. Что провинция слепа – это даже хорошо, потому что если бы на свете всё были люди зрячие, они, пожалуй, и на солнце не замедлили бы усмотреть пятна; что провинция нехитра на выдумки – и это недурно, потому что все наше несчастье именно в том и состоит, что мы желаем быть умнее умных. Сущность не в том, чтобы провинция представляла собой бодрую производительную силу, а в том, чтобы так или иначе из нее лезло на украшение и вящую утеху центров. И лезет.

Когда случается завести в этом смысле разговор с нашими провинциальными историографами, то они обыкновенно только таращат глаза. В этих простых соображениях все кажется им диким, непривычным, почти карбонарским. Они положительно думают, что производительность и распорядительность – два выражения однозначные и легко заменяющие одно другое и что ежели первая прекращается или оскудевает, то не потому, что всякому напряжению имеются известные пределы, а просто по какому-то упорству со стороны производителей – упорству, против которого имеется под руками вернейшее средство, а именно та самая пресловутая распорядительность, которая, по их мнению, может заменить все.

С помощью этого бессмысленного выражения да еще с помощью благоразумной строгости (тоже выражение не очень богатое смыслом) эти несчастные надеются всего достигнуть: и проблесков народного гения, и разумного распоряжения силами природы, и рек, текущих млеком и медом. По мнению их, стоит человека высечь, чтобы из него полезло всякое изобилие плодов земных; стоит продать у человека корову или лошадь, чтобы у него сейчас же на место проданных явились две коровы и две лошади.

– Je voudrais bien voir! [26] – гремит один.

– Явится все-с: и хлеб-с, и деньги! – повествует другой.

– Как примутся, знаете, за них вплотную... запоят-с! откуда чтов возьмется! – угрожает третий.

Напрасно вы будете доказывать, что пение, как результат распорядительности, ровно ничего не значит, что в этом случае выражение «откуда что возьмется», хотя и оправдываемое кажущимся успехом, все-таки не более как мираж, которому доверяться опасно, – историографы будут в ответ на ваши доводы только больше и больше сверкать глазами и издавать неясные звуки. Это сверкание глаз, это вращание зрачками, эти звуки... все это, вместе взятое, составляет такое зрелище, которое почти невозможно изобразить.

Таким образом, непредусмотрительность, с одной стороны, и молчание, с другой, производят то кажущееся отсутствие затруднений, которое вводит в обман. В самом деле, покуда будет возможность ссылаться на распорядительность или нераспорядительность, до тех пор, конечно, никто не имеет права предъявлять никаких претензий ни на дальновидность, ни на сообразительность, ни на глубокомыслие со стороны историографов. Они не видят – это правда; они не размышляют – и это опять правда; но они имеют полное основание не видеть и не размышлять – ведь и это не парадокс, а истинная истина. Если невиннейшая из

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru девиц может дать только то, что имеет, то тем более должно быть применимо это правило к историографам, которые уж совсем ничего не могут дать, потому что ровно ничего не имеют. Историограф – человек ближайших и непосредственных средств; он не рассуждает, не заглядывает вдаль, не путается в мыслях, а просто махает жердью направо и налево. И когда жердь ушибает, он не догадывается, что сделал одно из тех глупых дел, из которых даже для него лично ничего, кроме вреда, не выйдет, а просто упивается своим торжеством и, самодовольно восклицая: «Га! опомнились!» – ставит до времени победоносную жердь в угол.

Тем не менее постепенное отощание провинции уже начинает сказываться во всем. Чувствуется, что провинция как будто перестает жить, что она расплывается не доходами, а капиталом. Повсюдная дороговизна свидетельствует, что даже выражение «откуда чтов возьмется» скоро делается преданием, сохранившим свой авторитет разве только в глазах станových приставов и исправников; всеобщее равнодушие, апатия, лень доказывают, что та же самая участь постигнет, ежели уже не постигла, плоды умственные. «Нет деятелей, нет денег, некуда идти!» – жалуются люди, стоящие у самого источника провинциальной производительности, как материальной, так и умственной. Оказывается, стало быть, что безмолвие и отсутствие инициативы вовсе не такое драгоценное явление, как можно было ожидать. Каждый провинциал чувствует, что в его существование закралась небывалая доселе тяжесть; каждый видит себя опутанным какими-то сетями, которых он ни распутать, ни разорвать не может. Куда бы он ни ступил, везде его нечто гнетет и гложет; и в то же время все – даже это гнетущее – так ему постыло, так противно, так само по себе ничтожно, что ни на чтов бы он не смотрел, ни к чему бы не прикоснулся.

И вот поднимаются сетования и припоминания; пускают в ход обращения к прошлым, вечно памятным блистательным дням... назад! назад!

В провинции не в редкость и теперь встретить апологистов доброго старого времени. Огромное большинство подобных апологистов, конечно, представляет собой ходячие ветряные мельницы, которые мелют всякий вздор, какой случайно попадет на язык; но есть и такие, у которых по временам прорываются некоторые признаки мысли. Как и следует ожидать, апологисты эти вертятся исключительно около крепостного права, этого единственного явления нашего прошлого, которое представляло собой нечто сложившееся и окрепшее. По мнению апологистов, крепостное право, хотя и не в полной мере, но все-таки до известной степени прикрывало жизнь от наездов, случайностей и сюрпризов.

– Прежде, – говорят апологисты крепостного права, – каждый, по крайней мере, знал, где он находится; каждый имел возможность определить те границы, в которых его не мог настичь сюрприз. Оттого жизнь держалась тверже, и нельзя было не считаться с нею; в провинцию не наезжали канканирующие сорванцы, которые даже и до того не могут додуматься, что человеческая деятельность должна управляться мыслью, а не похотью. Бывали, конечно, и прежде люди нестерпимые – и даже, пожалуй, они составляли большинство, – но они все-таки знали, чего хотели; да и других в заблуждение не вводили. Теперь же, куда ни взглянешь, кажется, и свободнее, и легче дышать стало, а не дышится, да и все тут! А отчего? Оттого, милостивые государи, что жизнь оголилась, что со всех сторон ее так и заносит всякого рода неожиданностями.

В этом рассуждении есть громадная и глубокая неправда, о которой будет сказано ниже; но с точки зрения непосредственных результатов в нем все-таки слышится какое-то подобие истины. Как ни ужасно представить себе жизнь, стоящую под защитой крепостного права, но еще невыносимее, еще больнее сознавать полное оголение жизни. В самом деле, куда ни обратите взоры, везде вы услышите жалобу на то, что жизнь вышла из старой колеи, а новой колеи не находит; везде увидите людей, изнемогающих под игом неизвестности, ищущих к чему-нибудь приурочиться и не находящих убежища. Это до такой степени верно, что даже те, которым именно следовало бы дышать легче, и те пришли к недоумению: отчего в самом деле не дышится легче? Не редкость даже встречать бывших крепостных людей, которые со вздохом вспоминают о крепостном праве. Ужели же они защищают его? ужели они желали бы возвратиться к нему? Конечно, нет, но так как обращения к воспоминаниям прошлого не выдумка, то поневоле приходит на мысль, что эти обращения, эти вздохи вызываются совсем не прелестями упраздненного, а наготово настоящего. Не могила крепостного права привлекает к себе, а представление о том цвете, который имел возраст на этой могиле. Очевидно, что упразднение есть только односторонняя форма человеческой деятельности; очевидно, что она

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru составляет лишь отрицание, которое, конечно, может на время увлечь кажущимися перспективами, но которое, при продолжительном действии, производит одно недоумение. Никто, конечно, не станет защищать финансиста, который, вместо того чтобы отыскивать новые источники государственных доходов и заботиться о сокращении государственных расходов, предложил бы удовлетворять нужды бюджета посредством бесконечных займов, но с русской провинциальной жизнью именно происходит нечто в этом роде. Она ничего нового не вырабатывает, ничего старого не сокращает (да и сократить-то, кажется, нечего), а живет какими-то займами, настолько темными, что никто не может даже достоверно указать на их источник.

Таким образом, с одной стороны, освобождение жизни от пут, ее связывающих, с другой, вместо ожидаемых благотворных результатов, несомненное оскудение жизни – вот печальная истина современного провинциального быта.

Откуда же происходит эта неприкрытость жизни? Где искать причину повального бессилия, которое заставляет человека останавливаться на половине дороги, задерживает его в подробностях и мелочах и не допускает до обобщений и выводов?

Вот тут-то именно мы и встречаемся с тою вопиюще неправдой, о которой вскользь упомянуто выше и которую апологисты крепостного права считают за лучшее скрыть.

Дело в том, что хотя крепостное право и давало жизни известное прикрытие, но прикрытие это было только мнимое. В сущности, оно не только ничего не защищало, но, напротив того, систематически и на неопределенное время подрывало у жизни всякую возможность выработать себе какое-нибудь прикрытие в будущем. Случайность и неожиданность, лежащие в его основе, служили защитой только тому, что само по себе было растлевающим началом жизни, тому, от чего жизни не было бы ни тепло, ни холодно, если б горький фатализм не связывал здесь две противоположные крайности: упорный труд и не менее упорное безделье, и не ставил первый в зависимость от второго. Такого рода защита, пожалуй, и теперь есть – стоит только взглянуть на сытые и довольные лица губернских историографов, чтоб убедиться в этом, – но результаты, к которым она приходит, стали до такой степени ясны, что никому даже в голову не приходит назвать их результатами. И прежде, как и ныне, произвол никого не воспитывал, ничего положительного, доброго и плодотворного не достигал; и прежде, как и нынче, он был только парадным пугалом, за которым таился прах. И вот те бросовые, размалеванные стенки, которые казались нам несокрушимыми укреплениями, разлетелись при первом дуновении ветра и сразу обнаружили изумленному миру скрывавшееся за ними умственное и материальное убожество...

Есть ли же после этого повод утверждать, что крепостное право что-то прикрывало, что-то ограждало? Нет, этого повода нет, и жизнь того времени была еще менее прикрыта, нежели нынешняя, только это не замечалось теми, которые, по своему положению, одни и могли что-нибудь замечать. Искусственные связи, которыми мы с такими неслыханными усилиями старались сплотить наши разлезающиеся во все стороны немощи, хотя и могли временно ввести в заблуждение неопытных, но действительной связи никогда не представляли. Не говоря уже о том, что в этом случае именем «связей» прикрывался простой гнет, который убивал в самом зародыше всякий проблеск народной самодеятельности, эти так называемые связи все общество делили на две половины, которые равно друг друга чуждались, а может быть, даже и равно друг друга ненавидели. Можно ли же назвать прикрытой такую жизнь, в которой каждая составная часть идет врознь, в которой нет ни силы, ни почина, ни поводов для энергии, в которой все, что ни делается, делается безучастно, апатически, почти с ненавистью?

Нет, не в упразднении крепостного права следует искать причину современного оголения нашей провинциальной жизни, а в чем-то другом, и это другое едва ли не в том состоит, что мы выражению «крепостное право» придаем слишком тесный и специальный смысл.

Крепостное право не в том только заключается, что тут с одной стороны – господа, а с другой – рабы. Это только внешняя и притом самая простая форма, в которой выражается крепостничество. Гораздо важнее, когда это растлевающее начало залегает в нравы, когда оно поражает умы, и вот в этом-то смысле все, что носит на себе печать произвола, все, что не мешает проявлениям его дикости, может быть столь же безошибочно названо тем именем, в силу которого какой-нибудь Ивашка или Семка, ложась на ночь спать, не знали, чем они завтра станут: ключниками ли, хранителями господского добра или свинопасами.

Ответим себе хоть раз откровенно: знаем ли мы, бедные, неприкровенные провинциалы, чем встанем завтра с постелей наших? Знаем ли мы, что мы делаем и для чего делаем? Уверены ли мы, что наше разумное действие даст и результат разумный, что действие неразумное и последствия будет иметь соответствующие? Ответим на эти вопросы и тогда уже спросим себя: ужели мы не погрязли по горло в том самом крепостном праве, которое делало так нестерпимым по своей безалаберной шаткости положение всевозможных Ивашек и Семок?

Порок так называемого крепостного права не в том одном состоит, что оно допускает явно безнравственные отношения между людьми, а в том, что при существовании его невозможен успех, невозможна жизнь. В каких бы видах, под какими бы наименованиями ни проникало в жизнь это разлагающее начало, оно настигнет свою жертву и доконает ее во что бы то ни стало. Как хотите хитрите, придумывайте какие угодно извороты, но когда источник иссякнет, то воды не будет – это несомненно. Напрасно мы будем классифицировать наши пороки, напрасно будем отделять их перегородками и отыскивать для каждого свое место – нет, это все дети одного и того же отца, и имя им всем: крепостное право. Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крепостничество уничтожено, а потому, что оно еще дышит, буйствует и живет между нами.

Нам тяжело жить – это правда; нам тяжелее, нежели отцам нашим, – и это опять правда, но не оттого совсем, чтобы условия современной жизни изменились к худшему, а оттого, что они мало изменились к лучшему. Отцам нашим много помогало в жизни бессознательное отношение к ней; мы же хотя и не вышли совершенно из положения бессознательности, но все-таки несколько порастлились. Это делает наши горести еще более чувствительными, и хотя средств, чтобы выйти из произвола, мы еще не измыслили, но чувствуем, очень чувствуем, что не розами около нас пахнет.

Какое заключение можно вывести из всего сказанного выше? Какое будущее ожидает провинцию, ежели материальные и умственные ее силы будут по-прежнему устремляться к центрам? и возможно ли придумать такую комбинацию, которая остановила бы это стремление и задержала в провинции то, что необходимо для успехов ее развития?

Нет никакого сомнения, что ежели положение вещей в провинции останется в том же виде, в каком оно находится ныне, ежели всякая попытка внести в местную деятельность смысл будет и впредь приниматься нашими историографами за попытку подорвать общественные основы, то провинция в конце концов заглохнет и порастет репейником. Повторяем: несогласно с законами здравого рассудка: брать, брать и брать, и никогда ничего не возвращать. Несогласно с справедливостью называть взаимным обменом услуг такой обмен, когда одна сторона все получает, а другая все отдает, а ежели и получает, то в виде какого-нибудь канканирующего историографа, то есть опять-таки получает убыток и огорчение, а не прибыль и утеху. Но какого же рода услугу могут оказать в этом случае центры своим окраинам, чтоб оживить их?

На первый раз, по моему мнению, совершенно достаточно будет, если услуга эта выразится в четырех словах: не мешать жить провинции...

Позволительно думать, что требование это не заключает в себе никакой притязательности. Мысль об освобождении жизни от излишних опекальств вовсе не новая; она составляет самый явственный и неперменный результат реформаторских попыток последнего времени. Что этот результат выясняется довольно туго, это еще не доказывает ни ненужности, ни даже преждевременности его, а доказывает только, что из жизни нашей не исчезла еще случайность, которая на каждом шагу потчует нас всевозможными сюрпризами. Пускай историографы буйствуют и преднамеренно или по глупости извращают смысл того, что составляет драгоценнейшее достояние современной жизни, – мы верим горячо и искренно, что истинный смысл реформы 19 февраля не потеряется никогда.

В чем же должно заключаться осуществление выражения «не мешать жить»? По нашему скромному мнению, это осуществление заключается в следующем: как можно менее заниматься провинцией, не окружать ее цепью неловких опекаелей, которые только смущают и запутывают общественное мнение, и не пугаться (именно только не пугаться) при появлении в ней признаков самостоятельности.

Нам, провинциалам, очень часто указывают на современное земство, на бедность

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru добытых им результатов и на некоторую азбучность понятий, высказываемых в земских собраниях. Но причины этого явления отчасти указаны уже в предыдущих письмах. Это, во-первых, те пререкания, которые встретили земство в самую минуту его появления, а во-вторых, те бесполезные примеси, которые имеют обыкновение привязываться у нас к каждому делу и которые не преминули привязаться и к земству. Есть, конечно, и другие еще более решительные причины, временно обрекающие земство на бессилие, но об этих причинах находим благоразумным до времени умолчать.

Не мешать жить! По-видимому, какой скромный и нетребовательный смысл заключает в себе это выражение! А между тем как оно выпрямляет человека, какую бодрость вливает в его сердце, как просветляет его ум! Не мешать жить! – да ведь это значит разрешить жить, искать, двигаться, дышать, шевелить мозгами! Шутка!

Мы очень хорошо понимаем, что мысли самые простые и естественные всегда кажутся и самыми страшными; мы понимаем также, что простой взгляд на вещи, при современной путанице понятий, есть взгляд наименее симпатичный. Но мы не можем забыть и то, что всякая путаница, даже самая любезная, должна иметь свой предел и что нежеланием посмотреть ей в глаза мы не устраняем затруднения, а еще более усложняем его.

ПИСЬМО ОСЬМОЕ

Говоря в прошлом письме о чрезвычайной скудости творческой силы провинции, я выразил мнение, что причина этого явления заключается в том, что провинция испокон века только отдает и ничего в возврат не получает или получает ненужный хлам в лице канканирующих историографов. Отсюда – равнодушие провинции даже к тем интересам, которые ей всего более близки; отсюда – ее неспособность. И если еще нельзя сказать, что провинция совсем заснула, то можно сказать за верное, что она не верит своим силам и ждет поправки своих обстоятельств не от себя самой, а откуда-то издалека.

Очень может быть, что многие читатели увидели тут не больше, как парадокс; но в последнее время провинция сама взяла на себя труд прийти на помощь высказанному выше мнению. Перед нами лежит несколько сочинений, имеющих предметом характеристику провинции и ее существеннейших интересов. Сочинения эти принадлежат лицам, близко знакомым с ходом наших провинциальных дел, лицам, живущим в провинции и несомненно принимающим самое деятельное участие в ее судьбах. Если даже они подтверждают мнения, выраженные в настоящих письмах, то можно сказать прямо, что мнения эти нимало не страдают преувеличением.

Что же видим мы в сочинениях этих «сведущих людей» провинции, какое поучение можем мы извлечь из них? А вот что прежде всего: сознание бессилия провинции, сознание ее неподготовленности к принятию удобств и преимуществ самоуправления.

Всем известно, что провинция недавно обзавелась земством; известно также, что со стороны общественного мнения земство встретило скорее апологистов, нежели порицателей. Ничего не совершив, оно уже было возвеличено; будучи еще в зародыше, оно предполагалось уже способным оправдать некоторые надежды. Какие надежды? чего именно могло ожидать русское общественное мнение от этого нового учреждения?

С достоверностью можно сказать, что в этом случае первую роль играло слово «самоуправление». Произнесенное рядом с словом «земство», оно должно было оказать магическое действие. Оно обязывалось сделать из провинции нечто вроде маленького земного рая, обязывалось поднять умственный и материальный уровень страны, способствовать сближению и даже слиянию сословий, уничтожить злоупотребления местной администрации, положить пределы ее притязаниям, – словом сказать, обновить провинциальную жизнь, сделав ее возможною не для одних брюхопоклонников, но и для людей, не чуждающихся интересов мысли. Некоторые восторженные умы шли далее и возлагали на земство разные другие обязательства, как, например: по освобождению человеческой личности от произвольных передвижений, наездов, наскоков, по ограждению домашнего очага и т. д. Эти последние надежды были, конечно, и преувеличенны, и преждевременны, но, во всяком случае, казалось не невероятным, что с водворением земства хоть одно будет достигнуто: возможность жить и без помехи заниматься своим делом.

Но для того, чтобы ответить на эти ожидания мало-мальски достойным образом, надлежало, чтобы земство с самого начала поняло свои задачи в самом широком

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru смысле. Сужение задач вообще плохая школа для вновь выступающих учреждений. Когда мы говорим себе: теперь не место и не время обобщать и расширять вопросы; останемся при тех подробностях, которые у нас под руками и которых никто у нас не оспаривает, – то на пути этом нас очень скоро настигнут всякого рода разочарования. Во-первых, мы убеждаемся, что границы, существующие между общим и частным, совсем не так строго определены, как это может показаться с первого взгляда, и что, как бы мы ни усиливались изолировать то или другое частное явление, наш успех никогда не будет настолько велик, чтобы исторгнуть из него ту интимную сущность, которая вводит его в область общего. Во-вторых, увлекаясь исключительно подробностями, мы теряем из виду те общие перспективы, которые собственно и дают подробностям смысл и цену; поэтому мы делаем дело, может быть, очень трудное и кропотливое, но, во всяком случае, мало полезное, почти мертворожденное. В-третьих, наконец, мы удостоверяемся горьким опытом, что, не обеспечив широкой и прочной постановки вопросов, мы тем самым лишаем себя возможности свободно обсуждать и подробности. В результате – или беспутное блуждание без цели и плана, или непрерывный выход из тех границ, которые мы сами себе назначили, и непрерывное же самоводворение в них. В первом случае мы будем заниматься подробностями не в зависимости от той живой связи, которая соединяет их, а по мере того, как они механически будут представляться нашему вниманию; во втором случае мы будем вращаться в заколдованном круге полумер и в бесплодном наблюдении за самими собою.

Понятно, что такого рода перспектива может привлечь к себе деятелей только на первых порах, то есть тогда, когда еще не вполне раскрылась ее сущность. Но чем более разъясняется эта последняя, чем рельефнее выступают вперед ее блуждания, сомнения и оговорки, тем быстрее стихает первоначальная горячность и уступает место равнодушию.

Итак, повторяем: чтобы не впасть в одну из упомянутых выше крайностей, чтобы устроить земское дело на основаниях действительно прочных и плодотворных, провинция должна была прежде всего остережиться от каких бы то ни было суживаний. Посмотрим же теперь, как она сама взглянула на свое призвание в этом случае, что говорит она об этом призвании устами своих «сведущих людей».

Пункт первый – сознание в неподготовленности. История с этою неподготовленностью довольно забавная история; это своего рода несокрушимая крепость, в которую мы, провинциалы, охотно укрываемся всякий раз, когда приходится держать ответ перед общественным мнением. О чем бы ни начался разговор, мы никогда не упустим оговориться, что мы невежды, что мы ни к чему не подготовлены, что мы чуть-чуть не глупы. Это горькое хвастовство неумелостью могло бы привести в отчаяние, если бы несостоятельность его слишком ярко не бросалась в глаза.

Когда, говоря о человеке, который никогда не испытывал на спине своей воспитательного влияния палки, мы утверждаем, что он не подготовлен к восприятию его, – это будет вполне справедливо и понятно; но если мы ту же мысль перевернем, если мы скажем: вот человек, который всю жизнь ощущал действие палки и которого прекращение этого действия повергло в смущение, – мы скажем положительную и очевидную нелепость. Существовало у нас крепостное право, и крестьяне довольно продолжительное время пользовались им; но когда оно было уничтожено, то едва ли нашелся хоть один человек, который оказался бы неподготовленным к этому уничтожению. Точно то же произошло и относительно судебной реформы; новые суды принялись сразу и никого не нашли неподготовленным.

Неужели и в самом деле нужно особенную подготовку, чтобы сразу освоиться с такою, например, вещью, как отмена телесных наказаний? Ужели это было такое благо, к которому можно прилепиться душою и разлука с которым могла бы кому-нибудь стоить колебаний и борьбы? Нет, это не так. Есть вещи, расставаться с которыми никогда не рано, точно так же как есть вещи, для непосредственного пользования которыми не требуется быть ни философом, ни политико-экономом. К числу таких простых вещей принадлежит несомненно и то, что мы называем самоуправлением. Чем больше мы будем расширять значение этого слова, тем менее рискуем впасть в ошибку, потому что оно обнимает собой все свойства и потребности, которые определяют человека. Право на обеспеченность человеческой личности и на свободу человеческого труда, право на неприкосновенность домашнего очага – все это точно такие же простые и удобопонятные права, как и право считать деньги в своем кармане, право носить черный или голубой сюртук. Чтобы пользоваться этими правами, не требуется ни особенной мудрости, ни чрезмерных усилий; нужно только, чтоб они были под руками.

Следовательно, жалобы на неподготовленность к самоуправлению едва ли можно принимать буквально. Скорее всего, их можно объяснить или известною русскою половицей: «И близок локоть, да не укусишь», или тем обстоятельством, что мы, провинциалы, охотно едим пирожное, когда нам подадут его, а если не подадут, то довольствуемся и арестантскими щами с несвежею солониной. Мы до того привыкли постепенно обнажать себя, что в конце концов обнажились даже от стыда и теперь стоим в раздумье, точно ли мы способны рассудить, что жить без розог гораздо удобнее, нежели жить с розгами?

Во всяком случае, из этого невысокого мнения нашего о самих себе естественно выходит другой любимый наш тезис. «Ограниченность круга нашей деятельности, – говорим мы, – есть залог ее прочности». Истина соблазнительная, но едва ли она не сделается еще более соблазнительною, если мы выведем из нее все логические последствия, которыми она так богата. Ведь тогда, пожалуй, окажется, что если совсем ничего не будет, то есть никакого круга деятельности, то дело, пожалуй, сделается еще прочнее...

Поощряя себя подобными изречениями, мы приобретаем целый арсенал недорогих истин, все достоинство которых в том заключается, чтобы оградить нас от возникающих притязаний жизни и устроить то тихое и безмятежное житие, память о котором завещана еще столь любезным нам крепостным правом, в былое время существовал у нас конек: патриархальность; теперь мы выдумали другой конек – сближение. Несмотря на кажущуюся разницу, и тот и другой ведут к одному результату: к тому, чтобы постепенно запутать действительные вопросы жизни, а на место их выдвинуть вперед бессодержательные общие места. Конечно, тихое и безмятежное житие не лишено своей прелести, но спрашивается: можно ли остаться при нем одном, не пожертвовав при этом самыми лучшими потребностями человеческой природы?

Положа руку на сердце, имеем ли мы повод сказать, что поприще, которое время и обстоятельства отвели для нашей деятельности, настолько пространно, что увеличение его угрожало бы нам опасностью раскидаться и растеряться? Нет, поистине такого повода не имеется, потому что предметы этой деятельности, в настоящем составе их, без малейшего затруднения можно пересчитать по пальцам, да и тут, наверное, останется несколько пальцев лишних. Все это такие некрупные подробности, которые, быть может, действительно доставляют некоторые материальные удобства, но которые отнюдь не вносят ничего нового в умственную и нравственную жизнь масс. Это подробности слишком низменные, чтобы решительно влиять на развитие провинциального быта; не тому надобно удивляться, что они, благодаря земству, представляются, сравнительно с прежним временем, в лучшем виде, а тому, что для приведения их в этот вид потребовалась столь обширная комбинация сил. Сельский сход, волостной сход – вот достаточные и вполне компетентные единицы для таких неумудренных дел, как устройство грунтовой дороги, моста или перевоза в известном районе, или равномерное распределение квартирной и постоянной повинности...

Нам возразят, конечно, что и волости, и сельские общества (или заменявшая их помещичья власть) существуют издавна, но земское хозяйство никогда не пользовалось их содействием и ни на волос не подвинулось вперед. Прекрасно; но ведь есть же какая-нибудь причина тому, что обыватель не видит достаточных побуждений, чтобы заняться даже таким близким делом, как местная повинность, которая и прямо и косвенно опутывает все его существование! Ему худо; он топит в грязи свой воз; лошадь его ломает ноги на неисправном и ветхом мосту, в избе у него располагается постоем солдат, который при самых лучших условиях все-таки составляет лишний рот – воля ваша, а надобны очень существенные причины, чтобы молча переносить невыгоду подобного существования. Не в том ли они заключаются, что он все уже отдал, что был в силах отдать? не в том ли, что у него нет ни времени, ни возможности убраться кругом себя, потому что на нем прежде всего лежит исполнение требований, срывающихся более настоятельными, нежели его бросовое копеечное хозяйство, хотя и касающихся его лишь косвенным образом?

Мы все, добровольно или невольно, живем не для себя, и примеров показной жизни нам не занимать стать. Посмотрите на любого чиновника, когда он находится на службе или в гостях: как на нем все чистенько, как он подтянут, приглашен, умыт! Но загляните следом затем на тот скотный двор, в котором он живет и который называет своим домом, и вы удивитесь поразительной метаморфозе, какая представится вашим взорам. Ужели же его руководит в этом случае какое-то трудно

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru объяснимое пристрастие к нечистоте? Нет, скорее всего, можно объяснить это превращение тем, что несчастный истратил последние средства на поддержание наружного декорума, и затем, относительно всего остального, его заботит только мысль, как бы не пропасть и не сгнить вконец. Кто будет так смел, чтобы упрекнуть этого человека в равнодушии к тому, что самым непосредственным образом к нему прикасается? Помилуйте! да тут и равнодушия совсем никакого нет, а просто есть закон горькой необходимости, которого не отвратят никакие требования о соблюдении чистоты и опрятности!

Но не в этом вопрос. Факт совершился, и наблюдение за некоторыми подробностями земского хозяйства перешло в руки особого учреждения, называемого земством. Спрашивается: неужели же тут конец пути?

Увы! если провинция так упорно ссылается на свою неподготовленность, то это означает отнюдь не действительную неподготовленность, а то, что она заранее истратила весь свой духовный и вещественный капитал, и истратила его совсем не для себя. При такой оголтелости весьма естественно, что она страшится всяких новых жертв, в каком бы виде они от нее ни требовались, и что в каждом новом явлении, втирающемся в ее жизнь, она видит не что-то иное, как новую форму новых жертв. С старинными неудобствами своей обстановки она примиряется совсем не потому, чтобы они были ей милы, а потому, что на приобретение действительных удобств у нее нет средств. Нельзя сказать даже, чтобы она не сознавала, в чем заключается то зло, которое ее гложет; она очень хорошо видит, как уходят из нее неведомо куда ее умственные и вещественные капиталы; но, для того чтобы поставить подобные вопросы ясно, не всегда можно обойтись без риска. Люди, решающиеся на подобную постановку, очень часто бывают дурно приняты, а еще чаще дурно растолкованы. Их называют мечтателями, – слово, которое в переводе почти равносильно разбойнику; их обвиняют в том, что они вносят смуту и рознь туда, где до их появления все было тишь, да гладь, да божья благодать. Перспектива всех этих удовольствий покоробит любого героя. «А не лучше ли, – скажет он себе, – бежать из этой постылой провинции, а если не бежать совсем, то не укрыться ли под защитой неподготовленности...» Неподготовленности к чему? Право, неловко и горько становится при одной мысли о тех простых и общедоступных благах, о которых мы с такою постыдною откровенностью говорим, что они представляют для нас «зеленый виноград»!

В последнее время эта провинциальная оголтелость сказалась более определенным образом: газеты наши все чаще и чаще оглашаются известиями о неудачах, претерпеваемых земством. В ином месте земское собрание совсем не состоялось, потому что не съехалось законного числа членов; в другом месте собрание хотя и состоялось, но не докончило своих занятий, потому что часть членов разъехалась прежде срока. Мы знаем случаи, когда гласных разыскивали по городу, когда за ними посылали нарочных, с покорнейшею просьбой прибыть в собрание. Нет сомнения, что радоваться такому положению дел нельзя, но и видеть тут повод для обвинения кого бы то ни было в постыдном равнодушии тоже нет возможности. Мы, провинциалы, и без напоминаний слишком скромны, но, когда, несмотря на это похвальное качество, нам только и дела, что напоминают о скромности да угрожают тем, что мы раскидаемся и растеряемся, – мы естественно приходим к заключению, что ведь и в самом деле горячиться не из-за чего. Всякий поймет, что подобные напоминания, если они не в меру часты, делаются даже противными; но сверх того мы можем встретиться на этом поприще с другою опасностью: с обвинением в карбонаризме. Кому охота претерпевать такие напраслины, хотя бы, например, по вопросу о распределении пунктов для стоичных лошадей? Не ясно ли, что всякий благоразумный человек при первом намеке на возможность подобной случайности возьмет

...в охалку

Кушак и шапку, –

так как положительно нет ни славы, ни выгоды в том, чтобы прослыть страдальцем по вопросу о стоичных лошадях...

Но неужели наша провинциальная гольтѣба ни к чему другому не выказала поползновения, кроме ограничения и без того ограниченного круга деятельности? Нет, если верить «сведущим людям», она по временам не чуждается и политики, – разумеется, скромной...

Область этой политики весьма разнообразна. Предметы ее суть: сближение сословий, стремление пристроить куда-нибудь дворянство (преимущественно, однако ж, «во главу») и отыскивание «великолепных свойств русского народа: не помнить

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru зла и соединяться». Постараемся, однако ж, разобрать в подробности сущность этих задач нашего провинциального политиканства.

Вопрос о «сближении» или «слиянии» необходимо рассматривать в связи с вопросом о «великолепных свойствах» русского народа, потому что ежели первый может иметь какую-нибудь силу, то исключительно только благодаря второму. Литература по вопросу о «сближениях» очень обширна; достаточно заглянуть в любой журнал, в любую газету начала шестидесятых годов, чтобы непременно встретиться ежели не с ясно сформулированными предположениями, то с некоторыми пожеланиями по этому предмету. Нет сомнения, что в свое время стремления эти принесли известную пользу. Одна сторона надеялась найти в них исходный пункт, из которого со временем может что-нибудь выработаться и косвенным образом пополнить понесенные внезапно ущербы; другой стороне они придали бодрость и внушили сознание (очень, впрочем, темное) того значения, которое она неожиданно для себя получала. Но дальнейшего развития стремлений все-таки не последовало, а равно и трактатов сколько-нибудь полезных по сему предмету издано не было по той простой причине, что, как ни тискайте слово «сближение», никакого реального представления, ничего, кроме тавтологии «жалких слов», из него не выжмете.

Но люди неохотно расстаются с своими мечтами, хотя бы они представляли один пустой звук. За недостатком здоровой и реальной почвы, за отсутствием общественных и политических интересов, они гоняются за звуками, приятно раздражающими слух, и думают наполнить ими пустоту своего существования.

Чтобы поставить вопрос о сближении или слиянии на почву сколько-нибудь реальную, необходимо, чтобы он разрабатывался не трансцендентальным каким-нибудь путем, а путем вещественным, для всех видным и осязательным. Скажем более: необходимо, чтобы о самых этих выражениях не было помину, чтобы они были вычеркнуты и заменены другими, более определительными.

Если Петр или Павел объявляют во всеуслышание, что они «добрые», что они любят и жалеют «сих малых», то из этого объявления покамест ничего еще не выходит, кроме сотрясения воздуха. Они, конечно, могут подкрепить свое объявление тем, что, имея возможность быть грубыми с меньшею братиею, не воспользуются этою возможностью, но и это только сделает честь им лично, но особенных плодов не принесет по той причине, что гуманное обращение с людьми принадлежит к числу тех простых вещей, которые всеми, даже непривычными к нему, сразу принимаются как должное. Затем, если те же Петр и Павел, недовольные тощими результатами, полученными от их объявления, пожелают идти далее, то они уже обязаны приискать для своих поползновений форму более положительную. Вернейший путь, который представляется им в этом случае, есть путь более равномерного распределения прав и благ. Но так как это путь тернистый, который мог совсем и не быть в их расчетах, то существует другой путь, хотя и не столь решительный, но, во всяком случае, приличный. Путь этот можно формулировать так: решить однажды навсегда, что отношения между людьми, в каких бы положениях они ни находились, должны быть основаны на идее равноправности.

При таком воззрении на дело отношения между людьми становятся совершенно ясными. Конечно, бесполезно было бы связывать с подобным положением понятие о нормальности, но, по крайней мере, оно не отуманивает ничьих глаз, исключает всякую идею о лицемерии и допускает борьбу и поправки. Несомненно, что борьба с организованной силой представляет очень мало утешительного, но все же она имеет более шансов успеха, нежели борьба с пустыми звуками или даже с обманом, надевающим на себя лицемерную маску благосклонности.

Нет ничего хуже и несноснее того положения, когда вас куда-то заманивают и при этом не сказывают куда. Почему не сказывают? – потому отчасти, что сами не знают, а отчасти и потому, что слишком хорошо знают. Кому нужно сближение? Для чего оно нужно? Разберите эти вопросы внимательно, и вы убедитесь, во-первых, что «сближение» в данном случае есть термин односторонний, и, во-вторых, что это термин или совсем пустой, или неблагоприятный. Во всяком случае, это термин вредный, ибо при его посредстве отрывается масса людей от действительных интересов и делается добычей интересов мнимых; отнимается у производительного труда и приглашается к празднованию.

Возможность сближения есть дело вполне законное, но надобно, чтобы в основе его лежала обоюдная свобода и обоюдная равноправность. Провинция говорит: этой возможности дан широкий исход в земстве и его органах; апологисты же сближения

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru прибавляют: «Гласные от землевладельцев-помещиков и гласные от крестьян сели за один стол, как будто век за ним сидели, и занялись общими делами, не поминая прошлого» («Голос из земства», стр. 9). Прекрасно. Но, во-первых, гласные земских собраний занимаются не теориями сближений, а каким ни на есть делом; во-вторых, сословные элементы в этих собраниях распределены (практикою, а не законом) далеко не столь равномерно, чтобы можно было вывести положительное заключение, насколько последовало или не последовало предполагаемое сближение; в-третьих, наконец, чтобы убедиться в действительности этого сближения, нелишнее было бы предварительно испытать гласных от крестьян, хорошо ли они себя чувствуют, «сидя за одним столом с гласными от землевладельцев-помещиков». И вот провинция проговаривается. «Всего важнее, – говорит она, – что дворяне-землевладельцы становятся во главе земства». Вот это так, это действительно важно. Но с этого-то именно и надлежало начать разговор, а не запутывать его сетью вводных предложений, трактующих неведомо о чем.

Предположим, однако ж, что вопрос о сближениях каким-нибудь чудом действительно приводится к разрешению – какой результат предвидится получить от него? Результат один: возвращение к патриархальности и ко всем последствиям, из нее вытекающим. Иного, при всем желании, придумать нельзя.

Нельзя, потому что нет довольно содержательного общего дела, по поводу которого могло бы произойти сближение. Современное дело, которое выставляет вперед провинция, не может быть этим поводом, покуда в принципе его лежит опасение раскидаться и растеряться; других же дел покамест не предвидится. Вот если бы провинция поставила себе к разрешению такой вопрос: отчего она год от году беднеет, отчего она живет не для себя и не свою, а заимствованную жизнью, отчего, наконец, исчезают из нее ее умственные и вещественные капиталы, тогда, несомненно, она получила бы и возможность и повод для сближений в самых обширных размерах. Тогда, если б поползновения ее и встретили фиаско, она имела бы, по крайней мере, действительное право упрекнуть кого следует в неподготовленности и закоснелости.

Но провинция очень хорошо понимает, что такого содержательного и общего дела нет, и потому все надежды устремляет к «великолепным свойствам» русского народа. Эти свойства, на которых основан весь процесс сляательной операции, называются так: способность не помнить зла и соединяться. Постараемся придать этим темным общим местам сколько-нибудь вразумительную и осязательную форму.

Как следует понимать «зло»? Есть ли это нечто такое, что необходимо и даже полезно помнить и в каком смысле помнить? или же относительно этого предмета во всяком смысле должно руководствоваться словами поэта:

То, что было, то пройдет,
Что пройдет, то будет мило...

Кавк бы мы ни старались ограничивать смысл употребляемых нами слов, но есть выражения, относительно значения которых сомнения невозможны. К числу таких выражений принадлежит и «зло». Как ни укорачивайте его смысл, оно всегда будет означать совокупность таких явлений, которые приносят вред обществу, останавливают свободное и естественное развитие народных сил, делают из людей автоматов, подчиняющихся не сознательной идее добра и пользы, а ужасу, внушаемому гнетом преследующей их силы, и обрекает полному устранению творческие способности громадного количества людей. Вот действительный смысл слова «зло», и в этом, конечно, смысле несомненно понимает его и провинция, когда хлопочет о «забвении зла». Это «зло» очень недавно называлось у нас крепостным правом и действительно заключало в себе признаки, которые указаны выше.

Это зло, произведенное не Петром и не Иваном, а зло историческое, зло, разлитое в целом порядке вещей, поглощавшее в себе одинаково и Петра и Ивана. Правильно ли и благоразумно ли настаивать на забвении такого зла? Не равносильно ли это требованию забыть уроки прошлого, забыть историю?

Источник подобных настояний очень понятен. Несмотря на наши ревнивые старания отделить частное от общего, мы беспрестанно смешиваем и то и другое. Поэтому нам кажется, что когда говорят о «зле», то непременно подразумевают тут или Петра, или Ивана, которые были видимым олицетворением этого зла. Но это не так. Вместо того чтобы говорить: забудьте зло, следует выражаться проще: не мстите Ивану, не отплачивайте ему злом за зло. Но и тут мы понимаем подобные увещания только потому, что такого рода фразы, вследствие частого и не совсем осмысленного

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru употребления, до того приучили к себе наш слух, что мы уже не формализуемся нелогичностью, которая в них заключается. В сущности, Иван не имеет никакой надобности ни в прощении, ни даже в молчаливом забвении зла. На объяснение ему прощения он с полным основанием может ответить: «За что же вы стали бы мстить мне? где ваше право для мести? разве я повиновался не тому же закону, какому повиновались и вы? разве я обязывался быть героем и одного себя поставить вне влияния общего закона? разве геройство не исключительное явление? разве большинство людей обязано к чему-нибудь, кроме дел средних?» И Иван, несомненно, будет прав, ибо массы хотя и могут, по временам, припоминать разным Петрам и Иванам некоторые их излишества, но случаи таких припоминаний так исключительны, что совершенно утопают в общем принципе забвения. В действительности, все частные ущербы давно схоронены и забыты, и ежели, например, помещик, включенный с крестьянами в состав одной и той же волости, ни под каким видом не уживется с ними, то это имеет произойти не вследствие живой памяти прошедшего, а вследствие полного несходства в обстановке и привычках того и другого сословия.

Представление о зле сопрягается не с Иванами и Петрами, а с мыслью об известном положении. А относительно этого последнего вопрос заключается не в том, чтобы озлобляться и кипеть, а в том, чтобы на будущее время предотвратить возлобление зла под какими бы то ни было формами и наименованиями. Не к ненависти и преследованию призывается потерпевшая сторона, а к осторожности и осмотрительности. Она на собственном опыте, собственной грудью убедилась, какие тяжкие последствия могут содержать в себе некоторые явления жизни, и должна воспользоваться этим опытом, чтоб оградить себя от подобных последствий в будущем. Не одну себя она ограждает, поступая таким образом, а настоящее и будущее целой страны. Ответственность, лежащая на ней, слишком серьезна, чтоб можно было рисковать ею за чечевичную похлебку, или из-за желания добыть тихое и безмятежное житие, или даже... из-за чести сидеть за каким-то «одним столом».

Из всего сказанного выше можно вывести заключение о степени великолепия тех свойств, на которые возлагает надежды провинция. Ежели они существуют на деле, то это обстоятельство не только не может служить предметом для восхищений, но, напротив того, должно свидетельствовать о самом изумительном и беспримерном легкомыслии. Способность забыть – это не способность развиваться, это безнадежность в будущем. Но этого нет, этому невозможно поверить. Как-то легче дышится при мысли об отсутствии этого качества, нежели при мысли о его присутствии. Конечно, твердых доказательств ни «за», ни «против» представить нельзя, ибо в той путанице понятий и отношений, которая развивается перед нашими глазами, трудно отличить, что составляет признак способности забывать и что принадлежит простому равнодушию, но, как ни затруднителен выбор между этими двумя альтернативами, будем думать, что равнодушию принадлежит здесь первое место. Это также не совсем утешительно, но все-таки лучше, нежели забвение вчерашнего дня.

Третий предмет нашего провинциального политиканства составляют заботы об устройстве дворянства. Можно даже сказать, что и приручение масс, и открытие в них великолепного свойства забвения вчерашнего дня – все это не более как приличный подход к главной задаче, долженствующей увенчать здание. Это фундамент, без которого вся последующая махинация не может иметь прочности.

Странное дело! покуда существовало крепостное право, никому не приходило в голову усомниться в существовании русского дворянства. Это существование заявляло себя целым рядом таких действий, которые самого неверующего человека заставляли верить. Дворянство имело свои собрания и своих представителей, оно рассуждало о своих нуждах, оно, в известной степени, имело право суда над своими членами, оно управляло не только своими делами, но пользовалось значительной долей в отправлении дел общегосударственных, имея в своих руках суд и полицию. Трудно было не поверить тому, что всегда стояло, как живое, перед глазами, то в виде помещика, творящего суд и расправу, то в виде исправника, творящего суд и расправу, то в виде судьи или заседателя, творящих суд и расправу. Это было сословие, как бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имело возможность предъявлять некоторую силу среди общего бессилья, некоторую инициативу среди общего безмолвия. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходит сквозь всю историю этой корпоративной силы, заключается все-таки в том, что, однажды устроившись, она до самого конца оставалась при этом устройстве, занимаясь повторением задов и ни разу не поставив себе вопроса, возможно ли для нее дальнейшее развитие, в каком именно смысле и в какую сторону? Будущее для нее не существовало.

Но будущее имеет за собой то неудобство, что оно непременно является в срок. В настоящем случае оно пришло в виде упразднения крепостного права – и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить все связующие нити; что вместе с исчезновением крепостного права исчезло и дворянство!

Это говорит не наш одинокий голос; это говорят компетентные люди провинции. Конечно, не следует понимать это исчезновение в буквальном смысле, но жалобы на то, что дворянство осталось как будто не при месте, приобретают значительную долю основательности. «Дворянство, – пишет Г. Кошелев, – перестало существовать на деле... правда, оно еще собирается, имеет своих предводителей, свое депутатское собрание, но собственно дел сколько-нибудь важных у него не осталось никаких». Все это истинная правда, но как выйти из этого положения? Как наполнить досуг большого количества людей, как будто оставшихся за штатом? Ближе всего было бы сказать им: пользуйтесь теми правами, которые всецело при вас оставлены, пользуйтесь вашей сравнительно политической зрелостью и промышляйте о себе сами; но оказывается, что это легче сказать, нежели исполнить. «Мы не подготовлены! – вопиет провинция, – нас учили, что мы оплот! растолкуйте, по крайней мере, что это за должность, и какие соединены с нею права?» Вот невыгода туманных определений. Казалось, хорошее слово «оплот», и было даже время, когда все понимали его без толкований, и вдруг обнаружилось, что его даже объяснить нельзя! Обнаружилось, что, несмотря на скрывавшуюся за ним корпоративную связь, таких прав, за которые можно было бы удержаться, чтобы обставить ими новое положение, оно совсем не представляет.

Вследствие этого возникла потребность прибегнуть для устройства этого положения к искусственным мерам, и первою желательною мерой в этом смысле, конечно, представилась приписка к чему-нибудь.

Провинция не может понимать, не может терпеть человека, к чему-нибудь не приписанного. Куда же приписать? Казалось бы, всего естественнее для человека приписать его к свободе, но тут встречаются серьезные, почти непреодолимые препятствия. Что такое свобода? – Это, по мнению провинции, какое-то странное положение между небом и землею, это безвоздушная пустота. Выпустить человека на свободу значит подвергнуть его всевозможным бедствиям и горьким случайностям; это все равно что пустить его слоняться по свету без паспорта, заставить жить со дня на день в вечных поисках за куском хлеба. «Кто ты таков? – спросят его на первой заставе, – как твое имя и к чему ты приписан?» – Я ни к чему не приписан, – ответит свободный человек, – по упущению, я приписан к свободе. – «Так, значит, ты непомнящий родства? взять его в часть!» – скажет заставная стража, и скажет весьма основательно, ибо слыханное ли дело встретить человека, приписанного к свободе?

Понятно, что такое неопределенное, почти тревожное положение не может казаться привлекательным нашей провинциальной интеллигенции. Она привыкла, чтобы ее паспорта были безукоризненно чисты, чтобы, при появлении ее на заставах, не раздавалось никаких других восклицаний, кроме: «Подвись!» Да, надобно приписаться, надобно во что бы то ни стало. Куда? к дворянскому собранию? Но ведь у него даже дел никаких нет! К земству? но ведь мы и без того там находимся? ведь никто нас оттуда не выгоняет?

В том-то и дело, что приписка приписке рознь, что бывает приписка, на достижение которой нужно потратить немало времени, труда и способностей, и бывает другая приписка, которая приходит сама собою. Сверх того, надо приписаться не туда, куда бог пошлет, а именно «во главу», иначе нам не приходится. Но ведь вы сами же говорите, что земское дело – дело общее, всесловное; это же явствует и из смысла законодательства? Да; это так, но посудите сами: образованность, материальная обеспеченность... Очевидно, однако ж, что все эти оговорки очень плохо вяжутся с сущностью вопроса. Образованность и материальная обеспеченность, конечно, представляют права на внимание, но они никогда не считались в числе сословных принадлежностей и привилегий. По временам обстоятельство сосредоточивают эти блага в том или другом сословии; но невозможно же допустить, чтоб они служили для прикрытия сословных претензий. Перед вами человек, который имеет в свою пользу преимущество образованности – это несомненно делает ему честь; но было бы в высшей степени странно, если б он связывал с этим преимуществом какое-нибудь право, исходящее не из него самого, а напоминающее идею сословности...

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Но возвратимся к исходной точке настоящего письма. Не может подлежать сомнению, что провинция сама признаётся в своем бессилии. Даже в тех немногих случаях, когда ей действительно приходится задуматься над мыслью о необходимости обновить свои силы, она приступает к делу не прямо, а изобретает искусственную обстановку, не только не ведущую к разрешению возникающих вопросов, но положительно затемняющую их. Понятно, что при таком неумении освободить свою мысль, свои взгляды на положение, она остается на одном месте и не может извлечь всех выгод даже из тех реформ последнего времени, которые наиболее благоприятствуют ее развитию.

Крестьяне, между прочим, составляют один из главных кошмаров провинциальной интеллигенции. Как были они «меньшею братией», так и остались ею, несмотря на вновь открытые «великолепные свойства соединяться и не помнить зла». Они поголовно пьянствуют, они не выполняют принимаемых ими на себя обязанностей, они допускают безрасчетные разделы семей; словом сказать, совершенно отбились от рук, приобрели привычку грубить и почти утратили человеческий образ, сохранив однако... «великолепные свойства соединяться и не помнить зла». Не мешает прибавить к этому перечню, что, кроме того, они сохранили еще «великолепное свойство» уплачивать подати и отбывать натуральные повинности и что все расходы по части сближений и слияний должны пасть не на кого иного, а на тех же пьяных и отбившихся от рук крестьян. Мы охотно рисуем картины разврата русского крестьянина, а в результате оказывается, что нигде не выпивается вина так мало, как в России, и что в большинстве случаев от крестьян же идет инициатива относительно учреждения сельских школ. Это должно было бы воздержать нас от голословных обвинений.

Для того чтобы лучше понять, в каком виде представляет действительность общественное положение нашего крестьянина, возьмем для примера хоть вопрос о правоспособности. Говорят, крестьянин правоспособен, и действительно, мы думаем, что правоспособность крестьян составляет одно из лучших приобретений, данных реформой 19 февраля. Затем спрашивают: что же сделали крестьяне из этой правоспособности? Какую пользу они извлекли из нее для себя и для общества? Этого одного вопроса бывает совершенно достаточно, чтоб возбудить целый поток самых непринужденных шуток. Но позвольте, милостивые государи! Во-первых, этот вопрос можно предложить и не одним крестьянам, в пользу которых все-таки найдутся кое-какие оправдания, а и другим, для которых возможность оправдаться гораздо труднее; а во-вторых, ужели же не всем достаточно известно, что слишком часто намерения самые добрые и совершенно ясные не ограждены от сюрпризов самых невероятных и неожиданных? Стоит только сослаться на так называемые мужицкие бунты, чтоб убедиться в том, в каком тесном положении иногда находится крестьянская правоспособность.

Известно, что у нас в некоторых местностях ежегодно происходит по несколько бунтов. Это словно болезнь какая-то или, пожалуй, просто дурная привычка. Во всяком случае, это явление очень любопытное; но чтобы читатель не пришел от него в отчаяние и мог убедиться, что «черт совсем не так страшен, как его малюют», мы постараемся рассказать здесь один примерный бунт, не в том, разумеется, виде, как его обыкновенно малюют, а в том, как он зарождается и происходит в действительности.

В силу упоминаемой выше правоспособности, крестьяне, как и все вообще члены русской семьи, обладают правом петиции или ходатайства. Они могут терпеть стеснения со стороны поставленных для управления ими лиц, могут терпеть ущербы вследствие предпринимаемых относительно их и не оправдываемых законом мер; наконец, в качестве людей, они могут даже ошибаться, то есть видеть нарушение права там, где его в действительности нет, в каковые ошибки они впадают, впрочем, весьма осмотрительно, ибо знают, что от них, и только от них одних, требуется, чтоб они были мудры как змии и кротки как голуби. Состоя под ярмом общинного управления, они всякую меру, всякое распоряжение, а стало быть, и всякое злоупотребление закона ощущают живее, ибо ощущают его, во-первых, лично каждый за себя и, во-вторых, за всю общину. Отсюда необходимость сходок, необходимость общего совета, а так как целым обществом ходатайствовать неудобно и неучтиво, то из этого проистекает надобность в избрании ходоков или ходатаев. Кажется, до сих пор все идет законно, и ежели дело пойдет дальше своим естественным путем, то никакого замешательства от подобных ходатайств быть не должно. Если ходатаи правы – требуется удовлетворить их; если не правы – следует отказать, употребив, конечно, несколько лишних минут, чтобы отказ был выражен в форме для них вразумительной.

Но мы, провинциалы, смотрим на это дело иначе, ибо у нас на первом плане «принципы». В наших глазах крестьянин совсем не обыватель, а подчиненный. Ежели он прав, то хотя и можно удовлетворить его, но или только вполнину, чтоб очень не возмечтал, или не сейчас, а со временем и, во всяком случае, так, чтоб нельзя было приметить, что при этом обвиняется то лицо, на которое приносится жалоба. Обвинить начальника! да ведь это значит нарушить основной принцип! Entendons-nous, que diable! [27] Можно со временем, при случае, наедине заметить, распечь, можно даже отыскать какой-нибудь посторонний повод, чтоб приличным образом отделаться от неумелого, но обвинить его тут... сейчас, в глазах жалобщика – сохрани боже! это значит поощрять бунты. Это значит прямо сказать бунтовщикам: бунтуйте, голубчики! мы сейчас все по-вашему сделаем. Таков образ действия, на случай правоты. Если же ходатаи не правы, то история упрощается еще больше. Рассуждать с мужиком, доказывать, почему он не прав, объяснять, что обычное право, которым он зачастую руководствуется, не всегда находится в согласии с правом писаным, что он в известных случаях обязан отказаться от первого и подчиниться второму, – все это далеко не в наших обычаях. Это опять-таки значило бы поощрять бунты и вызывать к неповиновению властям. Мы любим, чтобы нас понимали сразу, даже в тех случаях, когда мы сами себя не понимаем; а если нас не понимают, то гораздо легче простереть руки, нежели надсаживать грудь объяснениями.

Таким образом, источник наших бунтов намечивается сам собою; он может быть формулирован так: бунты происходят от невозможности вывести какое-либо поучение из безмолвного или сопровождаемого односложными звуками простиранья рук. Затем уже начинается дальнейшее развитие зародившегося бунта.

Возвращаются сконфуженные ходоки домой и ничего толком рассказать не могут, кроме одного: всего довольно было! Однако общинники любознательны. Каждый из них, взятый порознь, может быть, махнул бы рукой, но их связывает общинное начало, которому дело до всего, даже до коробы крестьянской девки.

Ответ: всего было довольно! – не может удовлетворить общину. Этот ответ нимало не подвигает вперед ее дела, а это дело должно быть во что бы то ни стало подвинуто, потому что община не может ни выждать, ни извернуться. Во-первых, она слишком велика, чтобы извертываться какими-нибудь заменяющими средствами; во-вторых, она именно на то и община, чтоб все в ней было прочно и завгоя определено. И вот, община невольным образом решается продолжать свое домогательство, потому что ей некуда уйти от него, потому что это домогательство завтра вновь встанет перед нею в той же силе, как и сегодня. Это служит поводом для выбора новых ходоков, а так как неразвитый ум прежде всего поражается количеством, то, для пущей верности, число выборных увеличивается. Но с этими уже и не разговаривают, а прямо ведут в кутузку, потому что новая настойчивость общины кажется уже не проступком и недоразумением, а явным и сугубым посягательством к возмущению против властей.

Не будем описывать дальнейшие перипетии бунтовской драмы; они известны всякому, кто не на одну только минуту заглядывал в провинцию, а жил в ней и присматривался к ее делам. Спрашивается: ужели в этом факте (одном из множества) можно видеть хоть малый признак того, что называется самоуправлением? и ужели не первая обязанность людей, произвольно или по праву называющих себя «лучшими», обратить внимание на освобождение провинциальной жизни от той нестерпимой рутины, которая наложена на нее историей, хотя бы это было даже в ущерб некоторым несомненно полезным подробностям, составляющим ныне предмет слишком исключительной их заботливости?

Но покаместь довольно. Провинция говорит: «Ограничим круг нашей деятельности, ибо, в противном случае, мы можем раскидаться и растеряться». И, говоря таким образом, она думает, конечно, быть представительницею консервативного элемента, не подозревая, что последний имеет свои границы, переступив которые он становится уже не консервативным, а разрушающим и истоющим...

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Кавк делается русская деньга? Та русская деньга, которая, с одной стороны, служит на пополнение общего ящика, а с другой стороны, на удовлетворение эстетических потребностей досужных людей, – вот вопрос, которого отнюдь не следует предлагать нашим губернским историографам. Они, наверное, ответят, что деньга родится в голенище мужицкого сапога или по малой мере притаилась у мужика

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в спине. Больше ничего эти люди не знают, и, надо сказать правду, это неизреченное невежество странным образом способствует успеху тех операций, которые совершаются ими. Обладай они хотя скудным пониманием того, что происходит вокруг них, внеси они в свои действия, в свои отношения к людям и к делу хотя малейший признак сознательности, в них, бесспорно, не сохранилось бы и сотой доли той развязности и бессовестной решимости, которые обуревают их теперь.

– Куда девалась наша торговля? – вопрошают друг друга историографы, встревоженные тем, что говядина поднялась с трех до семи копеек на фунт, – помните ли, какое множество возов покрывало наши площади в базарные дни и какие были возы! чего-чего только на них не было! Куда все это девалось? спрашиваю я вас... *je vous le demande un peu!* [28]

И, не ожидая ответа, которого, впрочем, ни один из этих несчастных и дать не может, присовокупляет:

– Ммеррзавцы!

К кому относится последнее восклицание – этого, разумеется, не сумеет определить ни один историограф. Тут какая-то путаница, под которой скорее следует понимать общее, смутно чувствуемое положение вещей, нежели факты или лица. Тут и мужики примешались, и к нигилистам имеется какая-то темная прикосновенность, и еще о каких-то господах идет речь, которые никогда, впрочем, прямо не поименовываются, но известны под названием «подлецов» и «изменников».

Легкомыслие историографов вообще изумительно, но оно положительно не знает пределов, когда дело касается до причиненных им обид. В этом случае историограф решительно не знает, на чем сосредоточить бродячую мысль свою; он мечется из стороны в сторону, обвиняет, оправдывает; потом опять обвиняет, опять оправдывает. Ни к какому положительному заключению он никогда не приходит, так что можно подумать, что всю эту историю он для того только и затеял, чтоб обнаружить встревоженное состояние своей души.

– Нет! Это что – мужики! – говорит он с налитыми мадерой глазами, – наш мужик добр, смиврен, простосердечен! Он отдаст последнюю курицу, если видит, что отечество в опасности! *Vous comprenez... sa rou! sa dernière rou!* [29] Следовательно, не в мужиках зло, а вот в этих, в волосатых, да в тех, что бегают по ночам по Невскому с стриженными косами! Вот где корень всей смуты!

Через минуту:

– Нет! Это что – нигилисты! Что они бегают по Невскому стриженные – кому от того беда! Да по мне они хоть подошвы на головы завороты – еще вид приятнее будет! А вот где зло: в этих «изменниках», которые своим коварством, своею лестью... вот кого следовало бы пробрать!

И еще через минуту:

– И все-таки я утверждаю: весь корень зла в мужике! Там что ни говорите, а около него вся смута вертится. Покуда он был в ежовых рукавицах, он был прекрасен. Он был трудолюбив, послушен и простосердечен. Он отдал бы последнюю курицу... *Vous comprenez... sa rou! sa dernière rou!* Чтоб только выручить отечество в минуту опасности! Теперь – куда все девалось? спрашиваю я вас: где у него, черта с два, эта последняя курица?

И вдруг, как бы спохватившись:

– А всё они! всё эти скверные стрижки! Они там ходят, заворотивши подошвы, и прельщают полицейских, а мы здесь расхлебываем! И вот еще те! эти подлецы и изменники!

Одним словом, это тот самый порочный круг, в котором можно проблуждать всю жизнь и никогда не почувствовать ни малейшей неловкости. Как ни кинь – все ладно; как ни скажи – все хорошо.

А между тем вопрос о том, как делается русская деньга, есть именно один из тех, в разрешении которых заключается вся суть нашего провинциального существования.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Независимо от того, что процесс зарождения и образования деньги сам по себе очень интересен, разъяснение его представляет единственный ключ, с помощью которого мы можем проникнуть в самое святилище нашей провинциальной заботности. Чтоб облегчить читателю этот труд, возьмем, на первый раз, хоть один из способов делания русской деньги, и именно тот, который преимущественно ставит в тупик наших историографов и который на официальном языке известен под именем торговли и промыслов.

Начать с того, что наши историографы все виды торговли смешивают в одно смутное и легко расплывающееся понятие. Они судят о торговле по тем пирогам, которые едят по воскресеньям у градских голов, у оптовых складчиков и, в последнее время, у различных прохожих молодцов, сделавшихся, к своему собственному изумлению, предпринимателями железнодорожного дела. Вкусив пирога и слегка посоловав от возлияний, историограф рассуждает так: «Стало быть, торговля возможна, коль скоро этот почтенный негодник угощает меня такими отменными пирогами? Отчего же на площади дело имеет совсем другой вид? отчего там, вместо прежних десяти – двадцати возов, стоит нынче какой-то один тощий возишко? Не оттого ли, что этот почтенный негодник – простой и добрый русский человек, который и об начальстве думает, и для себя копейку бережет, а те, прочие, – люди злые и развращенные, которые последнее свое добро тащат в кабаки?»

И, поощренный этим силлогизмом, он делается шаловливым и пускается в расспросы.

– Ну, а как, Иван Иванович, – спрашивает он своего амфитриона, подмигивая одним глазом, – если этак копнуть кубышечку-то... барышки, чай, изрядные окажутся?

– Чтов же собственно изволите желать знать, ваше растаковство? – спрашивает, в свою очередь, негодник, не могущий сразу взять в толк вопроса.

– Ну, например, с ведра... или там с куля?

– По малости, ваше растаковство. Конечно, благодарение господу, без пользы не торгуем. Есть, ваше растаковство, такая пословица: с голого по нитке – сытому рубашка! – заключает негодник, сам усмехаясь своей остроте.

– *Void le bon!*[30] – восклицает историограф и, утешенный ответом своего амфитриона, еще более погрязает в уверенности, что развитие торговли находится в прямой зависимости от добросердечия и простоты нравов и что люди, которые не торгуют и не занимаются промыслами, делают это просто на смех, потому что они «злые».

Нет спора, что историограф в этом случае подкуплен возлияниями. Но дело не в том, чем и как он подкуплен, а в том, что с этой минуты его ни под каким видом не вышибешь из позиции. Он не понимает, что деньги, о которой шла речь в разговоре с негодником, совсем не та, по поводу которой у него щемит сердце. Эта последняя деньги родится в другом месте и служит для сооружения совершенно иного пирога, пирога абстрактного, которого никто в натуре не видел, но о котором всякий из членов так называемой российской интеллигенции может рассказать самые мельчайшие подробности, точно так, как бы он вынул и воочию стоял между нами, вполне сервированный. Мы подходим к этой фикции, закусываем, пляшем, говорим *des amabilités*, [31] измышляем мероприятия... и увы! все-таки не знаем, как этот пирог сооружается! Мы чувствуем только, что в последнее время это сооружение пошло как-то вяло, и, не понимая, в чем тут сила, прибегаем за объяснениями к негодникам, для которых решительно все равно, почему мы покупаем на рынке говядину и много ли терпим от того, что в целом городе нет ремесленника, который был бы способен пришить пуговицу к сюртуку.

Этот негодник, с которым так благодушно беседуют наши историографы – нуль или почти нуль в том отвлеченном пироге, в постройке которого мы преимущественно заинтересованы. «Польза», о которой он так скромно повествует, есть его собственная, личная «польза», и от нее в общий пирог упадет разве микроскопическая крупица, да и та упадет только для видимости, а в сущности немедленно вновь займет место в кармане своего законного обладателя, да еще и не одна, а в сообществе многих других крупиц. Для того чтобы видеть наглядно, как делается русская деньги, надобно оторваться от негоднического пирога и отправиться вглубь, в какую-нибудь богом забытую Крапивну, или в утопающий в навозе Керенск, или, пожалуй, даже в цветущий фабриками Егорьевск. Только там можно настоящим образом насладиться зрелищем, как сооружается тот пресловутый

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru всероссийский пирог, который некогда доставлял нам столько радостей, а теперь служит источником одних огорчений. Так мы и делаем, то есть поедем не в Крапивну, не в Керенск и даже не в Егорьевск (упаси нас бог вступать в какие-нибудь пререкания с почтенными жителями этих городов!), а просто в какую-нибудь называемую городом дыру, про которую и в народе как будто сама собой складывается пословица: такой-то город (имя рек) черт три года искал, да так ни с чем и отстал!

Летом ехать хорошо. Воздух теплый, тракт широкий, вольный; по бокам дороги зеленеют ракиты. Правда, что колеса экипажа непрерывно врезаются в колеи, что при въезде на каждый мост, на каждую трубу путнику неизменно взбудораживает все внутренности, что, наконец, тончайшая пыль, то черная, то бурая, то желтая, забирается и в глаза, и в уши, и в нос; но оставим в стороне эти мелкие дорожные неудобства и будем благодарить судьбу, позволившую предпринять наше путешествие летом, а не зимою. Справа и слева у нас мелькают города. Вот направо: город Соломенный, город Навозный; вот налево: город Мякинный, город Глупов. Заглянем в него, благо мы там уже бывали.

Мы много наслышаны о Глупове из газет. В прошлом году он устроил такую иллюминацию (не пожар, а настоящую иллюминацию из смоляных бочек, плосек и шкаликов), от которой было небу жарко; в третьем году он задал фейерверк (тоже настоящий); в четвертом году – какого-то заезжего историографа так угостил и возвеселил, что тот после этого десять станций скакал сломя голову и не мог прийти в себя, покуда не прискакал в город Полоумное, где его опять угостили и возвеселили до потери сознания. Все это припоминается нами в ту самую минуту, когда мы въезжаем в предместье города. Оно не поражает великолепием; по обеим сторонам дороги стоят крошечные избы, изредка вымазанные глиной и сплошь крытые почерневшей соломой; улица довольно равномерно вымощена перебродившим и вытолченным навозом; колеса тонут в густой, непросыхающей массе; лошади едва передвигают ноги; ямщик гикает и хлещет кнутом, потому что без этого средства они наверно станут. По сторонам также лежат кучи навоза, около которых хлопотливо суетятся тощие куры; у ворот, позевывая, стоят сердитые, с насупленными бровями, мужики; около домов мечутся тощие, бледные женщины. Русская женщина везде одинакова; и в городе и в деревне она вечно что-то ищет, какую-то потерянную булавку, и никак не может умолчать, что находка этой булавки должна повести за собой спасение мира. Там и сям виднеется вывеска питейного дома и стоит почерневший и покачнувшийся на сторону стол, на котором положено нечто такое, чему нет имени: бублики не бублики, калачи не калачи, что-то серое, белесоватое, почти ископаемое...

– Так это-то ваш город? – обращаетесь вы к ямщику.

– Нет, это не город, – отвечает он, – это только Поганая слобода! а город вон он – за мостом!

И действительно, меньше чем через минуту вы переезжаете мост над речкой, берега которой сплошь унизаны навозными кучами, и въезжаете в город. Опять навоз, опять экипаж и лошади тонут, с тою только разницею, что прежде вы ехали по ровному месту, а теперь приходится карабкаться по косоугору. С правой стороны косоугора, во рву, вьется та самая речка, которую вы только что переехали и от падения в которую с крутизны косоугора вы защищены жидким баясником; впереди виднеется соборная колокольня, выкрашенная усердием обывателей в голубую краску; неподалеку от нее белеется здание присутственных мест и неизбежный острог. Те же бревенчатые домики, покрытые соломой, тот же навоз, те же покачнувшиеся столы, и вдруг ряд каких-то странных построек, не то будок, не то шалашей. Это центр города («le Kremlin», [32] как выражаются историографы), это средоточие его торговли. Тут вы можете во всякое время найти веревку, несколько аршин ситцу, заржавевшую от времени колбасу, связку окаменелых баранок, пару лаптей и проч. Тут же стоят каменные хоромы купца Белобрюхова, в нижнем этаже которых расположена бакалейная лавка, мучной лабаз и ренсковый погреб. Это тот самый негодник Белобрюхов (le bon [33]), у которого местные историографы едят по праздникам пироги и который со всего собирает по малости. Едва вы въехали в город, как уже видите конец его. Иногда (если Глупов не черноземный, а промышленный) за этим концом синееет большая река, знаменитая своими песчаными перекатами; если эта река существует, то по берегу ее устраивается набережная, обстроенная каменными домами, в которых уютятся те же негодники Белобрюховы, с бесконечным числом складов, амбаров, ворот, железных запоров и суетящимся людом приказчиков, рабочих и т. д.

Но вот и постоялый двор. Гостиниц в городе нет, а ежели и есть какие-то странные заведения, носящие это имя, то они отличаются именно тем, что в них невозможен приют ни для чего живущего. Двор довольно обширен и покрыт навесом; темно, грязно, воняет. Среди общей тишины слышатся какие-то особенные звуки: лошадь фыркнет, свинья взвизгнет, голубь перепорхнет с места на место. Вы вступаете на крылечко, которого половицы колеблются под ногами; затем темные сени, в углу которых пытит самовар; затем ряд сколоченных из сосновых досок дверей, неокрашенных, необитых; на одну из них вам указывают. Вы в горнице.

Нет ничего унылее, как русский уездный город летом, особливо часов с десяти утра до шести пополудни, когда жар не то что палит, а словно льет с неба и окачивает человека с головы до ног. Вы не уверены, что город не спит, но в то же время не можете утверждать и того, что он спит, потому что повсюду слышится не то что движение, а какой-то странный шорох, как будто где-то кто-то роется... По временам в окошко, около самого вашего уха, совершенно неожиданно раздаётся окрик, с трудом вылетающий из пересохшего горла:

– Клубнички... не надо ли... клубнички!

Перед вами стоит баба в белой рубахе, в такой же, испещренной красными узорами, юбке и с цветною повязкой на голове. Она предлагает через отворенное окно плетеную коробью краснобокой и пахучей лесной клубники и сама между тем отирает рукавом пот, горошинами выступающий на лице. Очевидно, она рада остановиться у вашего окна, потому что тут она, по крайней мере, в тени. Она уж с час шляется по улицам, заглядывает во все окна, во все двери и нигде никого не видит, кроме лениво вспархивающих при ее приближении голубей. И вот, наконец, перед нею живое существо, устроившееся около окна и как будто прислушивающееся к преисполненной шороха тишине...

– Чтов стовит? – спрашиваете вы бабу, не столько соблазненные видом захватанной клубники, сколько чтоб положить конец ее бесплодным странствованиям.

– Десять копеек, – отвечает она, но таким голосом, как будто сама удивляется своей дерзости.

– Et jadis on ne payait ça que deux kopeks! [34] – восклицает выросший тут же словно из-под земли историограф, – и заметьте, что ведь они торгуют без всяких патентов... ммerrзавки!

Вы колеблетесь. Первым вашим движением было заплатить десять копеек, но теперь, после слов историографа, вам кажется, что дать сразу такую грудую денег – значит либеральничать, значит баловать народ и поселять в нем дух революций. Вам приходят в голову тысячи сентенций прежнего доброго времени о том, что состояния наживают копейками, о том, что копейку нужно беречь пуще глаза, и вы невольно начинаете выказывать непоколебимую твердость души.

– Шесть копеек! – говорите вы, соображая, что десять да два – двенадцать, разделенные на два, составляют шесть.

– Батюшка! дай хоть восемь! – канючит тот же надтреснутый, словно силой выдавливаемый из горла голос.

На этот раз либерализм торжествует; восемь копеек выложены и отданы; баба улепетывает домой, верст за пять, счастливая и утешенная. Нет сомнения, она даже думает, что порядком-таки надула вас. Лёгко ли дело! Она встала в три часа утра, часа два нагибалась, собирая клубнику; потом, убравшись около дома, час шла в город, более часа шлялась по дворам и теперь употребит час, чтобы возвратиться домой... и восемь копеек! Такой результат хоть кому даст крылья! И конечно, она отнюдь не пренебрежет этой благостыней и завтра же опять явится у вашего окна с такую же ношей клубники, и если вас уже не будет в городе, то глубоко и горько вздохнет...

Это первый и самый простой вид торговли, той торговли, которая именуется свободною и которая разрешается всякому, имеющему возможность отдать пять-шесть часов времени за восемь – десять копеек.

Баба ушла. Опять не слышно человеческого голоса, опять тот же смущающий душу

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru шорох. Напротив, через улицу, в деревянном некрашеном доме, белеются кисейные створчатые занавески, закрывающие только нижние два стекла окон и засиженные мухами; сквозь занавески и посверх их виднеется какая-то масса, не то одевающаяся, не то раздевающаяся. Бог весть откуда, словно полоумная, бежит стремглав индейка, завидевшая, что вы чтов-то едите и чтов-то кидаете в окно. А солнце так и льет целые волны зноя.

– Уж я, брат, не обману! уж коли я сказал, что животное хорошая, так бери с богом! – раздается голос на дворе.

Заслышав этот голос, вы покидаете «горницу» и отправляетесь на крыльцо. В уездном городе все настороживает чувства, все возбуждает любопытство. Желание хоть чтов-нибудь высмотреть или услышать овладевает человеком невольно, когда кругом царствует только безмолвие. На дворе, под навесом, стоит на коленях бородатый мещанин и режет овцу. Он режет ее потихоньку, не торопясь; порежет, воткнет нож в навоз, вздохнет и опять примется резать. Хозяин овцы (он же и хозяин постоянного двора) стоит подле и смотрит. Овца лежит смирно, до такой степени смирно, что в вашу душу закрадывается ужас. Ее не нужно даже связать, чтоб резать; она упрямится только тогда, когда ее выволакивают из хлева, в который ее предварительно загоняют вместе с прочими подругами, предлагаемыми на выбор. Но как скоро она уже на месте, то беспрекословно ложится на бок, беспрекословно протягивает вверх голову и ждет. Раз... раз... раз... Показывается небольшая струйка крови, затем какая-то нерешительная корча... еще и еще... все кончено!

– Ишь! – говорит бывший хозяин овцы, взирая, как она подрыгивает ногами.

Другие, выпущенные из хлева, овцы не вдруг идут за ворота, а останавливаются и как будто удивляются, какие такие неслыханные почести посыпались на их недавнюю подругу.

– Смотри, гривен семь на животине выгадаешь, – продолжает хозяин и, как будто сам дивясь своей умеренности, прибавляет, – какое семь гривен! тут, брат, рублем пахнет – вот чтов!

– Оно, конечно, рублик нажить можно, – отвечает бородатый мещанин, распяливая свою жертву на досках, перекинутых через прясла, и принимаясь тем же ножиком отделять шкуру от мяса, – да ведь тоже пить-есть, Прохор Прохорыч, нужно; опять же патент годовой взяли – его воротить тоже требуется.

Это уж торговля по патенту. Вы узнаете, что город Глупов, несмотря на иллюминации и фейерверки, почти не ест говядины (в особенности летом), что мясников, однако, в городе довольно и что редкий из них выручает барыша больше, нежели на полтину в день. Между тем на эту торговлю нужно выправить в казне свидетельство мелочного торга, которое в уездном городе стоит от 8 до 15 руб., да билет к нему ценой от 2 до 6 руб., и сверх того заплатить разные сборы в город и земство.

– Зачем же вы торгуете? – спрашиваете вы у этих своеобразных негодяев, изумленные ничтожностью результатов – неужели нет других способов зарабатывать деньги?

– А куда деваться, позволь тебя спросить? – ответит вам один, – нам и утопиться-то негде, потому наша река и для этого даже не годится!

– Все мы, сударь, около рублишка ходим! – ответит другой, – день не поешь, на другой поневоле начнешь поворачиваться! Убоину-то мы, сударь, только в светло-христово воскресенье да об рождестве едим!

– Вот хоть бы наш мясной торг, – вступает мещанин, только что зарезавший овцу, – здесь, в городе, говядину почесть что один исправник и ест! Зарезал теперича барана да и бейся с ним два дня, а на третий, гляди, он протух!

– Да ведь можно же отыскать какое-нибудь другое занятие, более прибыльное! – настаиваете вы.

– Ты выдь на улицу да и посмотри на все на четыре стороны! может, и найдешь чтов-нибудь, а нам не слышать!

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Бьет два часа; с одной стороны, одолевает скука, с другой стороны, начинает напоминать о себе голод.

– Где бы у вас в городе пообедать? – спрашиваете вы у хозяина.

Он смотрит на вас такими изумленными глазами, как будто вы у него спросили, где бы достать взаймы миллион рублей.

– Где обедать? – смущенно повторяет он ваш вопрос.

– Да ведь у вас есть гостиница?

– Гостиница... оно точно... только в ней кушанья не готовят... Чай, водка – это имеется!

– Сами-то вы что же nibудь да едите?

– Сами... едим! Только вы нашего кушанья есть не станете! – прибавляет он каким-то таким убежденным тоном, что у вас мгновенно пропадет всякая охота узнавать, чем питается ваш хозяин.

Вы узнаете, между прочим, что года два тому назад в городе существовал клуб, и тогда приезжий мог два в неделю найти себе обед, ежели попадал в счастливые дни, но клуб существовал только три месяца, потому что никто туда не ездил, а те, которые ездили, не платили денег.

– Нельзя ли достать хоть хлеба белого к чаю? – спрашиваете вы, соглашаясь мало-помалу на компромисс.

– Хлеба? – опять повторяет хозяин, – хлеб здесь по субботам поляки пекут, а теперь... да нет, вы нашего хлеба есть не станете!

– Какие же это поляки пекут хлеб?

– Да ссыльные... пекут про себя, ну, и прочие пользуются...

Вы совершенно сконфужены. Вы спрашиваете себя: как существует этот город? и каким образом случилось, что в городе, имеющем все-таки тысячу жителей, устраивающем по временам «премиленькие иллюминации», вы не можете дня прожить, чтоб вдоволь не наголодаться?

Мимо города чуть не каждый день проходят гурты, едут возы, нагруженные живностью, телятами и проч., а говядину (в летнее время) можно иметь только в базарный день, к которому бьют какую-нибудь злосчастную корову, переставшую давать молоко. Все, что везется или гонится, – все это направляется в Москву или в Петербург, а несчастный город глядит и даже губ не облизывает: так уж он свыкся с мыслью, что все, что съедобно, удобно или приятно, существует не для него. Если в городе существует река, и вы любопытствуете, как идет рыбный промысел, вам ответят, что рыбы стало совсем мало, и всякий объяснит вам это исчезновение по-своему.

– С тех пор, как эти пароходы пошли, – скажет один, – совсем у нас в реке рыбы не стало.

– Что врешь-то! – возразит другой, – кабы пароходы разогнали рыбу, все-таки она куда бы nibудь девалась, а то ее и везде, по всей реке, стало в десять да в двадцать раз против прежнего меньше. А ты вот что лучше скажи: весной, мол, ваше благородие, в то самое время, как ей икру метать, эту самую рыбу вылавливают, ну и плодится она год от году меньше.

Во-вторых, вам скажут, что хотя рыба в садках и есть, но не для местного употребления, а опять-таки для Москвы и для Петербурга, куда она уж и запряжена.

– Что ж, наконец, тут едят? – спрашиваете вы уже с некоторым любопытством.

– Да кому у нас, сударь, есть-то? – ответят вам, – разве что вот у исправника

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru столы бывают, а что про прочих жителей можно сказать одно: едят, что бог послал.

И, подумав немного, непременно присовокупят:

– Вы нашего кушанья и есть-то, сударь, не станете!

В городе два училища: уездное и приходское, но что в них делается – про то знают только те немногие дети, которые посещают их; никто из взрослых этим делом не интересуется. Нет ни клуба, ни библиотеки; читать нечего и негде. В конце пятидесятых годов, когда всякий литератор-обыватель не иначе начинал свою корреспонденцию, как словами: «В наше время, когда...», штатный смотритель училищ завел было кой-какую скудную библиотеку, и просвещение в городе на мгновение просияло; но в 1862 году оно опять потухло, и просиял навоз. В почтовой конторе получается несколько экземпляров журналов и газет, но подписчиков, живущих в городе, почти нет, а выписывают материал для чтения только помещики, попрятавшиеся в своих усадьбах.

Куда деваться? что делать?

Седьмой час; жар начинает понемногу сдавать, хотя все еще печет. Вы видели какое-то подобие движения в третьем часу, когда приказные вереницей потянулись из присутственных мест по домам отведывать того кушанья, которого вы «есть не станете», и за ними, из тех же присутственных мест, выбрело с пяток мужиков, очевидно, искавших себе удовлетворения у местной фемиды. Почти такое же движение оказывается и теперь; опять плетутся приказные, но уже в обратном смысле; все направляются из домов в присутственные места для вечерних занятий. Выйдем мы и заглянем в средоточие местных торговых интересов, в так называемые ряды.

Ряды эти состоят из одного-двух десятков деревянных построек, потемневших от времени и сильно накренившихся набор; там и сям расположены дощатые прилавки с устроенными над ними от жару и непогоды навесами; у прилавков сидят старые и молодые торговки и что-то вяжут, переговариваясь между собою. Под столами, в коробьях и лукошках, заключается запасной товар; на прилавках тот товар, который предлагается покупателю. Первую роль играют гречневика, гороховый кисель и ржаной хлеб. Сбоку: в искалеченном чайнике – конопляное масло и в кружке – какое-то темное сладковатое пойло, которое называется суслом. Когда покупатель желает приобрести гречневик, торговка предварительно повалит его в руках, польет маслом и затем уже подаст потребителю. Очевидно, что это и есть то самое кушанье, о котором вам говорили, что «вы его, сударь, есть не станете».

– Ну, что, как торгуете?

– Какая наша торговля! всех-то нас собрать – десяти копеек дать не за что.

– А вы бы, старушки, поживее!

– Чего тут! еще зимой ништов: мужики ездят – иной раз и на полтину поторгуешь, а летом и вовсе худо. Да хорошо еще, как за день-то тебя не убьет кто-нибудь!

– Уж и убьет!

– А то как же! то чиновник палатский на тебя налетит, то из думы, а тут еще полиция – штраф подавай!

– Это значит, что вы не снабжаете себя своевременно документами! поймите, старушки, ведь это тоже нехорошо!

– Нехорошо-то нехорошо, что про то говорить. Только и тягости-то нонче очень уж велики стали.

– А как?

– Да вот как: ты вот видишь ли этот стол? так это, сударь, не стол называется, а «торговое помещение», и потому отдай за него в думу два рубля. Потом чиновник палатский даст тебе билет – этому заплати четыре рубля, потом в земскую сорок копеек... а робят-то! робят-то! и на что только они, каторжные, на свет урожаются!

письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Ну, вот видите ли, какое вам снисхождение делается! Вы, по-настоящему, билет-то еще в декабре прошлого года должны были выправить, а вам чиновник выдал его уже в мае, при проверке торговли. Штраф ведь за это с вас следует.

– И то взыскивают. Только у нас, барин, у всех-то вместе четырех рублей никогда не бывает, так нам пожалуй что и все равно!

– Да ведь в законе-то сказано: «Если кто откроет без взятия свидетельства или билета промышленное заведение... то таковое должно быть немедленно закрыто». Как же не закрывают ваши «заведения»?

– И закрывали! не один раз уж закрывали! «Ступайте, говорят, вон, плёхи!» Ну, а мы тоже свое: куда, мол, ваше благородие, идти прикажете? нас и земля-то не принимает!

– Чтов ж «он»?

– Чтов! постоит-постоит, разведет руками, скажет: «курвы!», да и пойдет прочь.

Мы подходим напротив к лавочке, в которой ведется так называемый мелочной торг. Мешок с крупю, другой с ржаной мукою, третий с мукой пшеничной второго или третьего сорта; несколько пучков веревок, связка гвоздей, обрезки железа, с десяток фунтов сальных свечей, осколок сахару, банка, на дне которой рассыпан пыльный чай, кусок мыла, несколько пар висящих лаптей – вот внутреннее убранство лавочки.

– Кавк поторговываете?

– На десять копеек товару-с, на рубль хлопот-с!

– Чтов так?

– Продажи нет-с. Народ, значит, обнищал. Никому ничего не требуется-с.

– Однако барыши все же должны быть?

– Уж это разумеется-с; без барышов как же возможно! На полтину в день торгуем, а ино место и рубль выручишь!

– Кавк же вы делаете? Кавк воспитываете детей?

– Мрут тоже-с. Стараемся, кажется, довольно, а всё как-то надежды не видим. Год-то бьешься-бьешься, а к концу либо ничего не останется, либо сам еще Белобрюхову задолжаешь!

– Станный, однако, у вас город! не ест, не пьет; целые дни либо на солнце печется, либо на морозе зябнет – и все не впрок!

– Так уж ему, сударь, удалось. Осмелюсь доложить, что тягости наложены на нас уж очень беспримерные!

– Например?

– Как же-с! Вот теперь за это пристанище в думу пять рублей заплати; за свидетельство в казначейство десять рублей снеси, за билет к нему четыре рубля, да в земскую – рубль сорок. Денег-то сколько вышло! Год-то торгуешь, а к концу и разноси барыш по мытарствам, да, пожалуй, еще на стороне где-нибудь перехвати! Вон этим плёхам рай, а не житье! – прибавляет мелочник, указывая на торговок, – а наша жизнь – как есть каторга!

– Чем же, однако, их житье лучше вашего?

– Их-то! да помилуйте! они и патентов никаких не знают; так, по-дворянски блаженствуют! Намеднись, палатский чиновник приезжал: берите, говорит, старушки, патенты! А на чтов нам, говорят, твои патенты! мы и без них с голоду умереть свободны! Сволочи!

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– А вам без патента нельзя?

– Нам-с? нам это никогда невозможно. Потому, у меня «заведение» настоящее, закрытое, с дверями, как следует. Сейчас это пришел депутат с полицейским, закрыл двери, запечатал... куда я пошел? А им разве можно запретить! сегодня ты ее с места согнал, а завтра она опять либо тут, либо на другом месте чулок вяжет! И какую они, сударь, пакость нам делают! так и рвут, так и рвут к себе покупателя!

– Однако ведь они совсем другим товаром торгуют!

– Да и мы бы ихним товаром торговать стали, потому что товар нужный, ходкий; только против их потрафить никак невозможно! Ты две копейки, она полторы! сколько мы на них жаловались – все толку нет! Вот тут, подле, сосед красным товаром торгует, так против него этакая же тесемщица проявилась – не дает торговать, да и шабаш!

Таким образом идет мелочная розничная торговля. Всякий торговец непременно пожалуется на недостаток потребителей, на возрастание конкуренции и на тяжесть налогов. Всякий готов перервать горло своему соседу, нажаловаться, наябедничать, и в результате этой вражды, этой ненависти, при самых удачных обстоятельствах, получается полтина.

– И куда только покупатель девался? словно он, сударь, сквозь землю провалился! никому ничего не надо! – раздается со всех сторон.

Один купец Белобрюхов не унывает. В его каменных палатах вы можете найти все: тут и ренсковый погреб, тут и бакалейная лавка, а на дворе анбаров, анбаров! Но зато он объявляет капитал по второй гильдии и, имея до десяти помещений, платит в казну за одни свидетельства и билеты (по 4-му классу) сто тридцать пять рублей, за членов семейства (до десяти человек сыновей, братьев, дядей и проч., записанных в один капитал) пятьдесят рублей, за двоих или троих приказчиков 2-го класса пятнадцать рублей и в земскую управу около пятидесяти рублей, всего, стало быть, около двухсот пятидесяти рублей. Исполнивши это, он может делать обороты на миллионы и радоваться на мир божий, сколько душе угодно. Для него не существует ни повышения цен, ни понижения; это торговец основательный («le bon»), и цены у него всегда настоящие. Рядом с ним, в его же доме, торгует красным товаром некто Поганкин, который продает в год на тысячу рублей и тоже уплачивает до ста рублей в год, потому что продает ситец (товар купеческий) и сверх того записывается в гильдию, чтоб избавить семью от рекрутства.

– Кабы не рекрутство, – говорит он, – какой же черт толкал бы меня в гильдию лезти!

Таким образом, в городе оказывается до пятидесяти гильдейских капиталов, а в сущности купцов только двое: Белобрюхов и Белобоков. Они едят и по будням и по праздникам щи, которых «не продуешь», пироги и свинину; они спят на перинах и с перепою не чувствуют даже клопов. Все остальное питается чуть не древесной корою и спит вповалку на войлоке, а подчас и на той ветхой «ловпоти», в которой слоняется днем.

Однако в рядах больше делать нечего; везде бедность, завидующая бедности же и кланяющаяся в пояс богатству. Бедность разрозненная, забитая, разбегающаяся врассыпную при одном имени Белобрюхова. Зато Белобрюхов устроил бульвар по берегу реки, исправил какой-то въезд, основал богадельню на десять человек, внес десять тысяч на основание общественного банка и теперь серьезно помышляет о железной дороге. Граждане не нарадуются им и с гордостью говорят, что и их город будет в скором времени соединен железным путем с обеими столицами.

– Что ж, навоз, что ли, вы перевозить будете? – спрашиваете вы у чересчур расхваставшегося обывателя.

Обыватель очень чувствительно оскорблен вашим вопросом.

– Навоз не навоз, – говорит он, – а всякое произведение. Примером, теперича, коноплю, рожь, овес, говядину, сало, лен, пеньку, веревку, рыбу, клей, солод, щетину, перьё, птицу, свиней, мед, воск, деготь, поташ, мыло, смолу, хмель, спирт, шерсть, холст...

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Он поименует вам целую уйму разных названий. Слушая эту разнообразную номенклатуру, вы изумитесь, но ежели вникнете в сущность дела, то поймете, что все эти названия способны только испортить ныне существующие способы сообщения и нимало не напитать способов сообщения усовершенствованных.

– У нас, сударь, третьего года такую иллюминацию задали – страсть! стало быть, будет чтов перевозить! – прибавляет словоохотливый обыватель.

Но воротимся на постоянный двор. У ворот высыпало все хозяйское семейство и, позевывая, наслаждается вечерней съестой. «С чего они зевают? – думается вам, – неужто с голоду?» Тут же приютилась какая-то темная, юркая фигура в затасканном и местами прорванном сюртучишке, в которой вы узнаете бывшего дворового господ Беспорточных, Ардашку.

– Ба! Ардальон! здорово!

– Здравия желаем, ваше высокоблагородие! – восклицает Ардальон, видимо желая выкинуть какой-нибудь артикул, но не успевает в этом, по недостатку потребной для того физической силы.

Вы знаете Ардальона с детства. Он всегда был малый проворный и смысленый; в доме помещика он был очень хорошим портным; и по оброку ходил, и в наказание за всякие провинности был высылаем в деревню, где одевал и обшивал весь дом. Никогда его не замечали пьяным, кроме, разумеется, годовых праздников, которые он неизменно и неизбежно проводил без чувств.

– Золотые у этого человека руки! – говаривал про него господин Беспорточный, – и, кажется, ежели бы не чарочка да не женский подол, никакому бы Шиллингу и Тёпферу (знаменитые в то время портные в Москве) перед ним не выстоять!

Теперь этот человек очутился на воле, или, иными словами, он пущен в пространство с увольнительным свидетельством в руках и в продранном сюртучишке. Естественно, он тотчас же устремился в город. Но каково же было его изумление, когда он узнал, что в городе никому ничего не нужно; что тут никто не ест, не пьет, не обувается, не одевается и что, вдобавок, с него требуют рубль серебром «на призревание» да еще два с полтиной за патент!

– Ну, чтов, как дела? – спрашиваете вы его, но, оглядевши с ног до головы его фигуру, начинаете понимать, что вопрос ваш по малой мере излишен.

– Чтов дела-с! наши дела как сажа бела!

– Чтов так?

– Работать не дозволяют!

– Не может быть!

– Точно так-с. Намеднись сию я, это, в квартире, жилетку господину Белобрюхову работаю. Вдруг входит чиновник: «Ты чтов делаешь?» Я даже сам испугался, точно и невесть какое преступление делаю. – Жилетку, говорю, для господина Белобрюхова шью. – «А патент, говорит, есть?» – Какой патент? – Тут я, сударь, узнал, что работать без патента воспрещается-с, а цена ему два с полтиной. Тут же и акт об этом составили, что я, значит, обманым манером работаю, а через два месяца вышло решение: взять мне патент и взыскать, кроме того, другие два с полтиной, а до тех пор «заведение» мое запечатать. Вот и все мое ремесло.

– Какое же заведение закрыть? магазин, чтов ли, у тебя был?

– Какой магазин! так, угол нанимал у одного мещанина! Уж и мы с полицейским тогда дивились, какое такое заведение опечатать! Только полицейский все-таки вывернулся: «Заведение, говорит, я твое опечатать не могу, а инструмент отберу!» Было у меня тут игол с дюжину – взял, завернул в бумажку и запечатал; был кирпич (род подушки, в которую портные втыкают иглы) – тоже взял и опечатал; даже к столу, на котором я сидел, и к тому приложил печать!

– А ты бы спросил: чтов ж тебе теперь делать?

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – И то спрашивал. «Нечего, говорит, теперь тебе другого делать, кроме как в кабаки идти!»

– Чем же ты живешь?

– Чем живу-с? кой-куда в дома пошить зовут, тем и кормлюсь! а впрочем, какой у нас город, только что зовется городом! Кто побогаче – нашей работой гнушается, в Москве да в Петербурге норовит амуницию себе шить, а победнее, так и сам иглой ковырять может.

– Видно, брат, богатому везде хорошо, а бедному везде худо. Так-то.

– Так точно-с. Только этим и обнадежены, – отвечает он и потом, спохватившись, что сказал глупость, продолжает, – вот, сударь, чтыв я хотел вас спросить: какв теперича жить нам будет?

– А что?

– Да вот-с: третьего года город-то наш горел, прошлого года ничего, кроме лебеды, в уезде не уродилось, а нынче, слышно, скотина вавльмя валится.

– Бог поможет, справитесь как-нибудь...

– Это точно-с. Велика милость божья.

– Подати будут заплачены? Не так ли?

– Это так-с. Господин исправник на этот счет довольно строги. Как ни хоронись, а под рубашкой всегда эта подать найдется!

– Нехорошо, Ардальон! Роптать, братец мой, – это последнее дело.

– Уж на чтыв хуже! Однако прощения просим, ваше высокоблагородие.

Ардальон уходит. Уже совсем смерклось, а вас одолевает зевота. Все, чтыв можно было высмотреть в городе, все высмотрено. Два, три часа времени – вот все, чтыв нужно, чтобы его внутренняя жизнь выступила наружу. Конечно, вечером заметно как будто больше оживленья на улицах: семейство исправника проехало в долгуше, купец Белобрюхов пролетел на тысячном рысаке, запряженном в одноколку; вереница чиновников, с папиросами в зубах, потянулась к бульвару, но все это словно во сне делается. Чувствуешь, что этим людям жить надоело, что они вполне равнодушны к действительности и живут мечтаниями. Даже не трудно угадать, о чем они мечтают. Скоро наступит 1 июля и последует розыгрыш лотерейного займа первого выпуска. Люди, обладающие хоть одним билетом, надеются и строят планы, чтыв они сделают, если на их долю выпадет двести тысяч; люди, которые не обладают ни одним билетом, тоже строят планы... чтыв они сделали бы, если б на их долю выпало двести тысяч. Люди компетентные уверяют, что вся Россия только и живет ныне этими надеждами...

Но вот и совсем смерклось; по местам замелькали в окнах огни, но большинство домов тонет в мраке, ибо сальная свеча стоит денег, и хозяева не всегда могут позволять себе эту роскошь. Город зевает, стелет армяки и полушубки...

Блохи, клопы, тараканы освежают сон истомленного дневным зноем рыцаря ломаного гроша.

Зимой дело идет поживее. Навоз, покрывающий площадь, показывает, что, по временам, здесь бывает людно. Вместо одного гроша торговец получает два и три, но из грошей все-таки никак выйти не может. Раз десять в день он перевернет этот заколдованный грош, и все-таки он очутится в его кармане тем же грошом, частицу которого необходимо отделить в общий ящик. И как он бьется из-за этого гроша, как ругается, как льстит и подличает, как костит своего соседа! Глядя со стороны, можно подумать, что дело идет об обеспечении его долгого-долгого будущего, а не о том, чтоб как-нибудь сбыть с рук распроклятый сегодняшний день!

Это правда, что зимой торг живее и выгоднее, но в то же время зимой и расходов больше. Хотя посадский человек в недавнее время и освобожден от подушной подати,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru но зато явилось много новых повинностей, которые нужно очистить именно в декабре и в январе. Первое – государственная повинность; второе – налог с недвижимых имуществ, то есть с той хижины, в которой он не столько живет, сколько, так сказать, хоронится от жизни; третье – патент. А тут еще рекрутский набор на дворе; если не приходится отвечать своею личностью, то, во всяком случае, придется отвечать деньгами: на обмундирование, на продовольствие, на наградные рекрутам, на вознаграждение рекрутских сдатчиков... Откуда взять? как извернуться? Волею-неволею приходится отделить ложку или две от тех пустых щей, которыми мещанин наливает ежедневно свое несытое брюхо, или отлить четверть шкалика от той сивушной порции, на которую заглядываются его завидующие глаза.

– Нынче мы, сударь, дровами никогда не топим! – говорят вам в одном месте, – нынче у нас щепка да солома в моду пошли. Было наше времечко! Поцарствовали! пороскошествовали!

– Когда с нас подушные брали, нам не в пример легче было! – говорят в другом месте, – первое дело, платили мы по общественной раскладке, стало быть, у кого засилия больше, тот и душ больше оплачивал; второе дело, коли много уж очень недоимки накапливалось, так или голова, или другой благодетель, бывало, выщется: нет-нет да и внесет за общество! А нынче всяк за себя отдувайся, патента-то никто тебе уж не купит!

– А тут еще дворовых гольшей нагнали! – вопиют в третьем месте, – дохнуть от них, канальев, нельзя. Где прежде было два сапожника, там нынче их двадцать два, и все норовят на одном сапоге заплату наставить!

И какую жизнь ведет этот дикий, озлобленный от голода народ – это невозможно даже представить себе. Не говоря уже о тех черных, покосившихся избушках, в которых ютится большинство, посмотрите, какое зрелище представляет зимой самый лучший постоянный двор, в котором отдаются так называемые «чистые комнаты»! Чернота, которая поражала вас еще летом, сделалась еще чернее, увеличившись всю суммою грязи и слякоти, приносимой на сапогах, шубах, полушубках, рукавицах и проч. Мокро, скользко, стены проникнуты сыростью, в воздухе стоит пар. И при этом запах – смесь всевозможных отвратительных воней, невысказанных ни в какой тюрьме. Тут и промозглая сметана, которая поставлена где-то под лавкой киснуть; тут и овчина, и кислая капуста, и махорка, и телячий помет... Читатель! если вы когда-нибудь решитесь отчетливо представить себе эту картину нашей провинциальной торговли и ремесленности, вам, наверное, сделается если не страшно, то тошно.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Оставим на время вопрос о том, как делается русская деньга, и обратимся к другому, который в настоящее время поглощает все внимание провинции и, следовательно, имеет за собой преимущество насущного интереса.

Вопрос этот формулируется так: представляет ли строгость самостоятельную творческую силу в отношении к материальному и нравственному развитию народа? или, выражаясь точнее: возможно ли, с помощью одних так называемых решительных мер, увеличить производительные силы страны, повысить нравственный и умственный уровень ее жителей, устранить задержки в фискальных сборах, поселить доверие и т. д.?

Как ни младенчески наивны эти вопросы, но, к сожалению, в жизненности их невозможно усомниться. За ними стоит целая история, и мы, провинциалы, безвыходно живем в атмосфере, ими насыщенной. По временам бесплодность подобных задач делается для нас более или менее ясною, но едва начинают они настоящим образом умирать, как вновь откуда-то является убеждение в их необходимости, и с новою энергией они заявляют о своем существовании. Пускай одни утверждают, что главный двигатель производительности есть капитал; пускай другие приписывают это труду, третьи – знанию, усовершенствованным способам производства, равномерному участию в прибылях и т. д. Мы, жители провинции, стоим на одном: что производительность возрастает и упадет единственно по мере того, как возрастает и упадет строгость. Проще не может быть.

Надо сказать, впрочем, правду, что характер строгости подвергся в последнее время значительному изменению. Когда-то в провинциях наших господствовала строгость простодушная. Были такие счастливики, которым стоило выйти на улицу, чтоб сказать себе: «Все мое! и стихии мои! и все, что множится, растет и дышит

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru при содействии этих стихий, – все мое!» Некоторые до того простирали свою строгость, что даже говорили: «моя наука, мой климат» и т. д., и никому не приходило в голову возражать против таких похвальных слов. Эта беспрекословность порождает уверенность, уверенность же, с своей стороны, значительно смягчала проявления строгости. Теперь против прежнего сделалось гораздо обременительнее. Тот же счастливчик выходит на улицу и уже сомневается: точно ли все его? Но так как прежнее вождение еще не остыло, то необходимость признать известную долю конкретности за тем, в чем предполагалась лишь способность мелькать или метаться, невольным образом вносит во все властные отношения какой-то желчно-завистливый, почти что мстительный характер. Прежняя добродушная строгость уже не удовлетворяет потребностей времени; мерещится что-то вроде прекрасного здания, у которого и в основании положена строгость, и стены сложены из строгости, и крышу, то есть венец здания, составляет строгость же.

Построить такое здание и засадить туда россиян – вот идеал, над которым мы в настоящую минуту задумываемся. Разногласия на этот счет хотя и существуют, но незначительные. Одни призывают строгость потому, что вообще не могут совместить свое существование с существованием других; другие, более добродушные, призывают ту же строгость, как меру временную, при помощи которой должны, по их мнению, исчезнуть фантомы, которые все мрачнее и мрачнее рисуются на общем фоне жизни.

– Только на этот раз! дайте только почувствовать – но почувствовать сознательно и неуклонно, – что спасительное иго еще не упразднилось, и вы увидите, как быстро исчезнут неурядицы и смуты, которые загромаждают наше существование!

Вот речи, которые говорятся людьми совершенно незлобивыми. Но ежели спросить у этих ревнителей общественного благополучия, что собственно они разумеют под словом «неурядицы», то сквозь тьму всевозможных запутанностей и оговорок вы различите, что это название прилагается безразлично ко всякому проявлению самостоятельности и правоспособности. Есть целый класс индивидуумов, который, по мнению теоретиков строгости, должен, для собственного своего блага, сидеть смиренно и ждать погоды. Так, например, ежели подрядчик притесняет рабочих, и последние начинают чувствовать это, им говорят: «Подождите, любезные! потерпите!» Если человек изнемогает под бременем разного рода непредвиденностей и начинает доказывать ненормальность такого положения, ему говорят: «Нельзя же, мой милый, вдруг! потерпи!» О чем бы ни высказывалось мнение, на что бы ни принеслась жалоба, – всему одно определение: беспокойный характер! на все один ответ: «потерпи!» Сроков не назначается, уважительных причин не приводится. Одно ясно: это присутствие какого-то неслыханного учения, в силу которого к легальности нельзя прийти иначе, как путем упразднения той же легальности.

Слушать подобные рассуждения тяжело до крайности. Точно тени мечутся перед глазами, точно проходит безобразное сновидение. Положение слушающего делается ненормальным до болезненности. Но нет, это не тени и не порождения кошмара – это живые и очень крепкие организмы, в которых есть все (даже есть своеобразное добросердечие), кроме разумного отношения к действительности. Это первобытные люди-самоучки, которые прикрывают свою наготу первым попавшимся древесным листом, не зная и не желая знать, что на свете уже придуманы другие одежды, гораздо более приспособленные к удобствам человека. Первобытный человек неприхотлив и еще менее изобретателен. Действовать на сознание, убеждать, доказывать и вообще «разговаривать» – все это представляется ему потерей времени. Зачем трудиться развязывать узел, когда его можно сразу разрубить? И, к сожалению, повторяем, это совсем не тени, а действительные организмы, которые имеют полную возможность доказать свою несомненную конкретность. И если невыносимо тяжело слушать их беззвучные разглагольствования о пользе строгости, как живоносного начала всякого благополучия, то можно себе представить, в какой мере увеличивается эта тяжесть, когда приходится видеть применение этих разглагольствий на практике, когда приходится жить в атмосфере, ими отравленной. А между тем можно сказать, что это почти насущный наш хлеб, что мы, жители провинции, издавна никакой иной пищи не знаем, кроме строгости, которая упитывает нас едва ли не свыше самой широкой потребности.

Много сочиняется у нас проектов насчет восстановления энергии, но наибольшею популярностью пользуется тот, который предполагает концентрировать эту энергию в одном вместилище. Безобразие разделения властей ныне вполне сознано, но, к сожалению, не сознано, что в этом разделении все-таки заключалось нечто похожее на гарантию. Я чувствую, что эти слова изумят читателя. Возможно ли, скажет он, утверждать, что бессмыслица может представлять какое-то обеспечение? Дав,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru милостивые государи, возможно. Бывают положения, когда не только бессмыслица, но даже прямое злоупотребление, вроде, например, взяточничества, представляет обеспечение. Дело в том, что человеческие общества так устроены, что для процветания их необходимо, чтобы единоличный произвол имел противовес, и ежели сравнивать положение, в котором есть хоть какой-нибудь шанс спасти что-либо от поползновений ширококвещательности, с таким, в котором совсем нет таких шансов, то едва ли не придется отдать предпочтение первому из них, как бы ни велико было его внутреннее безобразие.

Сжигая наши корабли окончательно и давая нашей деятельности направление исключительное (в смысле бесповоротной строгости), мы, конечно, можем достигнуть результатов очень нешуточных. Но, во-первых, подобные результаты едва ли будут в наших расчетах, и, во-вторых, они еще менее подойдут к среднему уровню человеческих желаний. Средний человек, с которым преимущественно приходится иметь дело, всего более ценит возможность свободно устроиваться и распорядиться в той небольшой сфере, которую он привык называть своею. Поэтому, если и можно убедить его, что образ действий наиболее враждебный этой возможности есть вместе с тем и такой, который всего скорее сделает ее общим достоянием, то это убеждение будет чисто теоретическое. На практике он будет всегда искать и отдавать предпочтение таким комбинациям, которые делают жизнь более легкою и удобовыносимою. Коли хотите, это ошибка очень капитальная, но что же делать, если в натуре человека не подставлять голову под удары, а защищать ее от них?

Поэтому казалось бы более рациональным, покуда не отыщется действительно компетентная среда для противовеса ширококвещательности, не уничтожать, по крайней мере, тех противовесов, которые утвердились уже сами собою. Представьте себе балет, в котором не было бы ни второстепенных корифеев и корифеек, ни кордебалета и в котором на голом, обнаженном от декораций полу плясали бы только первый танцовщик или первая танцовщица? Конечно, такой балет показался бы для зрителей утомительным даже в том случае, если б танцующий сюжет показал искусство самое неслыханное. Голо, бессвязно и, главное, не видно, для чего сюжет пляшет. Но этого мало: плясание столь неистовое утомительно и для самого пляшущего. Некоторое время он пляшет с увлечением, но под конец силы его истощаются, он начинает утрачивать смысл своей пляски, начинает тяжело дышать и видимо тяготится тем, что он один занимает всю ширину сцены. «Эй! кордебалет!» – восклицает он в отчаянье, но, увы! – кордебалет уж распущен, и на место его выступают плотники, машинисты, устраиватели провалов, адов и т. п. Положим, что это сказание о балете – не более как притча, но примените ее к настоящему случаю, то есть к вопросу о концентрировании ширококвещания, и вы увидите, что притча эта имеет свой смысл.

Но так как чувство действительности, по-видимому, утрачено, то очень понятно, почему на место его так решительно выступает сознание строгости, и почему оно с каждым днем приобретает все бовльшую и бовльшую силу. Отсутствие действительной силы образует пустоту, которую предполагается наполнить силою мнимой. Появляются люди бессильные, но озлобленные, которые ни о чем не хотят слышать, ничего не желают знать, кроме одного: строгости. Нет ни прошедшего, ни будущего; есть лишь настоящее, которое имеет в виду последнюю курицу, которое рассчитывает на чувствительность человеческого организма.

Предположим, однако ж, что идеалы, к которым мы стремимся, осуществились. Предположим, что ширококвещание утвердилось безраздельно и на прочном основании, что положение «шаром покати» достигнуто, что смолкли даже и те слабые писки, которые доселе нарушали общее безмолвие. Что ж делать? – вот вопрос, который из недр самого безмолвия возникает совершенно естественно и неудержимо.

Как бы ни восхваляли строгость, все-таки это не больше, как форма, которую следует наполнить каким-нибудь содержанием, если мы желаем, чтобы она имела значение. Некоторые даже думают, что это совсем и не форма, а просто уклонение человеческого разума, до которого здоровой жизни нет никакого дела. Но допустим, что говорящие таким образом суть утописты; сузим нашу задачу до бесконечности и спросим себя: давала ли, может ли дать строгость какие-либо иные результаты, кроме безмолвия? и, в свою очередь, давало ли безмолвие иные результаты, кроме общего нравственного и материального оскудения?

История отвечает на эти вопросы отрицательно. Когда Чингис-хан, Батый, Аттила и проч. проходили через страну с огнем и мечом, она не просиявала светом наук, и реки ее не закипали ни млеком, ни медом – это факт неопровержимый. Напротив

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru того, там, где до их прихода были города и селения, где копошился человек и существовали полные житницы, там очутилось голое, безмолвное место. Причина такого явления весьма понятна. Все названные нами люди ничего не принесли с собой, кроме строгости, а так как строгость есть понятие отвлеченное, которое никого не питает, то и вышло, что они исполнили только ту половину своей предполагаемой задачи, которую они действительно способны исполнить, то есть сожгли, разрушили, разорили, и затем пошли дальше и дальше, покуда им не сказали: довольно! Это «довольно!» имеет свое значение, над которым излишне размышлять. Если люди кричат известному явлению «довольно!», то это значит, что оно им не надобно, что они могут гораздо лучше устроить свою жизнь, если его не будет. Пренебрегать подобными заявлениями нельзя уже потому, что мероприятие самое строгое все же обрушивается не на ком другом, а на людях, и следовательно, их мнение в этом деле должно иметь вес. Основываясь на этом, многие полагают даже, что выражения вроде: «строгость спасительна» или «строгость своевременна» – суть выражения, внесенные в лексикон самовольно, без согласия тех, до которых они относятся. Ибо если бы Чингисхан истреблял людей даже с полезной целью истребления в них невежества, то и тогда он был бы неправ, так как с истреблением людей каким же образом он мог бы приступить к насаждению просвещения?

Представьте себе группу людей, изнемогающих под игом предрассудков и невежества. Эти люди довольствуются указаниями самого грубого эмпиризма и потому ничего не могут ни предвидеть, ни предотвратить; они ребяческим образом пользуются находящимися в их распоряжении богатствами природы и, следовательно, извлекают из них так мало, что понятие о действительных удобствах жизни не может даже существовать для них. Такое положение очень печально; но оно не безвыходно, потому что для него есть поправка в распространении знания. И вот к этим несчастным людям приходит человек просвещенный, обладающий массой полезных знаний, и предлагает поделиться с ними имеющимся у него запасом. Первое, что поразит его в этом случае, будет, конечно, то, что эти люди, несчастнее которых, кажется, нет на свете, еще не настолько, однако ж, несчастны, чтобы стремглав броситься в его объятия и сказать: «Благодетельствуй! мы всё потерпеть согласны!» Но, как ни огорчителен может показаться подобный факт, все-таки благо будет просветителю, если он в этом колебании увидит только признак общего всем людям желания сначала понять то, что предлагается, а потом уже, по мере уразумения, и принять предлагаемое. Но ежели он человек строгий, то колебание примет в его глазах все размеры преднамеренного противодействия и в этом качестве, наверное, возбудит негодование. Послушный этому чувству, что он предпримет? Ежели он начнет стрелять, то очевидно, что достигнет истребления – и ничего больше. Ежели он воздержится от стрельбы, а только будет бить палкою, то и тогда его просветительная миссия значительно задержится. Это до такой степени верно, что нет в мире страны, в которой разоренная местность не называлась бы разоренною, а забытые люди – забытыми, и в которой смысл этих названий означал бы что-нибудь лестное. Как хотите, а номенклатура эта имеет свой смысл. Она означает, что с какою бы целью ни было предпринято разорение, из него ничего не может выйти, кроме разорения же, и что глубоко ошибаются те, которые, устраняя у обывателя последнюю курицу, думают, что вследствие этого у него явятся две.

Несмотря на столь жалкий результат, приведенный выше пример, однако ж, еще слишком благоприятен для строгости, чтоб можно было остановиться на нем. Роль просветителя предполагается в нем принадлежащею человеку, действительно обладающему знаниями. Но гораздо чаще бывает, что человек считает себя имеющим право на широковещание совсем не вследствие высшего нравственного и умственного уровня, а только потому, что носит на плечах другого покроя одежду, нежели та, которую носят люди, подлежащие напору просветительной деятельности. Кто может поручиться, что этот человек из всех ходячих понятий о том, что для людей полезно и что бесполезно, принимает именно то, которое наиболее соответствует настоящим потребностям минуты? Кто будет так смел, чтоб утверждать, что этот человек не невежествен, не односторонен... наконец, не глуп? Разве право на широковещание не потеряет разве все эти Дарьи Петровны, Марьи Ивановны, Татьяны Федоровны, ежеминутно рождающие людей широковещательных, обязывались клятвенно, что чада их непременно будут сердцеводами? Представьте же себе, что чадо это родилось со всеми качествами человека непроницательного, и затем сообразите, что может наделать этот непроницательный человек, как только почувствует, что широковещанию его никаких граней не полагается!

Картина просветительно-опустошительных подвигов, которым предаются люди, считающие себя просветителями потому только, что ходят в пиджаках, а не в

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru зипунах, и пьют шампанское, а не сивуху, известна каждому, кто хоть малое время жил в провинции. Это своего рода «Последний день Помпеи». Но каждый раз, как приходится описывать эти подвиги, рука дрожит и самая мысль немеет. Поэтому мы и не пытаемся описывать их, а только спрашиваем: ужели мало того, что есть и чем мы и без того бесспорно пользуемся? ужели есть еще надобность прибавлять, усиливать, концентрировать?

Если от кого-нибудь требуют, чтоб он исправно обработал, например, десятину земли, то всякий сколько-нибудь разумный человек согласится, что для этого надобно, во-первых, чтоб индивидуум, к которому обращается требование, был знаком с приемами обработки, во-вторых, чтоб у него был исправный инструмент, в-третьих, чтоб он был до известной степени заинтересован в этом деле. Представьте же себе, что вместо этих условий человеку предлагается только строгость, что ему не дают ни сведений, ни инструментов, ни вознаграждения, а только от времени до времени секут. Насколько подвинется от этого обработка показанной десятины?

Конечно, мне могут возразить, что пример этот слишком фантастичен, что действовать подобным образом, то есть в сечении видеть замену материальных и нравственных посредничеств, может только человек совершенно безумный. Нет, милостивые государи, этого человека нельзя назвать вполне безумным; он тот же неразвитый, выросший в известных привычках, как и множество других, которых мы вовсе не разумеем безумными. Сказать ли более? едва ли это не тот самый индивидуум, о котором вы сами, милостивые государи, мечтаете и которого имеете в виду в те сладкие минуты, когда вас осеняет мысль об усилении и концентрировании власти.

Дав, это он. Вообразите себе, что власть концентрирована достаточно; что она простирается на все дела рук человеческих, что она опутала весь видимый и невидимый мир, – чтов может из этого выйти? Из этого выйдет то непременно последствие, что она всюду будет совать свой нос и всюду предъясвлять требования. Но мир разнообразен, и столь же разнообразен характер человеческой деятельности. Каждая отрасль этой деятельности представляет собою специальность, и, для того чтоб достигнуть правильного отношения к какой-нибудь из них и быть судьей или наставником, необходимо самому быть специалистом в ней. Если этого нет, если во главе дела является человек, у которого нет ничего, кроме энергии, то ему остается только говорить: «Поди туда, неведомо куда; подай то, неведомо чтов». И чем сильнее будет энергия, с которою будут исходить подобные распоряжения, тем сильнее будет путаница, потому что ничто так не запугивает исполнителей, как зрелище человека, мечущегося во все стороны и говорящего невнятные слова. А так как путаница не успокаивает, а, напротив, еще более возбуждает энергию, то в результате непременно окажется порочный круг, из которого нет никакой возможности выбраться иначе, как посредством генерального обращения людей в стадо бессловесных.

Этого-то, по-видимому, и добиваются наши провинциальные поборники единоначалий, концентрирований, усиления и т. п. Достать такого специалиста, перед строгостью которого смолкали бы все специалисты, добиться такого порядка вещей, который бы резюмировался в одном слове: «молчать!» – вот заветная мечта, над которою ломают головы представители провинциальной интеллигенции. Одни хлопочут тут по неведению, потому что так издавна заведено, что строгость считается творческим началом всевозможных благополучий; другие хлопочут, мотая себе на ус и не без некоторых дальновидных расчетов на будущие блага, от того произойти могущие. Но как те, так и другие равно упускают из вида, что всякая спина принадлежит тому, кто ею обладает, и что, следовательно, только обладатель спины может быть действительно компетентным судьей относительно того, что она выносит.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ
Еще одно отступление.

В последнее время большою благосклонностью со стороны провинциалов пользуется то мнение, что наши административные и экономические неудачи оттого происходят, что в делах большое участие принимают специалисты. Не думайте, впрочем, что беда усматривается тут в том, что исключительное увлечение какою-нибудь специальною отраслью знания или деятельности в значительной степени ослабляет в человеке способность к обобщениям и, следовательно, делает его как бы чуждым всем явлениям жизни, кроме тех, которые прямо входят в сферу его специальности. Нет, мы, провинциалы, так далеко не ходим, и у нас специалистом называется вообще

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru всякий человек, обладающий каким бы то ни было знанием, или, лучше сказать, всякий человек, умеющий сделать то дело, за которое он взялся.

По мнению нашему, специалисты слишком уж тонки: сразу и не поймешь, дело ли они делают или надувают. При этом, когда специалист совершает какие-либо действия, то думается, что он словно колдун. Станешь наблюдать за ним – ровно ничего не понимаешь; бросишь наблюдать – делается совестно: чтов же я-то, в самом деле, такое? ужели я и впрямь лишний человек? Все равно как с математиком: задашь ему задачу – и уходи. Начнет он делать свои выкладки, сидит, думает, пишет, чертит – готово! Молодец математик! решил. Однако ж кто его знает, точно ли он решил? А чтов, ежели он даже не математик, а просто прохвост, притворившийся математиком? Разве таких примеров не бывало? Все эти сомнения возникают вдруг, помимо нашей воли, и так они для нас обидны, так обидны, что даже сказать нельзя...

Разумеется, эта обида сейчас же облекается в соответствующие жалобы.

– Представьте себе, он там какую-то чертовщину плетет, а я, как дурак, должен смотреть на него! – негодует один.

– Да это еще чтов-с! – разжигает другой, – намеднись, сидел я это, сидел – ну, одурь взяла! Подхожу, знаете, к нему: покажите, ради Христа, говорю, чтов вы тут такое кудесничаєте? Что же-с! встал это, бестия, улыбается, подает... Ну, посмотрел, плюнул и отошел.

Нет, решаем мы, ну их к богу, этих специалистов! лучше хлеб с водой есть да знать, что это действительно хлеб и вода, нежели смаковать какие-то хитро приготовленные яства, которые, ежели хорошенько их разобрать, окажутся, пожалуй, такую мерзостью, что потом всю жизнь тошнить будет!

Сверх того, нам кажется несколько подозрительным и то обстоятельство, что, с тех пор как завелись на Руси специалисты, какие-то такие длинные счета появляться стали, что невольно останавливаешься перед ними в священном ужасе. Так, например, благодаря специалистам скоро на Руси совсем жилищ не будет. Старые жилища постепенно придут в ветхость, а новых никто строить не решится. Причина очень простая: сами мы ничего, кроме карточных домиков, строить не умеем, а ежели вздумаем обратиться к специалисту, то гибель наша неизбежна. Специалист докажет, что железная крыша не в пример прочнее деревянной, что паркетные полы красивее простых крашенных, что дубовые рамы благонадежнее еловых или сосновых и т. д. Одно только упустит он из вида: что у вас в кармане всего один грош, да и то ломаный, и упустит это совершенно основательно, потому что, в сущности, следить за положением вашего кармана совсем не его дело. Но и вы, заслушавшись его, тоже упустите это из вида, потому что очень уж он обстоятельно говорит.

– Помилуйте! – говорит он, – ведь дуб – это чтов? ведь он против какой-нибудь ели впятеро да вшестеро выстоит! сосчитайте же теперь, сколько денег-то у нас в кармане останется!

И вот в этой крайности вы непременно скажете себе: что ж, в самом деле! человек я неученый, всю жизнь только водку пил да закусывал – куда мне в такие дела входить! Поручу-ка я мою постройку молодому человеку, который сквозь огонь и медные трубы прошел (это-то и есть специалист); он мне все это обделаает, а я только буду жить да поживать! Но проходит месяц, и вам подают счет – эге! Проходит другой месяц – еще счет! Самые изысканные потребности ваши предусмотрены; счастливое сочетание фестончиков с амурчиками и вырезочками изумительно; везде водопроводы, ватерклозеты... четыре ватерклозета для вас, когда вы даже в одном никогда не ощущали потребности! Вы ничего уж не помните; вы позабыли, что на все эти изысканности вами дано заранее безусловное согласие; вы сознаете только, что вы нищий, которого насильственно ведут в замасленном халате, немытого, нечесаного в какой-то палаццо; вы чувствуете, что с вами озноб... И вот вы решаетесь на геройский поступок: на половине вы бросаете начатое дело и кой-как венчаєте здание соломенной крышей; вы с омерзением смотрите на малахитовую колонну, которая как-то одиноко (предполагалось прикупить и другую, да денег не достало) приютилась у входа в ватерклозет, и отправляетесь в клуб, чтоб на досуге предать проклятию ученых и специалистов, которые не умеют угадать, что вам надобен хлев, а не палаццо.

Но этого еще недостаточно. В последнее время мы из достоверных источников узнали, что специалисты просто-напросто исподволь революцию производят. Всякий

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru из них на что-нибудь да посягает. Физиологи посягают на бессмертие души; химики посягают на цельность материи, физики – на молнию и гром и т. д. До сих пор мы говорили: вот человек, вот заяц, вот ворона, вот налим – и были вполне убеждены, что этим сказано все, что о сем предмете сказать надлежит. Теперь нас в глаза уверяют, что, говоря таким образом, мы ничего не высказываем, кроме названий, и что жить с одними названиями ни под каким видом нельзя. Но ежели эти люди уже начали разлагать гром небесный, то можно себе представить, как они поступят относительно прочего!

Самый лучший способ избавиться от специалистов – это заменить их кантонистами. Хотя и это тоже своего рода специальность, но она тем хороша, что ее можно во всякое время и во все стороны распространить. Появись в настоящую минуту проект о замене специалистов кантонистами, не подлежит никакому сомнению, что он имел бы в провинциях успех громадный, именно потому, что он доступен всякому пониманию. Всякий знает наверное, что любого кантониста можно призвать, сказать ему: «исследуй природу человека!» – и он исследует. Мало того что исследует, но в то же время ни до каких подозрительных результатов не дойдет. Химик-специалист никогда не остановится вовремя, а все хочет что-то исчерпать, до чего-то дойти; химик-кантонист, дойдя до известной границы, не только сам благоразумно отретироваться, но и другим скажет: «цыц!» Зачем в академиях сидят Беры да Зинины? Гораздо лучше на их места посадить кантониста Чимпандзе! Он все науки с быстротою молнии приведет к одному знаменателю и тем удовлетворительно докажет, что ничто человеческое ему не чуждо!

Одним словом, начало всех наших зол приписывается не кому другому, а именно специалистам, то есть людям, знающим и умеющим что-нибудь делать. С экономической точки зрения, всякий специалист – непременно вор; с точки зрения нравственно-политической – непременно революционер. И что всего опаснее: ни под каким видом нельзя его уличить.

– Уж кружил он меня, кружил – до сих пор опомниться не могу!

Вот единственный критерий, с которым провинциал относится ко всякому знанию. Он чувствует, что жизнь его расклеивается, и относит это не к тому, что он ни к чему приступить не может, ничем сам себе помочь не в силах, а к тому, что явились люди, которые как-то так таинственно орудут, что он вынужден только хлопать глазами да вынимать из кармана деньги. Положение действительно унижительное, но какое же имеется основание ставить его на счет знания, а не невежеству?

Мы, провинциалы, живо помним то время, когда в среде нашей сложилась знаменитая поговорка: «тяп да ляп – и корабль». Всякий тогда приходил и объявлял себя способным повелевать стихиями. Пехотинцы ходили по морю, яко по суку; кавалеристы строили фортеции и ретраншементы, а гарнизонные офицеры в свободное от постройки рекрутских полушубков время выдумывали порох. И казалось тогда, что все кипело. Курьеры скакали, нарочные летали, предписания опережали ветер. Поистине это была какая-то фантазмагория исполнительности, о которой без слез вспомнить нельзя.

Человек неученый, рыбак, пастух – все это принимало на себя обязательство уловлять людей, и уловляло. Это были какие-то апостольские времена, когда казалось, что из всех существующих специальностей специальность уловления людей есть самая легчайшая. Но гораздо труднее оказывалось уловлять вещи, как, например, достигнуть того, чтобы флоты не гнили, когда они ремонтируются одною исполнительностью, чтобы ружья стреляли, когда у них должность курка исполняет исполнительность, чтобы фортеции не обрушивались, когда в основание их положена только исполнительность.

Но нам, провинциалам, ничего об этом известно не было, ибо мы и в этом случае, как и всегда, исправляли должность пятого колеса в колеснице. Наше самолюбие было польщено просто тем, что мимо нас мчатся курьеры, скачут верховые и все что-то везут, что-то экстренное, не терпящее ни рассуждений, ни отлагательства.

– Что, любезный, флоты сооружать поспешаешь? – спрашивали мы курьера, наскоро перехватывавшего на станции.

– Точно так, ваше благородие! – отвечал курьер, проглатывая кусок с такою

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru поспешностью, как будто это был не кусок чего-то съедобного, а раскаленный уголь.

– Поспешай, мой друг, поспешай!

И мы были довольны. Пускай наш порох оказывался таким, что лучше было бы палить без пороху, – все-таки мы видели, что люди не сидят праздно, не задумываются, а прямо берут, что попало под руку, и складывают в одну кучу.

Теперь эта судорожная деятельность уже достаточно выяснилась и зарекомендовала себя; тем не менее воззрения, которым она дала начало, слишком живучи, чтобы скоро уступить не только влиянию времени, но даже подтверждением опыта. Во-первых, для толпы всегда очень выгодно признавать себя во всех отношениях компетентною; во-вторых, она видит, что в глазах ее во множестве совершаются глупые дела, и мало-помалу убеждается, что глупость есть нормальный уровень всех вообще дел. Какая надобность привлекать к их совершению каких-то избранных людей? Ибо что такое, в самом деле, эти так называемые избранные люди? – это те самые, которые способны только усложнить и затруднить дело, а не разрешить его. Разрешить дело, то есть устроить натиск и генеральную пальбу, может в надлежащем виде только вот этот молодец, который в сию минуту идет по улице и ковыряет в носу. Позовите его, и вы не успеете оглянуться, как он – трах! – и повернул, и вывернул, и перевернул!

– И советов, батюшка, ни у кого не спросит, а просто придет, взглядом окинет, – и разрешит.

С точки зрения воспоминаний прошлого, эти речи не лишены известной доли основательности. Мы еще так недавно выдержали крепостное право, а сущность его, конечно, в том и состояла, чтоб упростить формы и отношения до самых крайних пределов. Когда в человеке усматривается лишь материал, который можно, по усмотрению, и скорчить и вытянуть, тогда, разумеется, не может быть повода задумываться над тем, что следует предпринять, дабы успешнее уловлять людей. Все люди от рождения уже находятся в западне и даже не бьются в ней, а только стараются как-нибудь половчей примоститься, чтоб не очень сильно чувствовались вывихи, переломы и оглушения. Арена действия настолько суживается, что сечение представляется совершенно достаточным средством для урегулирования общественных потребностей и стремлений. Хочу, чтоб на этом месте был город, – и бысть; хочу, чтоб была вавилонская башня, – и будет.

Вопрос в том: возможно ли продолжение подобных воззрений с упразднением крепостного права, то есть с наступлением такого порядка вещей, при котором самый взгляд на человека радикально изменяется?

Что это дело возможное – нас убеждает в том действительность. Мне скажут, может быть, что всякие ссылки на крепостное право в настоящую минуту совершенно запоздали, ибо даже самый заскорузлый провинциал – и тот махнул на него рукой; но возражение это может быть принято только с оговоркою. Мы действительно примирились с идеей, что крепостное право не существует; но спросите любого, в чем заключается это примирение, и вы, наверное, не добьетесь ответа сколько-нибудь ясного. Что внешняя сторона совершившегося акта вполне нами признана – это несомненно; что мы до известной степени сознали, что руки у нас против прежнего стали гораздо короче – этого тоже отрицать нельзя. Но что ж из того, если мы нашими укороченными руками желаем махать точно так же, как бы они были не укорочены?

В том-то и дело, что, кажется, только на внешности и прервались наши сознательные отношения к этому делу и что ни одного из последствий, которыми оно так богато, мы не увидели, а потому и признать добровольно не можем. Наши отношения к жизни остаются столь же запутанными, как и прежде; если одна часть их и похерена (едва ли, впрочем, не механически только), то все остальное продолжает держаться и воспитывать представления самые противоречивые и друг друга побивающие. И когда жизнь целою цепью неудач протестует против невежества как творческой силы, мы нисколько не затрудняемся этим, но думаем, что это не больше как начальственное послабление, которому очень легко пособить. Стоит только припугнуть хорошенько знание и обратиться с усиленной просьбой ко всем невеждам празднующимся, – и все нужные распоряжения по части уловления вселенной будут неупустительно приведены в исполнение!

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вот почему между нами и по сие время в таком ходу рассказы о деятелях-кантонистах, которые в былое время оказывались и исправными статистиками, и исполнительными экономистами и даже являлись небезыскусными по части философии и астрономии. Если исправники до сих пор были созидателями и руководителями нашей жизни, то почему же и впредь им в сих должностях не состоять? Какие такие новые прихоти появились, чтоб изменять этот порядок? Мужики, чтов ли, нос начали задирасть? Так на этот предмет имеются у исправников такие полномочия, при посредстве которых всякий задирайка очень скоро поймет, что уши выше лба и по упразднении крепостного права расти не могут!

Со всем этим не согласиться нельзя, ибо у исправников имеется уполномочий очень достаточно. Но есть ли надобность в этих полномочиях? Но приводят ли они к каким-нибудь существенным результатам? – вот в чем вопрос, вот чтов следует разрешить прежде, чем принимать угрожающие тоны и зря кидаться вперед с кулаками, полными полномочий.

Никто не спорит, что не только в прошлом, более или менее отдаленном, но даже и в сию минуту мир полон кантонистами-статистиками и кантонистами-астрономами. Спор идет лишь о том, в какой мере они полезны, и кажется, что он ни в каком случае не может кончиться в пользу кантонистов. Даже приподнявши завесу давно минувшего, мы все-таки убедимся, во-первых, что ни одна составленная кантонистом статистика ни в одном военно-учебном заведении никогда в руководство принята не была, и во-вторых, что все академии, какие когда-либо существовали, всегда отзывались о деятельности кантонистов на поприще наук с чрезвычайно сдержанностью, почти что с холодностью. Каждый гимназист может доказать кантонисту, что он или соврал, или не понял и что, по-настоящему, ему следовало бы надеть на голову колпак с длинными ушами. Чтов возразит кантонист против такой аргументации? Смолчит ли? – но тогда какой же он будет патентованный статистик и астроном? Бросится ли на своего обличителя и начнет его истязать? – но тогда какая получится в результате статистика?

Из этой дилеммы выйти невозможно, как скоро однажды признано, что статистика есть факт, что наука о производстве ценностей и распределении их – тоже факт и что астрономы не совсем напрасно доказывают, что Земля обращается вокруг Солнца. Не признать же всего этого нельзя, во-первых, потому, что есть очень много людей, для которых это признание выгодно, а во-вторых, потому, что если, например, этого не признает Иван, то признают его соседи, а дело Ивана все-таки не выгорит. Ни знание, ни право, ни те отношения, которые из них вытекают, ни в каком случае не могут быть спрятаны в карман, подобно кукишу. Нет столь солидного кармана, который бы не порвался от тяжести подобной поклажи.

Разделять одну и ту же задачу на две половины, из которых на одну соглашаться, а о другой игнорировать, – значит добровольно обманывать самих себя. Задача, которая стоит перед нами, до такой степени захватывает нас всеми своими подробностями, что непризнание одной из них вредит не столько цельности самой задачи, сколько общему уровню нашего собственного существования. Если жизнь наша расклеивается, если новое или совсем не создается, или создается туго, без всякого соответствия даже с самыми неприхотливыми потребностями, то вина этого заключается именно в объясненной выше раздвоенности нашего взгляда. А мы, вместо того чтоб обратить внимание на ту роль, которую играет в этом деле наша недалёковидность, злорадно подмечаем каждую неудачу, которую испытывает новое дело в своих усилиях встать на ноги. Всякий факт насилия радует нас беспримерно; всякое известие о потоптании, посрамлении и проч. производит восторг. Вот, например, крепостное право хоть и уничтожено, а там-то и там-то поступлено так, что хоть бы и при крепостном праве так в пору. Или еще: новые суды хоть и введены, однако там-то и там-то как захотели, так и без судов расправу нашли. Рассказы такого рода приводят нас в восхищение. И такие тут начинаются у нас смехи и утехи, что у чувствительного человека волосы дыбом становятся, а человек нечувствительный в изумлении спрашивает себя: над чем, однако ж, они смеются?

Если мы вдумаемся хорошенько в этот вопрос, то убедимся, что это смех ограниченного человека над собственной ограниченностью. Непривычка к обобщениям так велика в нас, что мы понимаем всякое нарушение правильного хода жизни только изолированно и никак не хотим сознаться, что это лишь звено целой цепи. Система нарушения имеет свою горькую последовательность, которая захватывает не одни неприятные нам элементы, но подчас и нас самих, ибо тут общим принципом является нарушение, перед которым все элементы равны. Мы слишком надеемся на то, что будто бы наше звание фофанов может, во всяком случае, оградить нас от напастей.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Нет, мы ограждены лишь настолько, насколько ограждено и все прочее, живущее с нами рядом, или, лучше сказать, мера этого ограждения совершенно пропорциональна мере понижения общего уровня системы нарушений. Ведь было же время, когда если не все поголовно были фоханами, то, по крайней мере, признавались таковыми, но разве это кого-нибудь ограждало?

При известной степени осложнения жизни вопрос о кантонистах-статистиках и кантонистах-финансистах приобретает значение очень существенное. До тех пор, пока права и обязанности сохраняют свою первоначальную грубую форму, кантонисты имеют хоть некоторое основание признавать себя отвечающими потребностям минуты. Не то чтобы они были полезны действительно, но пятна, которые они кладут на общий фон жизни благодаря неясности последнего, не настолько видны, чтоб возбуждать серьезные опасения. Но с той минуты, когда для каждого человека обязательным образом выступает необходимость опознаваться в великом разнообразии жизненных явлений и соразмерять с их сущностью каждое действие, имеющее к ним какое-нибудь отношение, – с этой минуты никакое невежество, как бы оно ни было самолюбиво и предприимчиво, полезных результатов достигнуть не может. Чтобы извлечь, например, доход из известной статьи, надо прежде всего доискаться, чтов это за статья, как велика степень ее производительности и при каких условиях эта последняя может быть усилена. Очевидно, что вопросы эти может разрешить человек только знающий и мыслящий, и притом только тогда, когда он решает их не впопыхах и не под давлением страхов, нагоняемых слишком рьяными кантонистами. Но ежели к этой статье же подойти с криком и гамом: «подавай!» – то она не только не даст больше того, чтов дает и давала, но, напротив того, постепенно оскудеет, потому что система оглушения и тут, как и везде, может проявить только безрассудную жадность, уравновешиваемую лишь бессилием.

Очень возможно, что пример этот найден будет недоказательным. Могут сказать, что и во времена крепостного права не считалось бесполезным разумное отношение к источникам производительности и что каждому индивидууму из легиона «способных и достойных» непременно и безусловно представлялось на вид, что «только благоразумная экономия и доброе смотрение могут привести к полезным для государства последствиям, без отягощения народного». Не ясно ли, стало быть, что благоразумие и умелость и тогда уже предпочитались безумию и невежеству?

Да, это правда; здравый смысл заявляет свои требования не со вчерашнего дня; он существовал во все времена. Всегда призывал он к благоразумию, всегда утверждал, что умелое обращение с вещами полезнее, нежели обращение неумелое. Но какие были практические последствия этих призывов и утверждений? – на этот вопрос можно с полною уверенностью ответить: последствия эти были вполне недостаточные. Для того чтобы умелое обращение с вещами сделалось явлением не исключительным, не диковинным, как это всегда случалось в оные времена, надобно, чтобы оно представляло единственное средство, которое обеспечивало бы спокойное существование общества, и чтобы средство это не могло быть заменено никаким другим. Сказать, что умелость и благоразумие не бесполезны – значит сказать одну из тех *res desiderata*, [35] которые во множестве выпускаются в обращение именно потому, что действительная их стоимость весьма невелика. Так что, если при этом не полагается ясных и твердых преград для безумия, то выигрыш от похвал, производимых благоразумию, будет самый пустой. Первая неудача, недостаток терпения, отсутствие средств – все это представляет такую совокупность условий, которая делает переход от благоразумия к безумию до крайности легким. И переход этот делается невозможным лишь тогда, когда самая жизнь ответит отказом на притязания самолюбивого невежества, когда она наградит сторицею не того, кто ничего не имеет ни за собой, ни перед собой, кроме угроз, а того, кто действительно нечто умеет и может.

Если подобное положение вещей еще не вполне наступило для наших провинций, то, во всяком случае, есть признаки, позволяющие угадывать его приближение. Признаки эти, к сожалению, выражаются только в неудачах, которыми так обильна современная жизнь, и в той ее неклеяности, которая делает тщетными всякие расчеты и сообщает прискорбный характер колебания всем действиям современного человека. Что обнаруживают эти колебания? ужели они свалились к нам с неба, без всякой связи с жизнью? или они и впрямь выражают только начальственное послабление? Нет, они доказывают, что первоначальные источники, которые питают жизнь общества, до такой степени изменились в своей сущности, что требуют совершенно иных приемов против тех, которые прежде казались удовлетворительными. Если бы прежние приемы были достаточны для урегулирования нового положения вещей, то ведь арсенал таковых еще не уничтожен; однако ж, несмотря на это, колебания не кончаются, и

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru жалобы на неудачи и затруднения всякого рода идут, все более и более возрастая. Отчего ж это? А оттого, милостивые государи, что в нас нет достаточной решимости, чтоб последовательно вступить на новый путь, что нас все еще соблазняет арсенал «прежних приемов», который и будет продолжать запутывать соображения наши до тех пор, пока мы окончательно не решимся отвернуться от него.

Как ни больно, но придется же когда-нибудь сознаться, что вопросы жизни решаются не строгостью, а умением и знанием, не единоличною прихотью, а обсуждением. Не то больно, что сознание такого рода неизбежно, а то, что мы до сих пор не можем отнестись к этой неизбежности без болезненного, почти враждебного чувства. В сущности, какие особенные радости принесла нам эта хваленая строгость, этот пресловутый кантонистский энциклопедизм, не развязывавший, но отсекавший всевозможные узлы? Если мы вникнем в этот вопрос, то убедимся, что даже те из нас, которым действительно этот порядок вещей давал кой-какую поддержку, могли принимать ее с спокойным духом только до тех пор, покуда они сами находились в состоянии бессознательности...

Можно бы привести здесь множество примеров бессилия этого прискорбного энциклопедизма, можно бы доказать фактически, что он до сих пор только бесплодно волновал общественное мнение, а ни одного вопроса ни в какую сторону никогда не разрешил. Но для того, чтобы убедиться в этом, не требуется даже доказательств; достаточно дать волю самим поборникам энциклопедизма: каждый из них в какие-нибудь четверть часа времени наскочет по этому предмету такую кучу самых вопиющих невозможностей, что вам останется только на досуге разрешить вопрос: каким же образом эти люди ухитряются жить?

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Одна из самых ярких особенностей наших захолустных городков заключается в том, что там почти совсем нельзя встретить постороннего, наезжего люда. Все, что ни видится на улицах, на площадях, в присутственных местах, в лавках – все это тутешнее, живущее здесь только потому, что постепенно нагуляло себе как бы естественные кандалы. Постороннему здесь нечего делать, а потому незачем и приезжать. Это до такой степени верно, что нет ни одного провинциала, который не сознавал бы этой истины и не взглянул бы удивленными глазами на приезжего, не спешащего сломя голову вон. Провинциальный город никогда ни для кого не служил целью, а только стоял на пути, на том бесконечном, постылом пути, который так, кажется, и перелетел бы, если б были крылья. Заспанный путешественник, зевая, вылезал из тарантаса, потягиваясь, напивался на станции своего собственного чая, закусывал собственною провизией, проглатывал рюмку собственной водки и мчался дальше куда-то в свое место. Даже на собор не засматривался, потому что всякий собор, так сказать, от рождения стереотипом напечатлен в сердце каждого русского проезжего человека. Впереди у него есть свое место, с своим неудобным для обитания домом, с своею несъедобною провизией, со своими тараканами, клопами и прочею нечистью. Зачем же ему заглядываться на чужую нечисть?

Местный обыватель понимал эти соображения и никогда не претендовал на проезжего человека за то, что он ни о чем не расспрашивает, ни на что не глядит. Не о чем спрашивать, не на что глядеть; все, что увидишь или узнаешь здесь, – все это увидишь или узнаешь там, в своем месте. Даже путешественник-специалист, командированный от какого-нибудь ведомства, а пожалуй, и от двух (у нас путешествие без командировки немислимо), и тот лишь для проформы останавливался на несколько часов на почтовой станции и для проформы же записывал в свой ученый дневник: «Был в городе Навозном и имел совещание с хлебными торговцами, причем оказалось, что хлеба за границу и на внутренние рынки отправляется множество (NB: цифру проставить дома, по возвращении в Петербург); на станции видел собственными глазами, что ямщики едят не только хлеб без примеси лебеды, но и ватрушки, имевшие очень вкусный вид (NB: по этому поводу пустить нечто пикантное против наших охранителей и прогрессистов, утверждающих, что благосостояние народа находится в упадке); сверх того видел (NB: сам не видел, но написать, что видел) – в соборе хранится пуговица от мундира великого князя Святослава Игоревича, потерянная во время битвы с Цимисхием. Пуговица медная, светлая, как бы снятая с новейшей ливреи», и т. д.

Записавши это, путешественник (с ученою целью) скакал дальше, в город Ненасыть, за такую же надобностью, а по возвращении в Петербург выпускал книжицу, с громким названием: «Исследование о хлебной торговле в России», за которую получал премию или две, смотря по тому, от одного или двух ведомств был

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru командирован.

Таково было еще в недавнее время положение наших провинциальных городков относительно привлечения пришлого населения; в будущем оно едва ли обещает сделаться более разнообразным. С развитием железных дорог все заспанные люди, которые, до настоящего времени, хоть лошадей переменяли на станциях, конечно, устремятся в свое место путем более кратким и удобным. И сделаются эти городки еще более пустынными, и побегут из них тутошные люди, которые до сих пор кое-как кормились около проезжего человека, сбывая ему на две копейки веревки да на копейку дёгтя и по временам вытаскивая из невылазной пучины его загрязнувший тарантас.

Что-то будет! какие-то изменения принесут за собою эти новые пути, новые экономические условия, свободный труд, попытки самоуправления и проч. и проч. Возьмется ли провинциал за живое дело, дойдет ли до сознания своего положения или, по прежним примерам, скрестит руки и будет отводить душу в изобретении метких, но совершенно праздных эпитетов, которыми он крестит собственную вялость и непригодность?

Но судьба не всегда бывает благосклонна к людям и по временам предупредительно водворяет их именно в том месте, куда незачем приезжать. По большей части это случается как-то вдруг. Человек наслаждается жизнью где-нибудь в Разъезжей или Кабинетской улице, строит планы, поднимает завесу будущего и вдруг непосредственно из Разъезжей улицы не только мыслью, но и телом переносится в уездный город Ненасыть.

Я согласен, что это превращение не вполне обыденно и что его следует отнести к числу волшебных, но так как в сей юдоли плача покуда еще очень нелегко определить, где кончается волшебство и где начинается действительность, то люди компетентные утверждают, что подобного рода превращения не только возможны, но даже не вызывают особенных удивлений.

Как бы то ни было, но представить себе человека, сваливающегося откуда-то издалека и независимо от собственной воли водворяющегося в среде обывателей одного из так называемых «мирных уголков», – очень нетрудно. Гораздо труднее проследить самый процесс водворения, ибо оно совершается не механически только, но и со всеми нравственными последствиями: с укрощением, стушевкою и акклиматизированием. Сталкиваются два элемента, ничего до сих пор друг о друге не знавшие: пустынный Разъезжей улицы приходит в соприкосновение с пустынным городом Ненасыть. Встречаются и на первый раз могут с ясностью представить себе только одно: что им приходится жить вместе. Очевидно, однако ж, что это первое впечатление слишком недостаточно, чтобы можно было остановиться на нем. Очевидно, что со временем оно осложнится и для той и для другой стороны, что наступит минута, когда и акклиматизируемый человек и абориген должны будут подойти друг к другу и постановить условия взаимного сожительства. Какие будут эти условия?

В разрешении этого вопроса заключается возможность дальнейшего существования этих подневольных людей, из которых одни связаны тем, что они от рождения тутошные, а другие – тем, что им предстоит, не будучи тутошными, во что-то бы ни стало сделаться таковыми.

Что касается до человека, подлежащего акклиматизации, то он должен испытывать не столько чувство враждебности, сколько чувство недоумения. Для враждебного чувства еще нет непосредственного объекта, но для недоумения есть поводы очень действительные. По крайней мере, в первую минуту по выброшении на берег иначе не может быть. Акклиматизируемый еще не умеет объяснить себе, что именно находится у него перед глазами: необитаемый ли остров или что-нибудь другое. Что это не необитаемый остров – в этом его убеждает, во-первых, мелькание субъектов, носящих, подобно ему, человеческий образ, во-вторых – ощущение близости исправника. Но что тут есть нечто, имеющее и все свойства необитаемого острова, – это доказывается полнейшим отсутствием удобств жизни, то есть именно того, что всегда и везде помимо всех других признаков возвещает о присутствии творческой деятельности человека. Жилища не дают действительного успокоения, пища не дает действительной питательности; кругом слышатся какие-то непривычные речи; нет книги, нет ничего, что обеспечивало бы возможность дальнейшей развития; везде видится нагота и неприкрытость. Рай Разъезжей улицы – потерянный рай! – так и мечется в глаза. Правда, он был изгнан из этого рая, что не

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru совсем-таки свидетельствует в пользу его безопасности и безмятежия; но здесь... здесь ведь он еще менее прикрыт в этом смысле. Здесь его вверх тормашками поставят, и никто ничего не узнает, не увидит, не услышит! Вот он идет, он, то есть всякий, который имеет возможность налечь всем корпусом на судьбу подневольного человечества, – что-то у него в голове? какая-то затея строится у него относительно его, бедного, свалившегося с неба странника? Какой у него характер? какие привычки? Говорят, он человек не злой, но, может быть, он своенравен; может быть, у него есть в голове какой-нибудь гвоздь... Тысяча мелочных, но мучительных и никогда прежде не являвшихся вопросов восстают неизвестно откуда, осаждают голову и – увы! – растлевают сердце... А ведь это только первый приступ; это только материальные условия предстоящей жизни; это вопрос о норе, пище и возможности поддержать тело; что же придется загадывать дальше, когда пойдет речь об условиях жизни умственной?

Таково первое ощущение, испытываемое одной стороной, – ощущение в высшей степени горькое и тоскливое. Загадочность отовсюду, из всех нор бежит навстречу человеку, а как она разыграется в будущем – это тайна, над раскрытием которой ум будет работать до тех пор, пока слепой случай не разрешит томлений подневольного человека в ту или другую сторону. Говорят, что везде можно найти хороших людей; может быть, это и справедливо, но ведь справедливо и то, что хороший человек тогда только действительно хорош, когда он хорош по-нашему. Это «по-нашему» отнюдь не означает ни грубого деспотизма, с одной стороны, ни рабского прилаживания – с другой; нет, тут скрывается довольно долгий и сложный процесс, через который незаметно проходят живые существа прежде, нежели сделаются друг другу удобными. Действительная «хорошесть» представляет совокупность множества определений, хотя приблизительно общих обеим сторонам: общность стремлений и идеалов, равная степень развитости, одинаковая возможность найти друг в друге помощь и проверку и проч. «Хороших» людей, то есть людей добрых, честных и даже разумных, действительно встречается довольно, но все они хороши по-своему. Какое дело нам до хорошего человека, с которым мы не можем сказать слова, чтоб не взглянуть друг на друга в недоумении или не почувствовать необходимости в бесконечных предварительных объяснениях? А именно таков и есть хороший человек провинции. Он исключительно эмпирик; он не знает более того, что видит собственными глазами и осязает собственными руками, а ежели и знает нечто более, то есть объясняет себе явления не одним путем эмпиризма, то, пожалуй, лучше бы не знал и не объяснял. Мне был, например, известен один очень хороший человек, который был глубоко убежден, что у мужчины во лбу крест, а у женщины креста нет, а потому кликуши и порченые встречаются только между женщинами. И это был воистину «хороший» человек, то есть человек никогда никого не обманувший, не обидевший и помимо некоторых дурацких убеждений довольно бодро смотревший в глаза жизни. Я согласен, что пример этот резок; но есть бесчисленное множество примеров, хотя и менее резких, но которые, в сущности, отличаются от предыдущего только тем, что обманывают кажущимся приличием своих форм. Недаром же сама провинция сложила пословицу, что тот хороший человек, который сальных свечей не ест и стеклом не утирается. Очень возможно также, что все эти хорошие люди могут со временем развиться, но ведь это уж совсем другой вопрос, воспитательный. Говорят еще, что с хорошим человеком, кроме одинакового умственного уровня, можно сойтись еще на почве человечности; но и это, к сожалению, только отчасти справедливо, ибо отношения, завязывающиеся исключительно на почве человечности, никогда не бывают отношениями полного равенства. Чувство человечности никогда не бывает свободно от примеси благосклонности, с одной стороны, и примеси благоговения – с другой. Весьма похвально, ежели человек признает человеческое достоинство даже в том из своих ближних, с которым он имеет очень мало точек соприкосновения; не меньше похвально, если он старается поднять этого ближнего до своего собственного нравственного и умственного уровня; но глаз мало-мальски пронизательный без труда увидит, что тут уже есть усилие. Какой же может быть после этого вопрос о равенстве? А ведь для человека, если он не зверь и не превозвысившийся в чинах кантонист, равенство в смысле общности есть именно та самая вещь, которая желательна всего более и без которой возможно только насильствование собственной природы.

Тем не менее чувство одиночества выносимо с трудом. Постепенно охватывая и одолевая человека, оно изнуряет его до того, что потребность искания и даже создания «хорошего» человека заглушает в нем все остальные потребности и соображения. Посмотрим же теперь, как относится к акклиматизируемому человеку та другая сторона подневольного человечества, среди которой ему назначено судьбой акклиматизироваться.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Можно почти утвердительно сказать, что отношения этой стороны вполне сочувственны акклиматизируемому. Она не хочет знать о тех высших соображениях, которые бросили странника в ее захолустье; она с участием смотрит на его недоумение, она жалеет его. Во-первых, как ни скудно ее собственное прошлое, но оно все-таки существует, а потому она понимает, что прошлое должно быть и у этого человека. И чем нечаяннее произошел разрыв с этим прошлым, тем он должен быть для него больнее. Во-вторых, если не совсем ловко расставаться даже с таким прошлым, в котором ничего не отыщется, кроме воспоминаний о выеденном яйце, то тем тяжелее отказаться от такого прошлого, в котором имелся интерес действительный. А что этот интерес был – это доказывается тем, что акклиматизируемый не сам от него оторвался, а нашлось нужным оторвать его от него. В-третьих, «тутошных» людей поражает то обстоятельство, что акклиматизируемый человек никак не может сразу приладиться на новом месте, не ходко идет, а все как будто озирается, нащупывает, пробует. Он делает видимые усилия, чтоб переломить себя и попасть в тон новой действительности; но напряженность этих усилий наводит на соображения очень чуткие и верные. Стало быть, размышляют обыватели, ему там лучше было, в своем-то месте, если он никак не может с своим сердцем совладать. И, сообразив это, начинают жалеть вдвое. Но есть еще и четвертая причина жаления – это темное, почти инстинктивное сознание, что и они, обыватели, суть дети той же случайности, как и сей акклиматизируемый человек, и что если эта случайность однажды швырнула к ним аэролит, то и для каждого из них может тоже прийти очередь быть аэролитом...

– Ах ты, касатик наш! тяжко тебе поди в чужих-то людях! – хором жалеют обыватели, вдруг преисполнившись любви и соболезнованья к акклиматизируемому.

– Да ведь живете же вы! буду как-нибудь жить и я! – отвечает «касатик» искусственно твердым голосом.

– Где-уж тебе! мы чтов! мы люди тутошные! нам, пожалуй, и бежать-то некуда!

Этот последний довод, это горькое сознание подневольности со стороны людей, по наружности вполне свободных, охватывает душу акклиматизируемого каким-то страхом. До сей минуты он был уверен, что нет на свете хуже его положения, нет несчастья горше его несчастья. И вот оказывается, что существует несчастье более глубокое, несчастье, преследующее человека от колыбели до могилы и даже самим им признаваемое за нечто нормальное, неизбывное. Но, рядом со страхом, это открытие производит и иное явление, значительно смягчающее его, а именно: оно рождает и в другой стороне то самое жаление, о котором уже упоминалось выше. Из обывательских сердец это чувство переходит в сердце акклиматизируемого и немедленно дает живые ростки. Ни в ком и нигде он не только не видит озлобления, но даже и тени предубеждения против себя. Сам исправник, муж твердый в бедствиях, и тот, проходя мимо него, разглаживает морщины на хмуром челе и с какой-то почти ангельской улыбкой говорит:

– Чтов, молодец? поприлаживаешься? то-то! живи да оглядывайся!

Здесь я должен, однако ж, сделать небольшую оговорку, чтобы не дать повода к более или менее злостным толкованиям, на которые так тороваты наши благонамеренные свистуны.

Я констатирую один из далеко не мелких фактов нашей современной провинциальной жизни, и констатирую его без преувеличения. Я не говорю, что на акклиматизируемого набрасываются звери; я не заставляю его пропадать с голода и холода или изнывать под игом чересчур ревностного наблюдения. Напротив того, я ставлю его в самое благоприятное положение – в положение человека, к которому устремлены искреннейшие симпатии. Новая действительность, с которой сталкивается акклиматизируемый человек, вовсе не зубата, не кипит враждою и злобою – я охотно о том свидетельствую и заявляю. Но в то же время я говорю: есть на свете нечто более злое, нежели самые злые звери, – это ничем не восполненное чувство одиночества, это ничем не утоленная тоска сердца, оторванного от своего прошлого и не нашедшего пищи в настоящем. И нет того доброжелательства, нет тех сочувственных слов, которые могли бы помочь этому высшему горю из всех горестей, когда-либо испытываемых человеком...

С другой стороны, я отнюдь не хочу утверждать, что акклиматизируемый человек непременно представляет собою высший организм относительно тех существ, с которыми свела его судьба. Но я был бы неправ, если б умолчал, что это человек

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru иных привычек, иных взглядов на вещи. И если бы кто-нибудь предложил мне вопрос: совершеннее ли эти привычки, чище ли эти взгляды, нежели те, которые выработались в среде провинциального захолустья, – я поступил бы недобросовестно, если бы дал другой ответ, нежели: дав, совершеннее, чище. В этом заявлении нет даже ничего такого, что ставило бы акклиматизируемого человека на пьедестал, ибо относительное совершенство, которым он пользуется, принадлежит не столько ему лично, сколько той иной среде, воздух которой он заносит вместе с собою.

Сверх того, я ни слова не говорю о тех «высших соображениях», которые играют в этом случае очень немаловажную роль. Я не призван быть судьей этих соображений и потому прохожу мимо них молчанием, констатирую лишь голый факт.

Затруднения, которые неизбежно сопрягаются с отысканием «хороших людей» в провинции, бывают двоякого рода. Первое заключается в том, что при настоящих условиях дело покорения человеческих сердец возможно только тогда, когда оно ведется в формах самых сдержанных и уклончивых; второе – в том, что человек, занимающийся покорением сердец, волею или неволею обязывается прежде всего открыть какое-нибудь посредствующее звено, которое связывало бы его личные идеалы с теми, которые стоят у него на пути. Что акклиматизируемый человек обязывается вести свои поиски в формах до крайности уклончивых – это ни для кого не тайна.

Невозможно отрицать, что каждое его действие, каждое слово подвергаются комментариям, в которых предвзятая мысль и подозрительность играют роль очень видную. Исключительный характер положения ставит его открытым для всех взоров и предположений. «Может быть, он и в самом деле какой-нибудь смутьян?» – невольно спрашивает себя обыватель, сбитый с толку загадочной внешностью, облакающей факт появления акклиматизируемого человека; а наблюдающая власть даже и вопросами не задается, а прямо говорит: «Дав, смутьян». Хоть это нимало не вредит жалению, разлитому во всех сердцах (обыкновенно этот предполагаемый смутьян – молодой человек, а кто же смолodu не был молод?), но не вредит лишь под условием строгой выдержки и смотра в оба. Этого мало: угрозы, которыми действительно окружено существование акклиматизируемого человека, в весьма значительной степени усиливаются еще угрозами несуществующими, но возможными. Предположим, что акклиматизируемый человек настолько благоразумен, что уже не ждет особенных ласк от судьбы, но легкость, с которою он на каждом шагу рискует подвергаться всевозможным ущемлениям и уязвлениям, невольным образом должна наводить его на соображения далеко не светлого свойства. Очень может быть, что никто не воспользуется этою легкостью, но она существует как возможность, и этого достаточно, чтобы мысль самую смелую привести в смущение. А отсюда следствие ясное: или необходимость уйти в себя, или же не менее горькая необходимость взвешивать каждое слово, обесцвечивать его и сообщать ему двойной смысл. Понятно, какую неясность и запутанность должны страдать отношения, которые завязываются при подобных условиях.

Второе затруднение еще важнее. Звено, которое связывает идеалы акклиматизируемого человека с идеалами аборигена, так длинно, что невозможно утилизировать его иначе, как укоротивши его, а это – по крайней мере, для начала – возможно сделать только с явным ущербом для первых. Человек, отдающий себя делу воспитания, весьма редко принимает в расчет ту силу сопротивления, которую оказывает сторона воспитываемая, но суровая действительность не замедлит напомнить ему об этом, и напомнить самым разочаровывающим образом. Тут дело не только в терпеливом повторении задов, но и в ниспровержении лжей и фантазмагорий, накопленных эмпиризмом и суеверием. Тут дело идет не с *tabula rasa*, [36] а с доскою, исписанною сверху донизу каракулями очень определенного свойства. Каждая из накопленных лжей отстаивается тем с большим упорством, чем меньше имеется разумных оснований для поддержания ее. И в большей части случаев самое прикосновение к лжи считается дерзостью, почти что святотатством.

– Нет, ты это оставь, – говорит обыкновенно обыватель, – это так уж от бога положено.

И заметьте, таким образом говорит обыватель, который считает себя снисходительным; менее же снисходительный даже разговаривать не будет, а просто вытаращит глаза и пойдет строчить втихомолку просьбицу. Спрашивается, насколько же должен умалить себя человек, отыскивающий хороших людей, насколько он должен поступиться, обезличиться, покорить самого себя, чтобы провести какой-нибудь

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
уровень между собою и этими искомыми людьми?

Сверх того, человек, который предпринимает работу сближения в провинции, должен сказать себе заранее, что это совсем не та работа, которую он вел в то время, когда он жил в своем месте. Возможность определенного формулирования мысли, спокойная постановка возражений и спокойное же обсуждение их – вот характеристические черты того взаимовоспитания, которое там, в этой иной, более благоприятной среде, зрело и упрочивалось. В этом минувшем процессе самовоспитания, несмотря на его недоконченность, уже существовало множество положений, совершенно выработанных и бесспорных, а это, в свою очередь, устраняло с арены споров так называемые азбучные истины и позволяло мысли сосредоточивать все свои усилия на главной задаче. Ничего подобного не найдет акклиматизируемый человек в новой деятельности, которая предстоит ему в провинции. Прежде всего на него градом посыплются возражения, и притом возражения торопливые и требующие столь же торопливых разъяснений. Малейшее колебание в этом случае надолго подрывает репутацию популяризатора и ставит его в ряды легкомысленных людей, о которых, как известно, в провинции сложилось множество самых смешных поговорок, вроде: «Не сули журавля в небе», «Не хвались, идучи на рать», и проч., и которые в каждом колебании находят себе подтверждение.

– На посуле-то ты, как на стуле, – подсмеивается обыватель над замаявшимся популяризатором, – а как до дела дошло – тут и нет тебя!

Что же касается до бесспорных подготовительных положений, которые так облегчают дальнейшую работу мысли, то их нет вовсе. Тут все спорно, все надо начинать сызнова, над всем останавливаться, все разъяснять. А так как это труд дробный и утомительный, то время уходит без остатка, и в конце концов популяризатор не без удивления замечает, что в деле собственного развития он не сделал ни шагу вперед, в деле же развития ближних достиг лишь того, что приобрел право гражданства для таких бесконечно малых крупиц, которые он предполагал уже с колыбели присущими каждому человеку.

Ничтожество этого результата действует тем поразительнее, что всякий акклиматизируемый человек непременно до мозга костей проникнут любовью и сочувствием к массе. Работа, которая велась им еще там, в своем месте, никогда не имела в виду ничего, кроме массы и ее кровных интересов. Но вот является случай сделать массу участницею этой работы, и с первого же шага возникает бесчисленное множество преткновений. Масса не только не обладает ни одною из элементарных истин, составляющих необходимый отправный пункт для дальнейших обобщений, – она не знает даже, от кого и как получить эти истины, где ее друзья, где ее враги. Те тонкие, невидимые нити, которые связывают с нею человека, живущего в обстановке вполне отличной от ее обстановки, совершенно ускользают от ее понимания. Кто этот человек, который упал в среду ее, подобно аэролиту? С какой стати он предпринимает работу сближения? Не вернее ли предположить, что, благодаря особенностям воспитания и всему складу прошлой жизни, у него не должно быть ни малейшего интереса для поисков «хорошего человека» между ними, бедными тутошными людьми?

Все эти сомнения невольным образом закрадываются в массу и заставляют ее с недоверчивостью относиться к воспитательным попыткам. Масса, конечно, и сама чувствует, что она страдает и терпит лишения, но чтобы этими ее страданиями страдал человек, который всеми условиями жизни поставлен вне необходимости страдать и терпеть лишения, – это для нее непонятно ни с какой стороны. Никогда она не видала подобных примеров; никогда не было у нее ни ревнителей, ни печальников, а ежели таковые и были, то она, конечно, ничего не знала о них. Все ревнительство ограничивалось случайно брошенным словом, которое тут же и замирало, а вслед за ним и сами ревнители исчезали в пучине. Масса ни разу не испытала на себе ни одного отголоска этого ревнительства и продолжала протестовать против своих страданий единственным оружием, которое было у нее в руках: страданиями же или – много-много – частными нарушениями некоторых обязательных для нее правил. И вдруг она видит этих ревнителей воочию, видит их проникающими в самое сердце ее... Зачем?

Зачем эти сравнительно изнеженные, набалованные люди прикасаются к ее страданиям, к тем страданиям, которые не суть их страдания, но составляют исключительный удел лишь масс?

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вот каким образом рассуждают «хорошие люди» провинции, «хорошие» не в ироническом смысле, а в действительном. Предоставляю читателю самому решить, насколько подобные рассуждения благоприятны для акклиматизируемого человека.

Но, кроме поверья о том, что хорошие люди везде живут, есть еще другое поверье, утверждающее, что и для масс возможны минуты прозрения. Против этого поверья возражать нельзя. Минуты прозрения не только возможны, но составляют неизбежную страницу в истории каждого народа. Однако для человека, взятого изолированно, дело заключается не в одной возможности подобных минут, но и в его личном отношении к ним. Когда наступят эти минуты? Для кого расступится мрак, окутывающий лицо масс, и даст увидеть это лицо просветленным, носящим печать сознания и решимости? Слова нет, что даже отдаленная возможность чего-либо подобного может поддержать в человеке героизм; но ведь герои не растут на свете, как грибы в лесу, а сколько же есть людей не героев, а просто честных, полезных и наклонных к добру, для которых эти вопросы суть вопросы утешения или отчаяния?

Во всяком случае, разрешения этих вопросов покамест еще не предвидится. В громаде убиенных, которую представляет собой масса и для которой, по-видимому, нет в настоящем никакого просвета, существует какое-то неисповедимое тяготение к обседающему ее со всех сторон злу, какой-то непреодолимый страх ко всему, что не разум, не по магию волшебства устраняет его. Сбитая с пути разумных отношений к окружающей природе, загнанная в мир чудес, эта громада от чуда ждет избавления своего из земли египетской, и никакие пророки в мире не убедят ее, что это избавление зависит от нее самой. И что ж это за пророки! Добро бы это были пророки, являющиеся на вершине горы, среди блеска молнии, а то пророки, ютящиеся в самой низкой низменности города Некасытя, – пророки, набравшие в рот воды, озирающиеся по сторонам и объясняющие склады! «Да дайте же пинка этому пророку!» – резонно замечает капитан-исправник. «Накаливай его!» – словно эхо перекачивается из края в край в массе убиенных.

Существуют, однако ж, вопросы, к которым масса не может относиться иначе, как с возбужденным интересом. Это вопросы ближайших нужд, из совокупности которых слагается жизнь коренного обывателя и возделывателя земли. На сцене – изнуряющая мысль о гроше; на сцене – вечная забота, вечная сутолока, имеющая в предмете завтрашний день. Мы знаем, что земля наша изобильна, а между тем все статистики свидетельствуют, что в цивилизованном мире нет страны, которая потребляла бы так мало мяса. Мы знаем, что земля наша велика, а между тем нигде коренной житель не живет так тесно, так сперто. Это не жилища, а логовища. Ночью в избе русского мужика невозможно полчаса выдержать, – до того она преисполнена всякого рода миазмов; а он настолько обдержался, что векует тут целую жизнь. Нигде работа так не тяжела, не безотдышна, как у нас. Рабочий человек каждый шаг берет с бою, каждую минуту борется с препятствиями, потому что все стихии в заговоре против него. В этом странном шалаше, называемом избой, он не защищен ни от чего. Он ест пищу, лишнюю питательности, и притом ест без соли; он спит на голых досках, покрываясь собственной одеждою. Ученые свистуны, рыскающие по России с целью различных экономических исследований, уверяющие, что русского человека тошнит от еды, и указывающие на громадные цифры заграничного отпуска, утверждают самую бессовестную неправду. Их поражает не изобилие, а перспектива суточных, подъемных и прогонных денег.

Такого рода вопросы были бы, конечно, понятны и в Патагонии, но не надо забывать, что покуда они представляются уму обнаженными от применений и выводов, то самая удобопонимаемость их может принести мало пользы. А в том-то и заключается действительное несчастье масс, что они не имеют досуга для развития, что они живут только настоящею минутой и что для ограждения настоящей минуты им выгоднее признать зло застывшим или, в крайнем случае, что-нибудь временно выторговать у него, нежели начать его прямое обличение.

– Враг силен, враг горами качает! – говорит обыватель, изнуренный не борьбою со злом, а подчинением ему, – как бы только вконец не убил!

И только. Затем, с какой стороны ни подойдите к провинциальному патагонцу, вы встретите его до такой степени вооруженным афоризмами, что во всем его организме не найдется ни одной точки, которая была бы чему-нибудь доступна, кроме безотчетного страха.

Таким образом, искание «хорошего человека», переходя от сомнения к сомнению, почти всегда разрешается полнейшим фиаско. Но ежели фиаско вообще нигде не

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru проходит даром, то тем менее прощает ему провинция,

Для обеих сторон наступает минута разочарования. Акклиматизируемый человек замечает, что каждая новая минута общения приводит за собой только новый повод для недоумений. Азбука, которую он вынужден безнадежно повторять, до такой степени раздражает его нервы, что в глазах его даже затемняется смысл окружающей действительности. Рождается вопрос: к чему начата вся эта комедия? растет жгучее желание покончить все разом, сию минуту; вырываются движения, которым лучше было бы остаться под спудом. Хотелось бы сделать так, чтобы вся эта история забылась и порвалась сама собою; хотелось бы приютиться где-нибудь особняком, запереться, уйти... Но простой разрыв уже оказывается невозможным, потому что и абориген, в свою очередь, подметил борьбу, овладевшую акклиматизируемым, и следит за нею с интересом тем живейшим, чем слабее развита в нем потребность следить за своим собственным внутренним миром.

Как ни непосредственно чувство жаления, оно никогда не остается надолго чувством вполне бескорыстным. «Жалеющий» любит, чтоб «жалеемый» ценил это чувство, чтоб он отвечал ему любезностью и, во всяком случае, готов был разводиться с ним тары да бары. Непрошенный глаз врывается в жизнь акклиматизируемого и наполняет ее бесполоквейшею путаницей самородных мирозерцаний. Затем являются попытки приручить, оседлать и оболванить. Образуется убеждение, что «хоть барин-то и прыток, однако поживет с нами – авось и упрыгается». Самолюбия становятся чуткими до болезненности, а мысль о совершенной неприкрытости акклиматизируемого не только не укрощает охоты к нетрудным подвигам, но разжигает ее больше и больше.

– Вся-то цена тебе грош, – плюнуть да растереть! – а ты еще ломаешься!'

Я не стану изображать здесь ни дальнейшего хода этого странного процесса превращения жаления в ненависть, ни картины оскорблений и преследований, которые являются неразлучными его спутниками. Трудно винить кого-нибудь в таком факте, который основывается исключительно на недоразумении. Обе стороны действовали добросовестно. Благодушно подали друг другу руки, еще благодушнее старались насиловать свои естественные влечения и привычки, и только тогда догадались, что им вовсе не следовало сходитьсь, когда уже были перепробованы все мотивы общения и ни один не оказался достаточно жизненным, чтобы сделаться действительно скрепляющим звеном. Понятно, что чем больше приносится жертв, тем живее чувствуется горечь неудачи; но нельзя же прибавить, что главнейшие уязвления этой горечи все-таки обрушиваются лишь на одну сторону: на акклиматизируемого.

Таким образом, в покальваньях и уязвлениях (их можно бы назвать бессовестными, если б они не были вполне бессознательны) уходят дни за днями, покуда всеисцеляющее время не умирит вражды и не изгладит самого воспоминания о выеденном яйце, которое послужило ей основанием. Что принесет с собой это умирение акклиматизируемому человеку?

Предположите, с одной стороны, что человек настолько покори себя, что сделался тише воды, ниже травы. Посмотрите, как он ежится, как он каждоминутно то расцветает, то увядает, как спокойно он прислушивается и засматривает в глаза, как торопливы и, так сказать, укорочены все его движения! Но когда этот человек остается один на один с самим собою, когда в нем вдруг пробуждается сознание проведенного дня, сколько должен он послать проклятий себе и судьбе! Какое мучительное чувство тоски, унижения, безвыходности должно овладеть им? Вот он быстрыми шагами ходит по своему тесному логовищу; он думает, и не знает сам, о чем думает; он беспрестанно хватается за голову, как бы желая собрать свои мысли воедино. Но одна только мысль держит его крепко; это мысль: все кончено! Благотворное дело! какое возможно благотворное дело, когда в голове свила гнездо только одна реальная мысль: все кончено! «Возьмите! вырвите! прекратите!» – вопиет он в тоске, и бесследно замирает этот вопль среди внимающих ему четырех стен.

С другой стороны, предположите, что человек, еще не приступая к процессу общения, уже решил, что одиночество есть единственная форма существования, возможная в его положении. Он прав: одиночество избавляет его от назойливости и дает возможность сохранить неприкосновенным хотя тот запас, который приобретен им в прошедшем. Тем не менее все это нимало не утоляет горечи, которую переполнено его существование. Не говоря уже о том, что потребность общественности сама по себе есть живейшая потребность человека, не следует

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru забывать, что тот умственный запас, который заготовлен в прошедшем, необходимо должен глотнуть и засыпать по мере того, как прекращается процесс освежения и возобновления его. При отсутствии живой проверки мысли человек ставится в странное положение своего собственного оппонента и своего собственного защитника. Этот недостаток мог бы быть отчасти устранен, если б была книга, но в наших провинциальных музьях очень много навозу и всего меньше книг. Остается, стало быть, один выход: переваривать и припоминать прошлое. Но когда прошлое уже повторено и перебрано во всех подробностях, когда мало-помалу ослабевают и стираются даже мотивы, вызывающие эти воспоминания, тогда на арену выступает все та же всесильная мысль: все кончено! Все кончено; жизнь прекратилась; будущее исчезло.

Я не говорю: жертвы бесполезны; я говорю только, что дозволительно изумление. Люди и даже дела их исчезают на наших глазах поистине беспримерно. Точно в яму, наполненную жидкой грязью, нырнут, и сейчас же над ними все затянет и заплывет. Вчера еще был человек, а сегодня его уже нет. Не только из жизни, но даже из хрестоматий и курсов словесности исчезают люди. И за каждым исчезновением – молчок. Грады и веси продолжают процветать: некоторые из них постепенно познают пользу употребления картофеля, другие – постепенно же привыкают к мысли о необходимости ослопрививания и проч. Но нигде, наверное, не скажется потребность освобождения мысли, того освобождения, без которого немислимо никакое умственное и материальное совершенствование.

В этом отношении везде, куда ни обратитесь, – молчок.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПИСЬМА О ПРОВИНЦИИ

Художественно-публицистические «Письма о провинции» создавались Салтыковым с января 1868 по июль 1870 г.: три первых были написаны, а четвертое начато во время последней его службы в Рязани; остальные писались уже после отставки 14 июня 1868 г., когда Салтыков, окончательно возвратившись из провинции в Петербург, целиком отдался литературной работе в перешедших под редакцию Некрасова «Отеч. записках».

Главный предмет размышлений автора «Писем» – пореформенная жизнь русской провинции и ее перспективы. Тема эта приобрела особенную остроту в связи с тем, что зимой 1867/68 г. почти все губернии Европейской России были охвачены голодом – последствием очередного неурожая.

Официозная и часть либеральной прессы пыталась приуменьшить размеры бедствия и свести вопрос о путях его преодоления к частной филантропии, продолжая в то же время восхвалять «великую реформу», будто бы наделившую бывших помещичьих крестьян землей и правоспособностью (участием в местном самоуправлении – «всесословном земстве»).

Напротив, органы крепостнической реакции связывали именно с этими «дарами» реформ развал экономики деревни. Ее разорение дворянские публицисты разных оттенков, от кн. В. П. Мещерского до П. Ф. Лилиенфельд-Тоаля, автора нашумевшей брошюры «Земля и воля» (СПб. 1868), оплакивавшей «блаженство» крепостничества, объясняли пьянством, ленью, бестолковостью мужиков, лишившихся «отеческого управления». Предлагаемые рецепты сводились к усилению опеки над крестьянами со стороны государства и помещиков, а то и к прямому возвращению дореформенных порядков. Газета «Весть», например, открыто ратовала за возврат к крепостным отношениям.

Демократическая печать – «Отеч. записки», «Дело», «Искра», «Неделя» – в своей оценке реформ и положения крестьянства после освобождения заняла позиции, противостоящие и либеральным приукрашиваниям, и крепостническому злопыхательству. Демократические публицисты устанавливали социальные причины обнищания крестьянского хозяйства: уменьшение наделов, непомерное увеличение всяческих поборов в ходе и после реформы, сохранение мелочной регламентации жизни крестьянина, его фактического бесправия и т. п. – то есть видели эти причины в половинчатости самих реформ и «несовершенствах, которыми сопровождалось исполнение». [37] Отсюда вытекали требования демократизации всего общественного строя.

Требования эти обосновывались разнообразными материалами, из номера в номер печатавшимися в 1868 г. в «Отеч. записках», – будь то непосредственные

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru впечатления корреспондента («Из недавней поездки» Н. Демерта – № 12) или отклики на текущую прессу (см., например, «Совр. заметки» в №№ 3, 4, 7, 10 и др. – их вел Л. И. Розанов), полемические рецензии на книги крепостников (например, на упомянутую брошюру «Земля и воля» – № 9, отд. II, стр. 78, без подписи) или проблемные публицистические статьи (например, «Производительные силы России» Елисеева в № 2).

В ряду этих выступлений «Письма о провинции» Салтыкова занимают центральное место. Их выделяет масштабность охвата, глубина художественно-сатирического обобщения «русловых» явлений пореформенной русской жизни, пронизательность анализа материалов, добытых непосредственно из первоисточников.

Пореформенные публицисты разных направлений часто облекали свои выступления о русской провинции и деревне в «эпистолярную форму», желая придать им большую силу достоверности. [38] Ученые-экономисты, например В. Безобразов и др., в своих сочинениях о состоянии послереформенной экономики также стремились оперировать статистическими сведениями и другими фактами, собранными ими непосредственно в поездках по глубинным уездам. Этим материалам и впечатлениям, в которых положение русской деревни и провинции вольно или невольно фальсифицировалось, следовало противопоставить непосредственные же наблюдения над этой жизнью. Жизненный и служебный опыт Салтыкова, в 1858–1861 гг. вице-губернатора в Рязани и Твери, а в 1865–1868 гг. управляющего казенной палатой в Пензе, Туле и Рязани – давал для этого широкие возможности.

В ведении казенной палаты находились патентные сборы, наблюдение за «поступлением государственных доходов» (уплатой налогов, недоимок), и Салтыков мог досконально изучить состояние провинциальной экономики. Он, разумеется, не только наблюдал процесс проведения реформ в жизнь «на местах», махинации бюрократии и помещиков по ограблению крестьян при выкупных операциях, но и по мере сил защищал интересы разоряемых «временнообязанных». [39] Этот опыт писателя нашел широкое отражение в «Письмах о провинции». Сохранившееся в воспоминаниях Боборыкина признание Салтыкова: «Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель», [40] – имеет самое прямое отношение к этому произведению.

Салтыков, давая отпор крепостникам, высказывает свое положительное отношение к «намерениям 19 февраля», то есть к самому акту освобождения крестьян от ужасов личного рабства (см. стр. 210, 238, 269 и др.). Вместе с тем его общая оценка реформ резко противостоит либеральным славословиям в их адрес. Исследование смысла и причин противоречия между официальным оптимизмом реформ и реальным «оскудением» жизни в пореформенной провинции, анализ социальных сил, наложивших свой отпечаток на характер реформ и способы их проведения, составляют одну из важнейших сторон содержания «Писем о провинции».

Уже в экспозиции цикла Салтыков анализирует политическую борьбу в русском пореформенном обществе: отношения «историографов» – представителей дореформенных помещичье-чиновничьих сил, сохраняющих ключевые позиции в управлении, и «пионеров» – чиновников новых ведомств (акцизных, контрольных, судебных), а также деятелей порожденных реформами земских учреждений. «Распря» между «историографами» и «пионерами», захватившая умы «образованного общества», – сюжетный стержень, вокруг которого строится сатирическая типология первых «писем».

Автор создает также проникнутые иронией собирательные характеристики участников промежуточных групп: «складных душ» – ренегатствующих перебежчиков, и «фофанов» – бездумных исполнителей велений «историографов».

Салтыков показывает, что сила в этой междуусобной войне «исконных историографов» с «пришельцами» – «пионерами» остается на стороне первых. Исход борьбы предreshен уже самой бессодержательностью принципов либеральствующих «пионеров». В своей боязни революционных «увлечений» и социалистических «утопий» они неминуемо идут к подчинению реакционно-консервативным силам, к сближению с ними. «Пионеры – историографы будущего» – так формулирует писатель диалектику их политического развития. В такой перспективе «раздор» двух лагерей в аппарате власти оказывается, в сатирической интерпретации Салтыкова, «делом о выеденном яйце».

Сосредоточивая внимание на самом характере пореформенной деятельности «историографов», на их отношении к «преобразованиям последнего времени», автор

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru раскрывает существеннейшее противоречие русской жизни: «влиятельными практическими деятелями на почве 19 февраля явились люди, не могущие и даже не дающие себе труда воздержаться от судорожного подергивания при малейшем намеке на эту почву». Это кардинальное противоречие социально-политической современности, коренившееся объективно в том, что буржуазные реформы в России проводились под эгидой самодержавия, руками крепостников и чиновной бюрократии, сохранивших свое «всевластие» и содействовавших упрочению в пореформенном укладе крепостнических пережитков, – получило сатирическое претворение в собирательном образе «ненавистников» – рыцарей исконных «зуботычин» в новом облике реформаторов («Письмо третье»). Они «рыскают по градам и весям», разоряя народ под предлогом осуществления реформ. Используя страх самодержавия перед революционным движением, они строят свою карьеру на неистовой борьбе с «нигилизмом», насаждают «шпионство, наушничество и вольный донос». Этой политической стороной своего содержания тип администратора-«ненавистника» сближается с «легковесными» (см. одноименный очерк и комментарий к нему). Позднее он будет детально разработан в «Господах ташкентцах» (1869–1872).

Однако главный идейный антагонист Салтыкова, с которым он ведет в «Письмах» непрерывный бой, – идеологическое «ненавистничество», идеология и психология крепостничества, сохраняющиеся в нравах и мыслях людей и после юридической отмены крепостного права.

«Не потому оголилась и оголяется жизнь, – формулирует Салтыков свою мысль, – что крепостничество уничтожено, а потому, что оно еще дышит, буйствует и живет между нами» («Письмо седьмое»). Писатель обнажил «корень» сохранения силы реакционной бюрократии и помещичьего «чужеядства» в самом «складе жизни», стиснутом «прежними рамками» сословного неравенства, своекорыстия и самодержавного произвола («Письмо пятое»). Вывод писателя уже в первых «письмах» определен: необходимо радикальное изменение всего порядка вещей, «склада» общественных отношений, полное устранение «историографов» и «ненавистников» от дела обновления страны.

Этот вывод углубляется в последующих «письмах»; где предмет внимания автора – состояние экономики провинции после реформы. Нищенское прозябание, застой в развитии производительных сил, убогое состояние народных промыслов выступают в зарисовках уездного Глупова («Письмо девятое») как следствие именно коренных противоречий пореформенной русской действительности. Для Салтыкова их узел – в незыблемости абсолютистской государственной машины, выкачивающей все живые соки из страны, в сохранившемся и после отмены личного рабства экономическом принуждении и политическом бесправии крестьянина, его беззащитности и перед притязаниями крепостников, и перед грабителем – фиском, и перед любым хищником – «негоциантом Белобрюховым».

Первоочередная историческая задача – освобождение народа от всех ограничений его самостоятельности. Эту задачу бессильны решить земские или иные либеральные учреждения в рамках старого политического уклада. Либеральные «пионеры», как и реакционные «историографы», торжествующие «ненавистники», претендуют на открытие новой страницы истории, но они – лишь «накипь» на ее поверхности. Подлинное же содержание «действительной истории человеческого обществ» составляет «безвестная жизнь масс», как писал Салтыков в разгар работы над «Письмами» в рецензии на сатиры и песни Д. Д. Минаева весной 1868 г. [41] И когда он, начиная с шестого «письма», переходит от сатирического анализа «чужеядных наростов» к исследованию «жизни масс» (крестьян), и в пореформенный период опутанных тенетами нужды, бесправия и социальной слепоты, авторская интонация приобретает трагическую окраску.

«Убожество» существования крестьянства в 60-х годах трезво показывали и письма Скалдина (псевдоним Ф. П. Еленева) «В захолустье и в столице», которые печатались в «Отеч. записках» одновременно с «Письмами о провинции» Салтыкова. [42] И Салтыков и Скалдин фиксировали процесс пауперизации русской деревни. И тот и другой полагали, что темнота, «нищета и разорение унаследованы крестьянами от крепостного права», [43] связаны с сохранившимся его «последом».

Однако принципиально и различие этих двух антикрепостнических документов русского просветительства. Скалдин всецело уповал на постепенность в совершенствовании крестьянского самоуправления и призывал власть к дальнейшим преобразованиям. Для Салтыкова же само существование власти «историографов» делало подобные надежды беспредметными, лишало их реальности. В его освещении

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru социальная неразвистость мужика – это вопрос сугубо политический, вопрос о возможностях и перспективах борьбы народа за свое освобождение. Центральная мысль «Письма шестого»: крестьянин «беден всеми видами бедности <...> и, что хуже всего, – беден сознанием этой бедности» – приводилась В. И. Лениным как афористическая формула политической забитости и пассивности крестьянства, его покорно-фаталистического отношения к угнетению (см., например, статью В. И. Ленина «Гонители земства и аннибалы либерализма»). [44] Благодаря одновременному появлению в печати «писем» Скалдина с их «спокойной рассудительностью, умеренностью, постепеновщиной», [45] и «писем» Салтыкова рекомендации либерально-буржуазного просветителя оттенили высоту угла зрения и глубину выводов просветителя революционного. [46]

Вместе с тем Салтыков (и в этом он был близок к Скалдину) отрицательно оценивал роль общины в жизни современного крестьянства, что было продиктовано последовательной просветительской враждой к любым формам регламентации свободы личности крестьянина, сдерживающим прогресс производительных сил страны. Здесь Салтыков разошелся с таким крупным публицистом «Отеч. записок», как Елисеев, который уже в статье «Крестьянский вопрос» (ОЗ, 1868, № 3), в противоречии с высказывавшимся им самим и всей демократией 60-х годов требованием уничтожить опеку государства и помещиков над крестьянами, предлагал принять законодательные меры к сохранению общины, к неотчуждаемости крестьянских участков внутри общины. Это, надеялся Елисеев, оградит мужиков от эксплуатации сообщинников-кулаков и от притязаний фиска (с подобными представлениями об ограждающей функции общины Салтыков особенно развернуто полемизировал в журнальной редакции «Письма осьмого» – см. вариант к стр. 287).

Актуальность спора о роли общины на страницах «Отеч. записок» 1868–1869 гг. определялась его прямой связью с центральной проблемой, над которой билась в эти годы революционная мысль, – о дальнейших формах и возможностях русского освободительного движения. Идеологи и практики революционной демократии неустанно искали выхода из идейного кризиса, вызванного крахом надежд на быстрое политическое созревание крестьянских масс. Этот кризис выразился, в частности, в попытках найти какие-то «обходные» формы движения к социальному освобождению, помимо общенародной политической борьбы, например «химический» путь: распространение в народе естественнонаучных знаний силами «мыслящих реалистов» и внушение эксплуататорам выгод социалистического строя; [47] или мирное, опирающееся на общинные начала, стихийное движение общества к социализму «в обход» государственной власти [48] и т. п. Такого рода идеи в сознании выдающихся мыслителей, как Писарев и Герцен, преодолевались их последующим духовным развитием. Однако они нашли многообразное преломление в планах и длительных спорах в среде русской демократии конца 60-х годов.

Действительность уже начинала разрушать представления русских социалистов о «социалистических инстинктах» мужика, но многие из них тем более упорно связывали теперь свои надежды с этими инстинктами, отказываясь в то же время от политической пропаганды в народе, от политической борьбы, неспособной, по их мнению, принести массам подлинного, социального освобождения. С другой стороны, в тактике подпольных организаций намечался крен к интеллигентскому заговору. На рубеже 70-х годов названные тенденции проявились наиболее явно, хотя отнюдь не однозначно, в различных собственно народнических тактических программах, выдвинутых Ткачевым, П. Лавровым, М. Бакуниным и др. Так, в прокламациях Бакунина – Нечаева 1868–1869 гг. главным средством освобождения народа провозглашались анархические путчи, немедленный бунт против государства, превозносились самые темные формы народного протеста, например разбой. [49] А в «Исторических письмах» Лаврова в 1868–1869 гг. на первый план выдвигалась задача воспитания «критически мыслящих личностей». [50]

В связи с намечающимися разного рода субъективистскими тенденциями особенное значение для дальнейшего развития идеологии русского освободительного движения приобретали философско-социологические выводы «Писем» Салтыкова (и очерка «Сила событий» из «Признаков времени») о необходимости пробудить к сознательному историческому действию крестьянские массы. Эта необходимость была осознана им еще в годы революционного подъема (см. «Глуховское распутство» в т. 4 наст. изд.). Констатируя теперь придавленность народа, пережившего «историю ошеломлений», писатель вместе с тем неуклонно выражает в «Письмах» укрепившееся на опыте исторических неудач убеждение в бессилии революционеров без народа, в необходимости для демократической интеллигенции во что бы то ни стало «отыскать для масс выход из той глубокой бессознательности, которая равно вредна для них,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru как и для нас» («Письмо шестое»).

В VI, VIII, XII «Письмах о провинции» и примыкающем к ним очерке «Кто не едал с слезами хлеба...» кардинальная задача пробуждения политического сознания крестьянских масс ставится наиболее конкретно, во всей своей действительной сложности, обнаружившейся к тому времени. Призыв «Письма шестого» – «поставить себя на его <народа> точку зрения» – служил вынужденным подцензурным эквивалентом целой программы упорного, не отступающего перед трудностями революционного просвещения народа, которая была намечена в очерке «Кто не едал...», написанном незадолго до этого «письма», но не напечатанном, по-видимому, по цензурным условиям. Здесь утверждалась мысль о необходимости начинать политическое просвещение в деревне не с описаний социалистического идеала, а с разъяснения нетерпимости крестьянской нищеты, разъяснения предельно конкретного, насыщенного жизненными примерами. Лишь постепенно следует, как полагал Салтыков, включать в круг размышлений крестьянина и вопрос о его политическом и социальном бесправии. Писатель ясно видел все трудности на пути демократа, понимал, что проповедь его может быть встречена «изумлением, даже почти негодованием». Однако Салтыков верил – стоит мужику убедиться, «что право голодать <...> не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранил сам, даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право».

Так своеобразно осознавалась и формулировалась Салтыковым объективная потребность нового периода демократического движения: методическая пропаганда в народной среде. Вскоре она была осознана революционной молодежью и в первой половине 70-х годов начала осуществляться в «хождении в народ». Однако это осуществление проходило в несколько иных формах, как раз с упором на пропаганду общинно-социалистических идеалов. Впоследствии Салтыков сочувственно откликнется на «хождение в народ» рассказом «Сон в летнюю ночь» (1875), где изобразит деятельность учителя-демократа Крамольникова в деревне. Но характерно, что революционная проповедь, с которой этот герой обратится к крестьянам, будет построена по намеченным писателем в «Письмах» и очерке «Кто не едал...» принципам: за исходный пункт будут взяты конкретные нужды крестьян, их поправное человеческое достоинство, а не социалистическая «высшая цель». [51]

К этой мысли Салтыкова близок пафос последней, программной статьи Писарева «Французский крестьянин в 1789 г.», с ней перекликаются и итоговые размышления Герцена в письмах «К старому товарищу» о путях постепенного и упорного приобщения темных крестьянских масс к социалистическому сознанию. Но если последнее творение Герцена отмечено духом спокойной исторической уверенности, обретенной в реальной силе движения на Западе «полков рабочих» и их Интернационала, то Салтыков, оставаясь всецело на почве русской действительности, мыслит трагически. Эта действительность с господством в ней самодержавного «ненавистничества» не давала еще объективной возможности для созревания исторически конкретного представления о путях движения общества к социалистическому идеалу. Особенно трагичен тон заключительного, XII «письма», воспроизводящего отношения ссыльного революционера и массы.

Однако Салтыков подчеркивал: «Я не говорю: жертвы бесполезны». «Письма о провинции» проникнуты глубочайшим уважением к людям революционного подвига, они способствовали закалке нового поколения бойцов, мобилизовывали на суровую и долгую подвижническую работу, предостерегали революционную мысль от маниловщины и прожектерства. Всеохватывающий анализ русской пореформенной действительности, развернутый в цикле, неуклонно вел вдумчивого «читателя-друга» к заключению, что вне сознательного политического творчества самих масс, вне борьбы за него, как трудна бы она ни была, нет выхода на дорогу подлинного исторического прогресса для всей нации.

«Письма о провинции» представляют собой один из крупнейших художественно-публицистических циклов Салтыкова. Их проблемное единство определяется общенациональной широтой, политической целеустремленностью анализа общественных отношений в глубинной России. Вместе с тем цельность цикла цементируют сквозные групповые сатирические образы «историографов», «пионеров», «ненавистников» (создававшиеся средствами комического снижения политики в быт, политической трансформации портрета и т. п.), а также нарастающая от «письма» к «письму» сила сурового и сдержанного лиризма авторской интонации. Таким образом, «Письма», непосредственно развивая творческий опыт публицистических хроник «Наша общественная жизнь», явились в то же время значительной вехой на пути становления монументальной формы сатирического обозрения Салтыкова,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru кристаллизации его специфической поэтики.

«Письма о провинции» не привлекли к себе сколько-нибудь значительного внимания современной критики. Отзывы печати об этом салтыковском цикле лишены развернутого анализа и глубокого истолкования. В рецензии В. П. Буренина, тогда еще либерального критика, на сборник «Признаки времени и Письма о провинции» отмечена в общих словах «современность их, приуроченность, так сказать, к движению нашей общественной жизни». [52]

А. С. Суворин в рецензии на этот же сборник, отдавая должное «превосходным характеристикам», вместе с тем утверждал, что Салтыков здесь будто бы «просто защитник реформ». [53]

Следует, однако, отметить, что уже в журнальной публикации отдельные «письма» были по достоинству оценены Герценом и Огаревым (подробнее см. в комментарии к «Письму шестому»). В 1876 г., когда появились «Речи консерватора» кн. В. Мещерского, демократический журнал «Дело» ядовито отметил, что они «сильно напоминают собою беседы и размышления тех героев, которые выведены Щедринным в его «Письмах о провинции». [54]

Впервые под заглавием «Письма из провинции» очерки печатались в «Отеч. записках» в 1868–1870 гг.; «Письма» I–VII за подписью «Н. Гурин», VIII–XII за подписью «Н. Щедрин». В изд. 1869 вошли первые шесть, а в качестве седьмого помещен фельетон 1863 г. «В деревне» (т. 6 наст. изд.). Для этого издания Салтыков произвел незначительную, главным образом стилистическую правку текста (без изменений повторено в издании 1872 г. – Подробнее см. на стр. 533 наст. тома). Все двенадцать «писем» вместе впервые были собраны в изд. 1882. Для этого издания текст был сильно переработан автором и значительно сокращен по сравнению с первопечатной журнальной публикацией (см. об этом в комментариях к отдельным «письмам»).

В настоящем томе «Письма о провинции» печатаются по составу и тексту изд. 1882.

Рукописи «Писем из провинции» не сохранились. Известна лишь черновая рукопись, начинающаяся эпитафией «Кто не едал с слезами хлеба...» (см. отд. «Неоконченное»), частично вошедшая в переработанном виде в «Письмо шестое».

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 2, отд. II, стр. 354–366 (вып. в свет 14 февр.).

Работа над «Письмом первым» относится к январю 1868 г.: 9 января Салтыков сообщил Некрасову, что «к февральской книжке» надеется «прислать провинциальное письмо», а 19 января обещал привезти «Провинциальное письмо», которое совсем уж готово и переписывается».

В изд. 1869 «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями, из которых существенно следующее: в начале абзаца «Другая вредная подмесь...» (стр. 199 наст. тома), в фразу «...утопия не имеет права заявлять претензию на практическое осуществление...», перед словами «практическое осуществление» добавлено – «немедленное».

«Письмо первое» посвящено анализу взаимоотношений двух «партий», или «сил», пореформенной провинции. Деятели первой персонифицированы в собирательном образе «историографов». Это проникнутые духом крепостного права дореформенные чиновники-администраторы и деятели дворянского сословного самоуправления. До недавнего времени им принадлежала роль официальных и единственных делателей «писаной истории» России. Эти «зиждательные» позиции они в основном сохранили и остались «столпами» государства и при «новых порядках». Сатирическое наименование образа – «историографы» – связано также с тем, что реакция в ходе своего идеологического наступления в конце 60-х годов призывами уважать отечественную историю и ее традиции прикрывала идеализацию дореформенных, крепостнических отношений.

К «устроению судеб» России «историографы» теперь вынуждены допустить «пионеров» – либерально настроенных новых чиновников и деятелей установленных реформами учреждений: гласного суда, земства и т. п. Однако эти «пришельцы» не могут противопоставить «зубосокрушающей силе» «историографов» подлинно новых

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru принцип: «Мысли у них не только благонамеренные, но, так сказать, очищенные», больше всего они боятся «увлечений». Наименование «пионеры» иронически соотносится с теми напыщенными похвалами – «первооткрыватели, пролагатели новых путей», которые в изобилии расточали в адрес либеральных деятелей либеральные же публицисты. [55]

Глубина иронии Салтыкова по отношению к подобным типам «исторических деятелей» обусловлена его взглядом на «писаную историю» в целом, как на историю «призрачную», то есть совершающуюся без деятельного участия масс и вопреки их интересам. Такая история саркастически уподобляется «яичнице», которую в пореформенный период стряпают сообща старая бюрократия и новое земство, что, однако, отнюдь не меняет ее антинародного содержания (см. также стр. 657 в т. 6 наст. изд.).

Реакция на «Письмо первое» со стороны консервативного и либерального общества была очень резкой, в частности, в Рязани, где тогда служил Салтыков. 21 марта 1868 г. он писал Некрасову: «Мои «Письма из провинции» весьма меня тревожат. Здешние историографы, кажется, собираются жаловаться, а так как тут все дело состоит в том, я ли писал эти письма или другой, и так как в существовании письма никакого повода к преследованию подать не могут, то не согласится ли Слепцов или кто другой назвать себя отцом этого детища...» Неизвестно, как отнесся Некрасов к предложению о таком камуфляже, который вряд ли достиг бы цели, ненадобность в нем тут же отпала. Уже 25 марта Салтыков сообщал Некрасову: «Здесь все узнали, кто автор «Писем из провинции», – дуются безмерно <...>. Мне очень трудно и тяжело; почти неминуемо убираться отсюда».

Рязанские «историографы» и «пионеры» восприняли первое «письмо из провинции» как сатиру лично на них. Разумеется, однако, рязанская «Натура», как всегда у Салтыкова, была идейно и художественно обобщена. Он доказывает, что деятельность созданных в России реформами 60-х годов новых учреждений не привела к кардинальному обновлению страны, а их либеральные руководители вместе с «историографами» озабочены лишь тем, как бы затормозить «несмелую нашу мысль», то есть развитие общественного самосознания. В этой связи вновь, как во множестве других произведений Салтыкова, в «Письме первом» возникает тема необходимости борьбы за «утопии» – социалистические идеалы, причем в изд. 1869 изложение этой мысли уточняется (см. выше вариант журнального текста к стр. 199).

Стр. 187. Фофаны. – См. «Письмо четвертое».

Стр. 188...чтобы разумели языци... – Выражение из хвалебной молитвы русской церкви по поводу поражения Наполеона I и взятия Парижа в 1814 г.

Стр. 189. ...когда возбужден был вопрос о сокращении переписки. – Речь идет о Комитете по сокращению делопроизводства и переписки (см. стр. 647).

Стр. 190...акцизные чиновники, <...> какого переполоха наделало их появление! – Положение от 4 июля 1861 г. заменило откупную систему акцизной, в соответствии с которой, по приобретении особого патента, разрешалось частное производство и продажа вина, облагавшиеся единым акцизным сбором (см. прим. к стр. 78 в т. 3 наст. изд.), взимание которого производилось губернскими акцизными управлениями. Эта реформа превозносилась либералами как мера, освобождающая народ от грабежа откупщиками и пресекающая злоупотребления губернских властей, связанные с откупом. Оказалось, однако, что акцизная система лишь облегчила государству и кабатчикам выкачивание последних грошей из крестьян (об этом писал, например, Скалдин. – «В захолустье и в столице», IV, 03, 1868, № 12, стр. 530). Ниже в тексте очерка, в перечне обвинений против акцизных чиновников, отразились также пензенские впечатления Салтыкова (см. прим. к стр. 385).

Стр. 191. ...такой же факт совершился <...> с пионерами контрольными... – В 1863–1866 гг. контрольные учреждения, осуществлявшие наблюдение за поступлением государственных доходов и расходами всех ведомств, были выделены в самостоятельную систему, губернским звеном которой стала контрольная палата. Салтыков подчеркивает, что эта реформа лишь прибавила еще одно звено к бюрократической цепи, опутывавшей народ.

Единство кассы. – Принцип единой кассы был введен в 1863–1866 гг. одновременно с преобразованием системы контроля (см. предыдущ. прим.). Согласно этому принципу

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru государственные доходы всех ведомств поступали только в кассу министерства финансов, откуда производились и все государственные ассигнования и платежи.

Завелось какое-то «вы», какое-то неслыханное сажание на стул – все это признаки революции. – Позднее, в двадцать седьмой главе «Пошехонской старины» (1887–1889), Салтыков вспоминал, как во время осуществления реформы 1861 г., при разборе конфликтов бывших крепостных и помещиков, последних «больше всего возмущало то, что посредники говорили «хамам» вы и во время разбирательств сажали их рядом с бывшими господами». С введением в действие судебной реформы (в ряде губерний в 1866 г.) недовольство крепостников «неслыханно демократическими приемами обращения» в новом суде усилилось и приводило подчас к курьезным жалобам в официальные инстанции (см., например, в № 210 «Голоса» от 1 августа. 1867 г. сообщение о деле отставного контр-адмирала Арбузова).

Стр. 192...революцию развозят по деревням разносчики... – См. прим. к стр. 213.

Стр. 194. Шиканства – придирки, прижимки (от франц. *chicaner*).

Стр. 195...об успехах или неудачах Гарибальди. – Осенью 1867 г. Гарибальди предпринял очередную попытку освободить Рим и Папскую область от австрийцев, закончившуюся его пленением и заточением в форт Вариньяно.

...вопрос об исправлении французской границы на Рейне. – В 1867 г. Наполеон III попытался «выровнять» северо-восточную границу Франции до Рейна, начав с этой целью переговоры о приобретении Люксембурга у короля Нидерландов и замышляя захват Бельгии, но встретил противодействие Пруссии.

...о поглощении Пруссией маленьких государств Германии. – См. прим. к стр. 164.

Стр. 196. В надежде славы и добра // Идем вперед мы без боязни... – Иронический перифраз начала «Стансов» Пушкина. У Пушкина: «Гляжу вперед я без боязни...».

Стр. 197. Дело Лезюрка. – Известная судебная ошибка. В 1796 г. во Франции некий Ж. Лезюрк был обвинен в убийстве почтаря и ограблении денежной почты и обезглавлен гильотиной. И хотя вскоре были найдены действительные виновники преступления, по французским законам полная реабилитация гильотинированного была невозможной. Дело Лезюрка тянулось вплоть до 60-х годов XIX в., когда просьба потомков Лезюрка о его реабилитации была окончательно отклонена. В русских журналах 60-х годов продолжалось обсуждение этой судебной ошибки (см., например, «Время», 1861, № 4, стр. 411–457).

Шармы – чары, прелести (от франц. *charme*).

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 4, отд. II, стр. 262–272 (вып. в свет 10 апр.).

Работа над «Письмом вторым» была закончена в Рязани к 4 марта 1868 г., когда рукопись была послана по почте в редакцию журнала (см. письмо Салтыкова к Некрасову от 4 марта 1868 г.).

В изд. 1869 «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями. При подготовке к изд. 1882 Салтыков несколько сократил текст. Приводим два варианта ОЗ, совпадающие с вариантами изд. 1869.

К стр. 204–205, в конце абзаца «Если нам кажется мелкою распря...», после слов «На что же тут претендовать?»:

О чем стужаться и плакать? А так как, сверх того, человеческое сознание в историографском деле принимает участие самое ограниченное, так как историографы действуют не преднамеренно, а с маху, то мы, естественно, приходим к заключению, что хотя деятельность их отчасти смешна, отчасти вредна, отчасти нелепа, но она уже по тому одному не может быть названа позорною, что к ней ни под каким видом не прилагается принцип вменяемости.

К стр. 205, в середине абзаца «Это было зрелище...», после слов «...на ум не всходило заподозрить их в умысле»:

Вся их претензия заключалась в том, чтобы в данный период времени заглотать как

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru можно больше кусков, а потому весьма естественно, что и самые помыслы их направлялись именно в эту сторону, предательство же и сплетни являлись тут лишь в виде необходимого придатка. У кого предлагалось больше кусков, в пользу того и сплетничалось как-то ходчее, нежели в пользу того, кто предлагал кусков мало или ничего. Одним словом, ехидство в устах этих людей утрачивало свою ядовитость и получало характер чисто гастрономический.

Остатки этих «складных душ» и донныне влачат свое существование в губернских клубах под именем фюфанов, но, увы! это уже существование грустное, потому что предводительские обеды с каждым годом становятся скуднее и скуднее.

В настоящем «письме» получили развитие темы и образы «Письма первого»: «раздор» ретроградных «историографов» с либеральными «пионерами», усилившийся в 1866–1867 гг., когда в губерниях Центральной России стали вводиться в действие новые судебные учреждения. Для изображения этого «раздора» Салтыков применяет, на конкретном рязанском материале, один из своеобразнейших приемов своей сатиры, о котором Горький писал: «Только Щедрин-Салтыков превосходно улавливал политику в быте». [56] Программами – «знаменами» – враждующих «партий» становятся разные способы поедания блинов и предпочтение разных видов карточной игры, что позволяет заострить смехотворную мелочность их разногласий, Салтыков предвидел, что «Письмо второе» еще сильнее обострит его конфликт с «обществом» в Рязани. 25 марта он сообщал Некрасову, как «все <...> дуются безмерно» после первого «письма», и замечал: «Разумеется, нельзя думать, чтобы второе письмо смягчило впечатление».

Главное внимание писателя в «Письме втором» сосредоточено на новом собирательном образе – «складных душах», на расплотившемся в годы пореформенной реакции типе политического перебежчика. Это сатирическое наименование восходит к практике дворянских выборов при крепостном праве, когда захудалые мелкопоместные помещики «складывали» немногие принадлежавшие им крепостные «души», чтобы получить по цензу право участвовать в выборах, и обыкновенно отдавали свои голоса наиболее хлебосольному из кандидатов в предводители. (На связь понятия «складные души» с этой практикой указывает характеристика «складных душ» «былых времен» в тексте ОЗ и изд. 1869 – см. выше вариант к стр. 205). Но Салтыков переосмыслил этот термин применительно к пореформенной общественной жизни: в «Письмах о провинции» «складная душа» является материализованным образом «души» перебежчика, которая, по нужде, может складываться и быть «удобопереносимой».

В орбите сатиры Салтыкова оказываются вообще политики, предпочитающие «ломаную линию» «прямой» и называющие это «постепенностью в преуспейнии». И хотя писатель оговаривается, что в поле его зрения провинциальные «складные души», стрелы его сатиры фактически уже здесь поражают и самые крупные фигуры подобного типа, о которых писал впоследствии, в 1912 г., в статье «Карьера», В. И. Ленин. На примере М. Н. Каткова, А. С. Суворина Ленин показал, что ренегатство было «типично для массы «образованных» и «интеллигентных» представителей так называемого общества» при обострениях классовой борьбы. [57]

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 5, отд. II, стр. 156–166 (вып. в свет 15 мая).

«Письмо третье» создавалось в апреле – первых числах мая 1868 г. В конце апреля 1868 г. Салтыков писал Некрасову: «Во всей Рязани едва ли два-три человека найдется, которые смотрят на меня не враждебно <...> живем совершенно одни». Но эта враждебность местного дворянско-чиновничьего общества воспринималась писателем как свидетельство актуальности «писем». 5 мая 1868 г. он сообщил тому же Некрасову: «Посылаю вам <...> третье «Письмо из провинции». Хорошо, если вы найдете возможным поместить его, потому что письма мои производят (по крайней мере, в Рязани) решительное впечатление. Может быть, конечно, я и ошибаюсь, потому что, сидя в маленьком кружке, трудно судить о безотносительном достоинстве своих трудов, но, во всяком случае, думаю, что для провинции эти письма небезынтересны, потому что попали прямо в больное место (в особенности третье)». По предположению С. А. Макашина, Салтыков, возможно, читал свои «письма», перед посылкой их в печать, какому-то «кружку» рязанцев.

В изд. 1869 «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями. При подготовке «письма» к изд. 1882 Салтыков несколько сократил текст. Приводим два варианта ОЗ.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru к стр. 217–218. В конце абзаца «Надо сознаться...», вместо слов «...в неуважении к власти!» и «...между неуважением к власти...» в ОЗ было «...в безверии!» и «...между безверием...».

Явление провинциальной жизни, характеризуемое в настоящем «письме», – «торжество ненавистничества» и «ненавистников», то есть натиск политической и общественной реакции после выстрела Д. В. Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 г. В «письме» разоблачается выдвинутая «ненавистниками» система обвинений против сторонников общественного прогресса. Любые проявления прогресса определяются в ней «страшными словами»: «нигилизм», «демократизм», «коммунизм», «безверие». Такие обвинения звали власть к насилию (к опоре на «дантистов») и оправдывали его.

Характеристика «ненавистников» охватывает легионы «ничтожнейших шалопаев» – пореформенных администраторов, которые рекрутировались главным образом из разоряющихся слоев крепостнического дворянства. Их помыслы направлены на возвращение «дарового куска» – доходов от подневольного крестьянского труда. Находясь на службе «реформирующей власти», «ненавистники» вынуждены соблюдать декорум «преданности делу» реформ, но, по существу, все их усилия имеют целью «подорвать те плодотворные последствия, которые заключают в себе намерения 19 февраля».

В орбиту сатирического обобщения в «Письме третьем» попадает также «ненавистничество» в сфере идей, в частности, выступления таких активизировавшихся в 1866–1868 гг. органов крепостников, как «Весть», «всякую народную беду готовых приурочить к 19-му февраля» (см. передовые статьи и отд. «Совр. положение сельск. хозяйства в России» «Вести» за 1868 г.). Словом «ненавистничество» писатель определяет вообще тогдашнее социально-психологическое состояние всей реакционно-помещичьей среды и ее отдельных представителей – «существ жалких, почти помешанных от злобы».

Стр. 211. Торжество ненавистничества <...> в какие-нибудь последние пять-шесть лет. – Салтыков всегда датировал наступление послереформенной реакции 1862–1863 гг.

Стр. 213...появление таких деятелей, которым небезызвестна теория ежовых рукавиц. – В 1866 г. глава следственной комиссии по делу Каракозова, М. Н. Муравьев (Вешатель), душитель польского восстания 1863 г., стал фактически диктатором России. Пост министра народного просвещения в апреле 1866 г. занял крайний реакционер, сторонник «сильной власти» Д. А. Толстой. Министром внутренних дел в начале марта 1868 г. был назначен А. Е. Тимашев, бывший начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением.

Нелепые рассказы о каких-то «девках-поганках», требующих конституции, об отставных солдатах и разносчиках, посевающих семена революции по деревням... – «Девки», которым будто бы захотелось «конституциев», – плод воображения помещицы, напуганной слухами об отмене крепостного права, из рассказа «Госпожа Падейкова» (т. 3 наст. изд.). В словах «об отставных солдатах и разносчиках, посевающих семена революции по деревням», содержится, возможно, намек на утвержденное 1 июня 1861 г. Александром II положение, по которому подозреваемые в подстрекательстве «мещане, крестьяне и вообще лица податных состояний, а также разночинцы и отставные солдаты», подлежали административной высылке «из мест жительства в другие губернии» (см. «Крестьянское движение 1827–1869», М. 1931, вып. II, стр. 19, 158; см. также заметку «Крестьяне-демагоги» в К, 1863, л. 160, 1 апреля. – Герцен, т. XVII, стр. 114). Салтыков в 1868 г. более чем скептически относится к толкам о революционных настроениях крестьян, усматривая в них сознательное запугивание царизма крепостниками с целью усиления реакционного политического курса.

Стр. 214. Дантист – зубосокрушитель. См. «Проект современного балета» и прим. к стр. 121.

Стр. 216...горе тому, кто оплошал в мундирный день! <...> Тысячи обвинений <...> посыплются на его голову <...>; дрянные, по-видимому, людишки, а подите-ка, берегитесь от их белых, поганых зубов! – Современники, знавшие обстоятельства службы Салтыкова в Рязани, относили эти строки, как и фразу о «малом, который отлично владеет французским диалектом» (стр. 215) к рязанскому губернатору Н. А. Болдареву, Н. Н. Кузнецов вспоминал впоследствии: «Салтыков описал этого

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru губернатора в своем произведении «Нарцисс, или Влюбленный в себя» в лице субъекта, блиставшего французским языком и белыми зубами <...>. Губернатор наговорил в Петербурге на Салтыкова разные разности и, между прочим, что он не ходит в табельные дни наравне с другими чиновниками в собор и не является к нему, губернатору, с служебными визитами на Новый год и другие большие праздники, что Салтыков социалист и нигилист» («Салтыков в воспоминаниях», стр. 521). В очерке «Новый Нарцисс...» нет описания подобного субъекта. Ошибка памяти мемуариста связана с тем, что этот очерк, напечатанный четырьмя месяцами ранее, вызвал тогда же, наряду с первыми тремя «Письмами о провинции», бурю недовольства среди рязанской чиновной верхушки (о наговорах Болдарева на Салтыкова см.: С. А. Макашин. Новое о Щедрина. – «Лит. газета», 1946, № 8, 16 февраля, и его же комментарий к мемуарам Кузнецова в «Салтыков в воспоминаниях», стр. 801–802).

Стр. 219. Литераторы-обыватели. – См. одноименный очерк в т. 3 наст. изд.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 9, отд. II, стр. 98–112 (вып. в свет 7 сент.).

Работу над «письмом» Салтыков начал, очевидно, в середине мая 1868 г. 23 мая он писал Некрасову: «...Уведомьте, следует ли писать продолжение писем из провинции. У меня начато 4-е письмо».

В изд. 1869 «письмо» было перепечатано с незначительными изменениями. При подготовке «письма» к изд. 1882 Салтыков значительно сократил текст (в частности, были сняты некоторые абзацы, восходящие к первоначальной редакции «Легковесных»). Кончалось «письмо» в ОЗ и изд. 1859 следующим текстом после абзаца «Петербургская журналистика нередко...» (стр. 232):

Вновь повторяем: не станем разбирать, насколько правы или не правы так называемые «постепеновцы» в своих стремлениях; ограничен или достаточно обширен их взгляд на вещи. Станем на точку зрения сравнительную, и что же мы увидим? С одной стороны, историографов, которые, так сказать, ведут первобытную борьбу за существование, которые ничего перед собою не видят, кроме куска мяса; с другой стороны – людей скромных, быть может, недалеко держащих, но во всяком случае преданных тому делу, которому взялись служить.

Спрашивается: на чьей стороне перевес?

Внимание Салтыкова в «Письме четвертом» сосредоточено на третьей общественной группе, место которой в «распре» старых, консервативно-реакционных, и новых, либерально настроенных, сил провинции – «историографов» и «пионеров» – было обозначено ранее в «Письме первом», лишь мимоходом: «Середку (хор) занимают так называемые фофаны...» (стр. 187). Фовфан – просторечное обозначение недалекого, тупого человека, синонимичное словам: простака, простофиля, дурак, глупец. В образной системе «Писем о провинции» «фофаны» – послушная масса бездумных исполнителей любых предначертаний сверху. Эпикурейски-потребительский взгляд на жизнь роднит «фофанов» с реакционными «реформаторами» – «ненавистниками». И хотя, в отличие от этих последних, «фофаны» не претендуют на «высшее призвание» или какое-либо собственное «знамя», «фофанству» в рассуждениях Салтыкова отводится чрезвычайно важное место как явлению общественно опасному: бездумно-покорные исполнители – опора и орудие для всяких сил реакции, в том числе и для «историографов». В связи с этим собирательные сатирические образы «фофан», «фофаны», «фофанство» получают в «письме» и более широкий смысл обличения стихии социальной пассивности и бессознательности вообще, в любой социальной среде. «Фофаны» и «фофанство» – одна из последних ступенек к созданию образа «глуповцев» и «глуповства» в «Истории одного города». Осмеяние «фофанского смиренства» и умственной нищеты предвосхищает также и один из центральных мотивов «Современной идиллии»: реакции удобнее иметь дело с «фофаном», чем с «человеком незаспанным и несопящим». «Теории, в силу которой благополучие общества ставится в зависимость от размножения фофанов», – теории идеологов авторитарно-деспотической власти – Салтыков противопоставляет свой просветительский тезис: «Успех какой бы то ни было страны находится в зависимости <...> от деятельного участия в ней живых и сознательных сил».

В «Письме четвертом» новыми конкретными черточками дополняется и собирательный образ «историографов», которые обрисованы здесь в их «бонвиванской» ипостаси, что сближает их с «помпадурами новейшей формации», подобными Феденьке Кротикову

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru из «Помпадуров и помпадурш» (очерк «Помпадур борьбы, пли Проказы будущего», 1873), и с «легковесными» из «Признаков времени» (близость к последним подтверждается, в частности, тем, что в «Письме четвертом» использованы фрагменты первой редакции очерка «Легковесные»).

Негласный цензор «Отеч. записок», член Совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстой в частном письме к Некрасову замечал, что в сатирические категории «легковесных, историографов или фофанов» попадают «все руководители общественного и государственного строя» России (письмо около 8–10 сентября 1868 г. – ЛН, т. 51/52, стр. 593–594).

Стр. 222...изучить Поль де Кока и прочих классиков, потом выслушать курс наук в заведении минеральных вод... – Следуя не вполне обоснованной традиции, установившейся в русской демократической критике и литературе, Салтыков употребляет имя Поля де Кока как нарицательное, для обозначения безыдейности, низменности духовных интересов, эротической непристойности. В таком же значении фигурируют в салтыковской сатире И. И. Излер и его Заведение искусственных минеральных вод («Минерашки») – скандально известный у петербуржцев увеселительный сад в Новой деревне, с цыганами и фривольной французской эстрадой и опереттой.

Стр. 224 Науки юношей питают... – Из оды Ломоносова «На день восшествия на престол имп. Елисаветы Петровны 1747 года».

Стр. 225. Je suis solide au poste, // Car j'ai un fief tempérament! (Я крепко держусь на своем посту, // Ибо непреклонен). – Из каскадной песенки гастролировавшей в Петербурге французской шансонетки Лафуркад. По-видимому, из ее репертуара извлечены и другие песенки, популярные среди историографов.

Историографские помпадурши – любовницы и наперсницы «историографов» (см. «Помпадуры и помпадурши», т. 8 наст. изд.).

Стр. 227. Было время <...>, когда мы думали даже, что вот-вот окопаемся от целого мира... – Эзоповское указание на режим военно-полицейской диктатуры и на политику националистического изоляционизма николаевского царствования перед Крымской войной.

Стр. 227–228...не можем забыть <...> одного учителя географии, который <...> в учебнике своем написал: «Россия есть бутылка <...> благонадежно закупоренная»... – Намек на К. И. Арсеньева, автора официозного учебника географии (см. прим. к стр. 116). Сатирический образ России – бутылки, закупоренной казенной печатью с орлом, на пробке которой сидел император, вошел в сознание передовой части русского общества еще со времени революции 1848 г. во Франции: так Россия была изображена на одной из тогдашних французских карикатур (см. Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания в двух томах, т. 1, М. 1967, стр. 233; М. Корф. Записки. – «Русск. старина», 1900, № 3, стр. 569).

Стр. 228...уничтожены шлахбаумы <...>, сдан в архив откуп <...>, наложена печать молчания на суды земские, на суды уездные – и злодеи <...> вострепетали пуще прежнего! – Шлахбаумы, то есть заставы при въезде в города, на которых проверялась личность путешественника, были уничтожены указом Александра II от 23 июля 1857 г. Салтыков иронически констатирует, что все реформы Александра II (перечисляются также крестьянская, судебная реформа 1864 г., отмена откупной системы торговли вином в 1861 г., и проч.) не поколебали основ сословно-монархического строя в России.

Стр. 229. Провен – старинный городок во Франции.

Стр. 232. Петербургская журналистика <...> осуждала убеждения так называемых «постепеновцев»... – Речь идет о полемике демократической публицистики с либеральными теориями медленного, постепенного прогресса (Добролюбов. От Москвы до Лейпцига, 1859. – Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5, л. 1962, стр. 457, 468, 469). Начатая еще до крестьянской реформы Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым на страницах «Совр.» и «Русск. слова», она была продолжена затем новыми выступлениями Писарева («Исторические эскизы». – РС, 1864, № 1), Елисеева («Внутр. обозрение». – С, 1863, № 1–2), а также статьями Шелгунова, Зайцева и др. Сам Салтыков не раз подвергал резкой критике постепеновскую идеологию в целом и крохоборство земских либералов в частности

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru (см., например, «Завещание моим детям», «Новый Нарцисс...»). «Письма о провинции» продолжают эту критику. В комментируемом абзаце Салтыков, однако, выражает свое сочувствие «постепеновцам» в связи с тем, что «люди этих убеждений – те самые, против которых в настоящее время направлены самые ядовитые стрелы историографов» (см. также выше вариант финала очерка в ОЗ и изд. 1869).

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 9, отд. II, стр. 113–124 (вып. в свет 7 сент).

Над «Письмом пятым» Салтыков работал летом 1868 г.; хронологическими границами служат конец мая (работа над четвертым «письмом») и начало сентября (общая публикация четвертого и пятого «писем»).

В изд. 1869 «письмо» было перепечатано без изменений. При подготовке «письма» к изд. 1882 Салтыков внес некоторые изменения и несколько сократил текст. Приводим один из вариантов ОЗ и изд. 1869.

К стр. 238–239, в конце абзаца «Совершенно основательно думают...» вместо слов «Имея это в виду <...> в беспечность»:

Конечно, руководствуясь свидетельством истории, можно сказать заранее, что из всех этих толков и посулов не выйдет ровно ничего. Сознаемся откровенно, мы даже очень мало печалимся, предсказывая эту неспособность чужаества к организации. В самом деле, если чужаество бессознательное сделало нас свидетелями такого бесчисленного множества безобразий, то по крайней мере оно имело в пользу свою то обстоятельство, что, однажды устраненное, не оставило по себе и следа. Совсем другая будущность ожидает чужаество сознательное, дисциплинированное и стремящееся организовать. Это последнее, ежели оно успеет в своих замыслах, наверно вьестся так сильно, что проест истязуемый субъект до мозга костей. Следовательно, в этом случае, бессилие есть явление, возбуждающее не сожаление, но скорее чувство совершенно ему противоположное. Тем не менее как бы мы ни были уверены в несостоятельности чужаевых посулов, мы не должны, однако, забывать, что и «Бавию приходится ошибкой обмолвиться стихом», что посулы эти, ежели не устраняют дорогого нам дела окончательно, то задерживают его и запутывают. Основываясь на этих соображениях, мы не только не должны, но даже не имеем права впадать в беспечность излишнюю.

«Письмо пятое» подводило некоторые итоги содержанию предшествующих «писем». Тема его – причины, затрудняющие «развитие скромных зачатков, положенных в основу русской жизни» крестьянской, судебной и земской реформами. Как утверждает Салтыков, главное препятствие этому развитию представляет союз «историографства» и «чужаества» – паразитарного отношения к жизни. Социальные корни психологии «чужаества» Салтыков вскрывает на примере эволюции института мировых посредников, показывая, как всякое полезное общественное дело в условиях пореформенной России приурочивается для «личного домашнего употребления» правящих сословий, потому что проведение его в жизнь каждый раз отдается в руки людей, «повитых» и воспитанных крепостным правом. «Чужаество» является наследием дореформенной эпохи, и писатель соединяет эти понятия в единой формуле: «чужаество–крепостничество».

В результате союза «историографов» и «чужаевых элементов» у кормила власти соединились бюрократическая косность и невежество с крепостническим своекорыстием. Салтыков указывает на опасную тенденцию общественной жизни конца 60-х годов – тенденцию крепостнической реакции, одевшейся в последнее время в мантию консерватизма, к «партийной» консолидации, [58] призывает все живые силы нации к непреклонной борьбе с этими «примелькавшимися» и вездесущими тенями «прошлого», вновь выходящими теперь на авансцену общественной жизни. Он указывает и на коренную причину живучести этих теней: остались неизменными в своем существе «прежние рамки жизни», «в которых так удобно было расправлять крылья».

Стр. 234...грозные походы против многообразных злоупотреблений... – Речь идет, в частности, о дореформенных сенаторских ревизиях. См. об этом в главе II «Итогов».

Стр. 239...чужаество–крепостничество <...> не умерло, как это многие утверждают... – Такие утверждения характерны для либеральной и славянофильской публицистики (см., например: Н. Колюпанов. Общий взгляд на первый период истории земских

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru собраний в России. – ВЕ, 1867, т. IV, отд. II, стр. 16; передовую И. Аксакова в газ. «Москва», 1868, № 91, 21 июля).

Стр. 241. Если читатель припомнит действия мировых посредников при самом начале крестьянской реформы и сравнит их с действиями последующими, <...> какая громадная легла тут разница. – Институт мировых посредников – ими могли быть только дворяне-помещики – был введен в 1861 г. для реализации на местах «Положений 19 февраля» (см. подробнее на стр. 552 в т. 5 наст. изд.). Среди мировых посредников «первого призыва» были искренне стремившиеся к радикальному освобождению крестьян (Л. Толстой, бывший декабрист А. Е. Розен и др.). Иные из них преследовались властями, например, тринадцать мировых посредников Тверской губ. во главе с Н. А. и А. А. Бакуниными (братьями М. А. Бакунина). Таких оппозиционно настроенных посредников было, однако, немного, а смена правительственного либерализма реакционным курсом привела вскоре к их почти полному вытеснению крепостниками. С. Терпигорев-Атава писал о последних в очерках «Оскудение»: «Они, каждый в своем участке, положительно восстановили – разумеется, для себя лично, – крепостное право» (С. Терпигорев. Оскудение. Очерки помещичьего разорения, М. 1958, т. 1, стр. 276–277).

Стр. 242. В последнее время провинциал <...> повторяет прилагательное вотчинный... – в 1867–1868 гг. в кругах крепостнически настроенного дворянства было распространено требование создать «вотчинную полицию», то есть передать полицейскую власть над крестьянами в руки самих помещиков (см. передовые статьи в №№ 25 и 103 «Вести» за 1869 г.). Выражая надежду, что это притязание «окончится пшиком», Салтыков в журнальной редакции данного «письма» прибавлял: «каким окончились вообще все злопыхательства, направленные против реформ настоящего царствования» (снято в изд. 1882).

...высасывает дотла и свои собственные соки... – В ОЗ и изд. 1869 эта мысль об исторической слепоте отживающего класса, который отрицает необходимость «уступок и соглашений» и тем ускоряет свою гибель, развивалась далее так: «...и забывая, что точно таким же неумеренным сосанием он очень недавно и совершенно для себя неожиданно дососался до упразднения крепостного права».

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 10, отд. II, стр. 274–289 (вып. в свет 9 окт.).

В бумагах Салтыкова сохранилась черновая автографическая рукопись без заглавия, начинающаяся эпиграфом из Гете: «кто не едал с слезами хлеба...» (см. отд. «Неоконченное»), Часть текста этой рукописи вошла в переработанном виде в «Письмо шестое».

При подготовке к изд. 1869 Салтыков несколько сократил «письмо». При подготовке к изд. 1882 были сделаны более значительные сокращения. Приводим два варианта ОЗ и изд. 1869.

К стр. 244. После абзаца «Представьте себе: в этой стране есть правосудие...» в ОЗ и изд. 1869:

Коли хотите, картина такого рода весьма редко изображается во всей полноте; так, например, о мадере упоминается всегда вскользь, а пожалуй, даже и совсем не говорится; но во всяком случае заключения, которые естественным образом вытекают из общего смысла художественных историографических попыток, таковы, что сами собой захватывают область гораздо более обширную, нежели та, которая подразумевается в первоначальном намерении авторов. Если нам говорят, что такое-то государство, не без основания щеголяющее своею единоплеменностью, гибнет, то никак нельзя предположить, чтоб эта гибель была делом исключительно одного какого-нибудь сословия, но скорее всего надлежит думать, что производящие гибель пороки разлиты во всех сословиях одинаково. Такое заключение тем более правильно, что когда нас удостоверяли, что славяне гостеприимны, прямодушны и добросердечны, то никому из нас, конечно, и в голову не приходило утверждать, что эти похвальные качества составляют исключительную собственность одних славянских мужиков; напротив того, мы все, сколько нас ни есть, наперерыв друг перед другом вопияли: да, мы гостеприимны, мы прямодушны, мы добросердечны! Не очевидно ли, что, признавая себя солидарными в области добродетелей, мы тем самым призывали на свои головы и солидарность в области пороков? Да, это очевидно; и потому, ежели все мы одинаково гостеприимны, то все же должны быть и одинаково пьяны; ежели же одни из нас напиваются мадерой, другие сивухой, то

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru разница тут не в результате, а в том материале, при посредстве которого этот в обоих случаях одинаковый результат достигается.

К стр. 253. После абзаца «С этой точки зрения...» в ОЗ:

Очевидно, что сетования эти совершенно того же характера и так же лишены всякой логической последовательности, как и те, которым мы так охотно предавались в незабвенное время рассуждений об улучшении крестьянского быта. В то время мы так отважились, что чуть было даже не нагубили. [59] Но не надо забывать, что тогда нас задевали за живое наши ближайшие ущербы и застилали наши глаза настолько, что неизбежность катастрофы считалась недостаточно объясненной. Спрашивается: чего же добиваемся мы теперь? от каких еще новых катастроф и опасностей мы заранее отбиваемся?

«Письмо шестое» – одно из наиболее глубоких размышлений Салтыкова о нищете народных, собственно крестьянских, масс – материальной и духовной, и об отношениях, в которых должны находиться к народу, «толпе», передовые представители образованных слоев общества.

«Письмо» начинается полемикой с публицистами реакционно-консервативного лагеря по поводу освещения ими кризисных явлений в сельском хозяйстве России, усиленных недородом 1867–1868 гг.

Корень всех бед пореформенной русской деревни, ее «разорения» эти публицисты усматривали в «уничтожении крепостной зависимости». Но так как прямо порицать акт верховной власти было «не всегда удобно», вместо этого «секретного», но всегда подразумеваемого «порока» был найден другой порок, производный от первого, – «всероссийское пьянство» и распущенность. [60]

Такие выступления сатирически обобщены Салтыковым в сценке пьяных сетований (но не от «мужицкой» сивухи, а от «благородной» мадеры) губернских «историографов». В первопечатном тексте ОЗ и изд. 1869 эта злободневная тогда полемика была более развернута (см. выше варианты к стр. 244 и 253).

Салтыков отвергает как клевету или как полное недомыслие исходные утверждения дворянско-помещичьих публицистов-«историографов» о будто бы губительном влиянии свободы на «неподготовленного» к ней русского мужика. Вместе с тем он видит все отрицательные стороны жизни крестьянства: его темноту и пассивность, его бедность «всеми видами бедности» и прежде всего бедность «сознанием этой бедности». Но в отличие от идеологов господствующих классов, усматривавших в отсталости народных масс черты природной неполноценности, в отличие от славянофилов, националистически идеализировавших эти черты, Салтыков осмысливает их исторически: Он полагает, что в историческом прошлом России нельзя указать «на существование каких-либо образовательных элементов, участие которых было бы способно подвинуть толпу на пути самосознания». Этих элементов «история нам не приготовила, а если они когда-нибудь и существовали (как сияются доказать некоторые), то, очевидно, корни их были слишком слабы, чтобы при помощи их можно было устоять даже против простой случайности».

Исследователи Салтыкова по-разному комментируют это место «Письма шестого». Одни (Е. И. Покусаев и С. Д. Гурвич-Лищинер) полагают, что «некоторые», с кем полемизирует здесь Салтыков, – последователи теории русского социализма Герцена, с их отвлеченным взглядом на общину и крестьянское самоуправление как на исторические элементы, будто бы воспитавшие в русском мужике, вопреки гнету самодержавия, стихийные социалистические устремления. Другие (С. А. Макашин) полагают, что, указывая на отсутствие или слабость «образовательных элементов», способных «подвинуть толпу на пути самосознания», или, говоря другими словами, способных образовать в массах ясность и силу сознания своих собственных интересов, Салтыков имел в виду относительную – в его представлении – слабость антифеодальной борьбы в России. Известно, что Салтыков недооценивал значение даже крестьянских войн начала XVII и конца XVIII в., и именно потому, что в итоге не происходило изменение «порядка вещей», что жизнь масс не поднималась к новым «историческим построениям» и по-прежнему представляет «безграничную гладкую степь». [61] Обе точки зрения сходятся на том, что в «Письме шестом» особая историческая важность придается Салтыковым политической борьбе масс. [62] Сопоставляя (в подтексте) историю политического развития России и Западной Европы, он указывает на значимость «результатов исторической борьбы» на Западе.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Историческая концепция «Письма шестого» получила художественное воплощение в гротескном образном мире «Истории одного города», над которой в это время уже работал Салтыков (т. 8 наст. изд.). Именно в настоящем «письме» впервые изложено то глубокое, окрашенное трагизмом, понимание Салтыковым народа («народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма»), которое затем будет сформулировано им при объяснении идейной направленности «Истории одного города». [63]

По убеждению писателя, политическое возмужание народа возможно лишь при условии «серьезного», деятельного сближения демократической интеллигенции с крестьянской массой, основанного на уважительном, упорном «изучении народных нужд и представлений», состоящего в разъяснении крестьянину «его положения» и указании «практического выхода».

(О конкретном содержании сложного процесса революционно-просветительской работы в народе Салтыков подробнее говорил в очерке «Кто не едал...».)

«Письмо шестое» было встречено с большим интересом в кругах русской демократической общественности. Об этом свидетельствуют одобрительные отзывы Огарева и Герцена. Очевидно, в ответ на высокую оценку Огаревым № 10 «Отеч. записок» в не дошедшем до нас письме, Герцен писал ему 30 октября 1868 г.: «Письмо и «Отечественные записки» превесыма получил. Согласен с тобой, но не во всем. Лучшая статья – «Письмо из провинции» (Герцен, т. XXIX, стр. 481). Мысль Салтыкова о главной беде крестьянина – о «бедности сознанием своей бедности» – была взята на вооружение В. И. Лениным (см. общую статью о «Письмах...», стр. 592).

Стр. 244...последовало и упразднение откупов... – См. прим. к стр. 190.

Стр. 246...«Стальной щетиною сверкая...» – Из стихотворения «Клеветникам России» Пушкина.

Стр. 247...если б можно было доказать людям, что с изменением системы патентного сбора их ждет в перспективе тот <...> пункт, к которому они <...> стремятся! – Салтыков иронизирует над верой в чудодейственность бюрократических постановлений, свойственной дворянским публицистам, выступавшим с подобными рецептами (см., например: кн. Мещерский. Очерки нынешней общественной жизни в России, вып. 1, СПб. 1868, стр. 87–90; статьи Кошелева «О нынешнем положении крестьян и о мерах к улучшению их быта» и «О мерах к сокращению пьянства в народе». – «Голос из земства», М. 1869; передовые И. Аксакова в газ. «Москва», 1868, №№ 51 и 52, 4 и 5 июня).

Стр. 249. ...погибает член «несуществующего» у нас пролетариата. – Положение, что Россия не знает и не будет знать «язвы пролетариата», высказывалось многими публицистами разных направлений. В этом, в частности, были уверены славянофилы, уповавшие на «разумный консерватизм» общин, на «многоземелье» и т. п. (см., например: Кошелев. Что такое русское дворянство и чем оно быть должно? – «Голос из земства», М. 1869; передовую И. Аксакова в «Москве», 1868, № 20, 26 апреля). Подобные мысли развивали и публицисты почвеннического направления (см.: «О форме промышленности вообще и о значении домашнего производства в Западной Европе и России. Соч. А. Корсака»; Д. Ф. Щеглов. Семейство в рабочем классе во Франции. – «Время», 1861, №№ 9, 11; ср.: Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. – «Время», 1863, №№ 2–3). Либеральный историк Кавелин также утверждал, что «освобождение крестьян с землею спасло Россию от крестьянского пролетариата и от революционных потрясений» (Д. Корсаков. Константин Дмитриевич Кавелин. – ВЕ, 1886, № 11, стр. 181; письмо Кавелина к Э. Ф. Раден от 26 мая 1864 г. – «Русск. мысль», 1899, № 12, отд. II, стр. 14; его же «Мысли и заметки о русской истории». – ВЕ, 1866, т. II, стр. 402–404). Веру в то, что общинной России удастся избежать «образования пролетариата, прикрепления рабочих к нанимателю», выражали и некоторые народнические публицисты, например Елисеев (С, 1865, № I отд. II, стр. 126).

Салтыков выступает здесь прежде всего против славянофильских и либеральных публицистов, однако он убеждает и своих соратников по «Отч. запискам» в необходимости более трезвой оценки российской действительности, указывая на нищий трудовой люд деревень, погибающий под бременем постоянного голода. При этом Салтыков, как и все русские крестьянские демократы, еще не выделял пролетариат в особую социальную группу (класс). В его сознании «русский

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пролетариат» – это наиболее бедствующая часть крестьянства (ср.: Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, стр. 76–80).

Стр. 250...дядя Миняй <...> дядя Митяй... – Персонажи «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 5). Возможно, что Салтыков рассчитывал в данном случае также на ассоциацию с запрещенной и широко распространенной в списках «Сказкой о Митяях» члена «Земли и воли» М. С. Гулевича («Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 г.», т. II, СПб. 1862, стр. 32–40; И. Н. Захарьин. «Сказка о Митяях» 1862–1863 гг. (Из записок и воспоминаний). – «Историч. вестник», 1901, № 11, стр. 546–557). В «сказке» Гулевича собирательный образ Митяев – пассивного и разобщенного крестьянского «мира» – получил близкое Салтыкову политическое осмысление.

...Красная шапка – рекрутчина.

Стр. 256. Много было у нас писано и толковано о так называемом сближении с народом... – См. прим. к стр. 225 в 4 т. наст. изд.; стр. 562 в т. 5, стр. 589, 592 в т. 6.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Впервые – ОЗ, 1869, № 3, отд. II, стр. 189–202 (вып. в свет 10 марта). При подготовке к изд. 1882 Салтыков несколько сократил «Письмо». Приводим один из вариантов текста ОЗ.

К стр. 266, после абзаца «Таким образом, с одной стороны...»:

Нечто подобное этому явлению мы замечаем в современной русской литературе. Была она под игом цензуры и все-таки всякими правдами и неправдами отстояла за собой право на название литературы; теперь вот и цензуру убрали, [64] – а литература оголилась! Как объяснить явление столь диковинное, столь несообразное?

Но оставим литературу в стороне и обратимся к провинциальной жизни.

«Письмо седьмое» посвящено рассмотрению вопроса о «скудости творческой силы» пореформенной провинции и о причинах, мешающих ей «заявлять претензию на самостоятельность». Ответы Салтыкова на эти вопросы находятся в русле разработки им двух постоянных тем его творчества: темы сохраняющегося и после отмены крепостного права растлевающего воздействия его на нравы и умы людей и темы попечительного начальства, предельно централизованной власти столичных департаментов, сковывающей живую инициативу провинции и рассматривающей ее лишь в качестве «благодатной сокровищницы», из которой можно «черпать и только черпать». В завершающем «Письмо седьмое» призыве «не мешать жить» провинции явственно слышится гневное обличение абсолютизма и вообще того общественного устройства, при котором «горький фатализм» связывает «две противоположные крайности – упорный труд и не менее упорное безделье» и подчиняет первое второму.

«Письмо седьмое» вызвало положительный отзыв рецензента «Сына отечества» А. Хитрова (1869, № 72, 28 марта, стр. 1. – «Что нового в журналах?»; подпись: А. Х.). Он назвал его, вместе с напечатанными в том же номере «рассказами «Для детей» («Дикий помещик» и «Добрая душа»), «лучшими в вышедшей книжке», увидел в них очередное свидетельство «истинного», неслабеющего «таланта автора».

Стр. 260. Мы живо помним конец пятидесятых и начало шестидесятых годов <...>; кипела и волновалась <...> провинция. – Здесь и ниже Салтыков воспроизводит свои воспоминания о жизни и службе в Рязани (1858–1860) и в Твери (1860–1862).

Стр. 264...невиннейшая из девиц может дать только то, что имеет... – Приведена известная французская поговорка: «La plus belle du monde ne peut donner, que ce qu'elle a».

Стр. 269. Есть <...> еще более решительные причины <...> но об этих причинах находим благоразумным до времени умолчать. – Намек на полицейско-бюрократический предельно централизованный режим, при котором местное самоуправление заведомо было обречено на роль подчиненного придатка. (Права земства были еще более ограничены указами Александра II от 21 ноября 1866 г. и 13 июня 1867 г.) См. также прим. к стр. 29.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

ПИСЬМО ОСЬМОЕ

Впервые – ОЗ, 1869, № 8, отд. II, стр. 438–462 (вып. в свет 11 авг.).

Вероятно, «письмо» было написано в середине июня 1869 г.: по-видимому, о нем («фельетоне») шла речь в письмах Салтыкова к Некрасову от 22 мая и 9 июня 1869 г. перед отъездом в Витенево, где писатель провел лето (с 20 июня по август.). В первом из них он обещал Некрасову «перед отъездом организовать» июльскую и августовскую книжки «Отеч. записок», намереваясь в августовской поместить, в частности, «фельетон». 9 июня Салтыков писал: «Для 8-го № <...> я кой-что приготовил «для детей». Намерен еще написать фельетон...».

При подготовке к изд. 1882 Салтыков значительно переработал и сократил «письмо». Приводим шесть вариантов текста ОЗ.

К стр. 273–274, после абзаца «Поощряя себя подобными изречениями...»:

...и не рискуя продлить в бесконечность период дикости, выход из которого указан нам крестьянскою реформою?

К стр. 276, в конце абзаца «Область этой политики...», после слов «...не помнить зла и соединяться»:

Всё это новые либеральные коньки, придуманные нами на смену старых и отживших свой век, а потому не либеральных. И действительно, в прежнем нелиберальном, но более искреннем лексиконе мы встречаем выражения, совершенно соответствующие нынешнему лексикону. Так, в параллель к сближению идет «патриархальность», в параллель к устройству судеб дворянства – просто стоит энергическое слово «оплот», в параллель к великолепному свойству «соединяться и не помнить зла» поставлены не менее великолепные свойства: «смирение», «терпение» и «покорливость». Стало быть, знакомясь с новым провинциальным лексиконом, мы чувствуем себя совершенно как дома. Тем не менее этот новый лексикон драгоценен для нас, ибо вместе с «неподготовленностью» и «увещаниями» не раскидываться и не растериваться служит нам довольно приличным убежищем, чтоб укрываться от действительного дела и в то же время сохранять вид, как будто мы и в самом деле нечто делаем и о чем-то хлопочем.

К стр: 278, после абзаца «Нет ничего хуже...»:

Праздники сближения, которых мы были свидетелями в начале шестидесятых годов, можно, по всей справедливости, назвать праздниками поцелуев, потому что ничего другого на них никто не видел и ничего другого не получал. Это были поистине самые нелепые из всех возможных праздников.

Относительно масс акт сближения можно назвать фактом уже совершившимся; он совершился в ту самую минуту, когда они получили возможность сказать: у нас точно так же есть свое дело, как и у вас свое. Это обладание «своим делом» удивительно как приравнивает, а следовательно, и сближает людей. Оно переносит взаимные их отношения с почвы качественной на почву количественную и устанавливает различие между людьми не в абстрактных и всегда произвольных понятиях, а в той наглядной разнице, которая существует между большою и малою величинами. Сверх того, оно имеет и то преимущество, что полагает конец патриархальности, хотя – увы! – не истребляет ее происков, которые успевают отыскать для себя новую форму. Что стремления по части «сближений» суть, порождение и продолжение понятия о патриархальности – в этом нельзя усумниться ни на минуту, потому что ничем иным и объяснить их нельзя. Как в том, так и в другом понятии резко бросается в глаза несвободность одной из сторон. По-видимому, нет акта более свободного, как акт сближения, но попробуйте, при данной обстановке, осуществить этот акт на деле, и вы сейчас же увидите, что тут не единицы прикладываются к сотням, а совершенно наоборот. Приблизьте мысленно эти сотни и тысячи к раскрывающим им объятия единицам, и вы не успеете очнуться, как у вас вместо сближения окажется патриархальность. Да и какая патриархальность! очищенная, осмысленная, искушенная опытом.

К стр. 280–281, после абзаца «Источник подобных настояний...», вместо слов «Представление о зле <...> предотвратить возобновление зла...»:

Стало быть, повторяем: сущность дела должна заключаться не в тех мелочах и

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подробностях зла, которых невольными орудиями были Петры и Иваны, а в зле общем.

«Rien appris, rien oublié», [65] – говорили о французах-эмигрантах, возвратившихся во Францию вместе с Бурбонами, и говорили справедливо, потому что эмигранты представляли собой ничтожную горсть людей, сборище единиц, слишком мало связанных с интересами страны, чтобы ради их пожертвовать лично претерпенными в прошедшем невзгодами. Они ничего не забыли именно для того, чтобы ничему не научиться; их девизом было: *après moi le déluge*, [66] потому что их роль была слишком эфемерна и скоротечна, чтоб сделать предусмотрительность неизбежным ее основанием. Совсем в другом виде представляется тот же вопрос относительно масс: массы вечны и потому предусмотрительны; они не должны забывать не для того, чтобы ничему не научиться, а именно для того, чтобы чему-нибудь научиться.

Недостаточно, что зло прошло; оно не должно повторяться. Вопрос не в том, что есть необходимость озлобляться и кипеть при напоминании канувшего в вечность зла, а в тон, чтобы на будущее время предотвратить его возобновление.

К стр. 281, после абзаца «Из всего сказанного выше...»:

Эта, столь восхваляемая ныне, способность забывать невольно переносит нас к недавним временам, когда в русском народе открывались и превозносились другие, не менее великолепные свойства: смирение и покорливость. На этих свойствах нашли возможным построить не только историю нашего прошлого, но и предполагаемое развитие будущего. Какие выводы можно надеяться получить из смирения, кроме неустойчивости, непредусмотрительности и рабской ненаходчивости в такие минуты, когда нужно выставить вперед не страдательность, а предприимчивость? Тем не менее выискивались легкомысленные люди, которые мечтали победить мир покорностью. Эти люди, которые и доньше очень много толкуют о народе и народности, в сущности ни к чему другому не приходят, кроме предъявления мысли об устройстве интересов меньшинства. В этом заключена затаенная мысль всех их туманных и трудновразумительных теорий; это же составляет и действительную практику их жизни. Конечно, не могут же они серьезно думать, что народ будет очень счастлив, если его наделят качествами, которые составляют достоинство только в прирученном животном, – из-за чего же они бьются, навязывая их ему? Очевидно, что тут не без задней мысли. И действительно, как ни мало развито наше общественное мнение, но оно поняло, что такого рода пропаганда смирения, забвения и сближения делается неспроста. И, в доказательство своего несогласия, оно шлет упомянутым легкомысленным людям свое полное равнодушие к делу, несмотря на их беспрерывные заигрыванья с народом и народностью.

Нет зрелища более тяжелого и возмутительного, как зрелище человека, который не только сознает свою неспособность, но ещё поощряет себя к неспособности и делает из нее для себя предмет панегирика...

К стр. 287, после абзаца «Возвращаются сконфуженные ходоки домой...»:

Когда-то было совершенно справедливо сказано, что в развитии государственного быта замечаются три периода: первый – в котором удобнее общее пользование землею; второй – в котором такое пользование признается неудобным, и третий – в котором оно вновь становится необходимостью. Но дело в том, что наши крестьяне именно находятся в том переходном положении, которое характеризует второй период; они вышли из периода общины бессознательной и не вступили в период общины сознательной. В настоящее время община не только связывает крестьянское сословие, не только служит препятствием какому бы то ни было прогрессу, но положительно представляется лишь удобнейшим поприщем для всевозможных воздействий. Ограждает (в ограждении ее существенная цель) она очень мало, так мало, что не было даже примеров, чтобы община когда-нибудь устояла в своих домогательствах, а связывает, напротив того, очень много. Возьмем хотя тот пример, о котором идет в настоящее время речь: преследование какого ни на есть интереса. Со стороны частного лица подобное преследование даже в глазах самого нелепого историографа не кажется ничем необыкновенным и подлежит если не удовлетворению, то, во всяком случае, разрешению; но преследование интереса со стороны общины непременно окажется бунтом, скопом, заговором. Общинное движение влияет на историографов панически; даже недоимка – и та перестает быть просто недоимкой, а принимает вид возмущения.

«Письмо осьмое» посвящено теме о «равнодушии провинции даже к тем интересам,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru которые ей всего более близки», – к интересам земским, к вопросам самоуправления. В практике только что учрежденных «всесловных» земств Салтыков[67] усматривает крепостнические тенденции, заботы «приписать» помещное дворянство «во главу», вместо подлинной озабоченности материальным и духовным прогрессом края и насущными политическими задачами самоуправления.

Разработка этих тем ведется в полемике с сочинениями «сведущих людей» – дворянских публицистов, принимавших непосредственное участие в деятельности земств. Из подобных сочинений названа брошюра Кошелева «Голос из земства» (вып. I, М. 1869), [68] но, очевидно, учитываются также выводы книги Н. А. Корфа «Земский вопрос» (СПб. 1867), статей его и Н. Колюпанова, постоянно печатавшихся в «Вестн. Европы», [69] многочисленных выступлений в печати кн. А. И. Васильчикова (его программа развития земских учреждений развернута в книге «О самоуправлении», СПб. 1869), Ю. Ф. Самарина[70] и др. Общей для этих сочинений была защита земства от все более жесткого давления администрации и от наступления крепостников-реакционеров. Последние требовали ограничить выборное начало высоким имущественным цензом, ввести безвозмездность земской службы и поземельное представительство помимо выборов, что совершенно подчинило бы земские учреждения крупному помещному дворянству. Вместе с тем проблемы местного самоуправления рассматривались названными авторами с политически консервативных позиций, ими постоянно делались оговорки о местных, узкохозяйственных, а не политических задачах земства, о совместимости самоуправления и «самой централизованной формы правления», то есть самодержавия.

Брошюра Кошелева взята Салтыковым как характерное выражение этой системы взглядов. Во всех ее частях просвечивает мысль о неподготовленности провинции к самоуправлению и о необходимости «самоограничения», о благодетельности дворянского главенства в земстве. Poleмика с Кошелевым – это poleмика с программой земского дворянского либерализма в целом, независимо от оттенков в позициях отдельных его идеологов; [71]

Особенно «вредны», с точки зрения писателя, демагогические излияния земцев о «сближении сословий». Взгляд Салтыкова по вопросу о «сближении» с 1861 г., когда он видел в этом лозунге «известную пользу», претерпел значительную эволюцию по мере того, как обнаруживалась бессодержательность подобных призывов дворянской публицистики. Развивая в «Письме осьмом» полемические мысли своих статей 1863 г., Салтыков обнажает за пустозвонной болтовней «земцев» о «сближении» с народом крепостнические тенденции, развившиеся внутри новых «всесловных» учреждений. Без подлинного равноправия народа призывы к крестьянам «соединяться» означают практически увековечение их «покорливости» и возвращение к патриархальному гнету.

В связи с этим сатирик вновь развивает свою концепцию крепостничества как «зла исторического», «разлитого в целом порядке вещей», глубоко проникшего «в умы и чувствования» людей, а не только материально-юридической, «крепостной» зависимости крестьянина от помещика. «Забывчивость» при сложившихся исторических обстоятельствах означала бы отказ масс от борьбы против своих угнетателей. Вместе с тем Салтыков разъясняет, что призывает не к личной «ненависти», не к мести отдельным помещикам – «Петрам или Иванам», а к «осмотрительности и осторожности» – то есть к бдительности против реставраторских происков реакции, к последовательной и неуклонной борьбе демократических сил нации против всех проявлений крепостничества в пореформенной жизни. В частности, рассказ «о примерном бунте» в финале «письма» должен был показать, как далеко еще пореформенной России до подлинной «крестьянской правоспособности».

Освобождение жизни от «нестерпимой рутины» произвола, привилегий, регламентации – первейшее требование прогресса страны для Салтыкова, но это в его понимании – лишь начальный шаг к подлинному идеалу «нормального общества», с «более равномерным распределением прав и благ», то есть к социалистическому обществу.

«Письмо» было положительно оценено критиком С. Г. Герцо-Виноградским. В обзоре августовской и сентябрьской книжек «Отеч. записок», напечатанном в «Новоросс. телеграфе», 1869, № 219, 29 октября, он писал в связи с «Письмом осьмым» об умении Салтыкова «указать на самый корень зла, кроющегося в том или другом порядке» (стр. 1).

Стр. 270. Сведущие люди – официальный термин, первоначально фигурировавший в Положении о Государственном совете, департаментам которого было предоставлено

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru право приглашать к совещанию посторонних лиц, наиболее осведомленных в фактической стороне рассматриваемого вопроса. Первым опытом гласного привлечения «сведущих людей» к обсуждению законопроектов было приглашение в 1859 г. в Редакционные комиссии по подготовке крестьянской реформы в качестве членов-экспертов «опытных помещиков» – крупных землевладельцев, в том числе нескольких предводителей дворянства. В 1863 г. проект земской реформы рассматривался в соединенных департаментах законов и государственной экономики также с участием «сведущих людей» – ими оказались, в частности, предводители дворянства столичных губерний, городские головы столиц и т. п.

Стр. 272. Пункт первый – сознание в неподготовленности. – Одно из положений статьи Кошелева «О земских собраниях» (см. «Голос из земства», стр. 2).

Стр. 273. «Ограниченность круга нашей деятельности <...> залог ее прочности». – Краткое изложение мысли Кошелева (см. «Голос из земства», стр. 2). С подобными утверждениями выступал также Кавелин («По поводу губернских и уездных земских учреждений». – СПб. вед., 1864, № 53, 7 марта, стр. 207. Ср.: К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II, СПб. 1898, стлб. 754).

Стр. 274. ...опасностью раскидаться и растеряться? – Кроме Кошелева («Голос из земства», стр. 2), на которого прямо указывалось в тексте ОЗ, это же утверждал, например, Кавелин в статье, названной в предыдущ. прим. (Ср.: К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II, стлб. 755–759).

Стр. 276. ...газеты наши <...> оглашаются известиями о неудачах, претерпеваемых земством. – Подобные материалы из «Николаевск. вестника», из отчетов Херсонского, Олонецкого и других земских собраний были опубликованы, например, в «Москве» от 6 апреля 1868 г. (№ 4), под рубрикой «Областное обозрение». В редакционном резюме объяснение отсутствия гласных в земских собраниях «распутицей, убытками» и пр. объявлялось недостаточным и указывалась другая причина: «мелочная административная опека». В книге Кошелева в связи с упреками земству в «слабой деятельности и в нерадивом посещении земских собраний» говорилось, что «нельзя признать свободными от упрека и те обстоятельства, которые стесняют <...> земскую деятельность» (там же, стр. 22).

...пунктов для стоичных лошадей? – Одна из натуральных земских повинностей – «подводная»: каждая деревня обязана была иметь «на стойке» в течение известного числа дней определенное количество подвод для провоза должностных лиц.

...в охапку // Кушак и шапку... – Из басни Крылова «Демьянова уха».

>...отыскивание «великолепных свойств русского народа не помнить зла и соединяться». – Цитата (на совсем точная) из книги Кошелева, стр. 9.

Стр. 277. Литература по вопросу о «сближениях» очень обширна... – См. прим. к стр. 225 в т. 4 наст. изд., стр. 562 в т. 5, стр. 589 и 592 в т. 6.

...ничего, кроме тавтологии «жалких слов», из него не выжмете. – «Жалкими словами» слуга Обломова Захар называл обращенные к нему патетические речи барина (И. А. Гончаров. Обломов, часть I, главы I, VIII).

Стр. 278. ...борьба с организованной силой <...> имеет более шансов успеха, нежели борьба с <...> обманом, надевающим на себя лицемерную маску благосклонности. – Организованная сила – лагерь дворян-помещиков, по условиям исторического и политического развития России имевший несравненно больше возможностей для сплочения и организованного отстаивания своих интересов и в земстве, и перед администрацией, чем темное, разобщенное, забитое крестьянство. Обман – призывы к «сближению», мешающие крестьянству понять противоположность его социальных интересов помещичьим.

...апологисты же сближения прибавляют... – В тексте ОЗ вместо этих слов было: «а г. Кошелев в своем сочинении прямо прибавляет...» Далее цитируется статья Кошелева «О земских собраниях».

Стр. 279. «Всего важнее <...>, что дворяне-землевладельцы становятся во главе земства». – Сокращенная цитата из статьи Кошелева «О земских собраниях» («Голос из земства», стр. 9). Подобное же утверждал в передовой «СПб. ведомостей», 1865, № 118, 13 мая, Кавелин (К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II, СПб. 1898, стлб. 161).

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

То, что было, то пройдет... – Из стихотворения Пушкина «Если жизнь тебя обманет...».

Стр. 280...зло историческое, зло, разлитое в целом порядке вещей, поглощавшее в себе одинаково и Петра и Ивана. – Имена Петра и Ивана персонифицируют здесь противостоящие друг другу социальные силы русской действительности: крестьяне, в недавнем прошлом крепостные, и дворяне-помещики, в недавнем прошлом владельцы души и тела первых. Это особенно ясно при обращении к тексту ОЗ, где после «одинаково» следовало в скобках: «не с точки зрения количества понесенных нравственных и моральных ущербов, а с точки зрения исторической неумяемости». Это пояснение, весьма существенное в ряду постоянных раздумий Салтыкова об историческом детерминизме и нравственной оценке поведения общественных групп, было, однако, снято в изд. 1882, возможно, в связи с тем, что в дальнейших рассуждениях «письма» имена Петра и Ивана (как и имена Петра и Павла на стр. 277) употреблены в ином смысле, для обозначения отдельных личностей из помещичьей среды.

...массы хотя и могут, по временам, припоминать разным Петрам и Иванам некоторые их излишества... – Речь идет о расправе с помещиками во время крестьянских восстаний и отдельных выступлений.

Стр. 281...и ежели, например, помещик, включенный с крестьянами в состав одной и той же волости, ни под каким видом не уживется с ними... – В тексте ОЗ в начале фразы была ссылка на статью Кошелева «О дворянстве и землевладельцах» (см. «Голос из земства», стр. 56).

Стр. 282. Будущее для нее не существовало. – В тексте ОЗ этой фразе предшествовали слова: «Все работы были направлены к тому, чтоб удержать прошлое в целом его составе».

«Дворянство <...> перестало существовать <...> дел сколько-нибудь важных у него не осталось никаких». – Цитата из статьи Кошелева «О дворянстве и землевладельцах» («Голос из земства», стр. 50–51).

Стр. 283. Подвысь! – «Подвысь заставу!» – Команда для подъема шлагбаума на заставах.

Стр. 284. ...из тех реформ последнего времени... – Речь идет о земской и судебной реформах 1864 г.

Как были они «меньшею братией», так и остались ею... – В статье «Что такое русское дворянство...?» Кошелев писал: «Крестьяне <...> не могут стать на степень первенствующего сословия в государстве <...>. Крестьяне, помимо землевладельцев, не могут найти лучших представителей, защитников, учителей, общих распорядителей, высших судей» («Голос из земства», стр. 46–47).

Они поголовно пьянствуют, они не выполняют принимаемых ими на себя обязанностей, они допускают безрасчетные разделы семей... – Салтыков иронически излагает здесь сетования, общие всей дворянской публицистике конца 60-х годов (см. «Письмо шестое» и комментарий к нему). Ими полна была и статья Кошелева «О нынешнем положении крестьян...» («Голос из земства», стр. 83–86 и др.). В ней, в частности, шла речь о «безрасчетных разделах» крестьянских семей, приводящих к дроблению земельного надела и усилению нужды.

Стр. 285...оказывается, что нигде не выпивается вина так мало, как в России... – Соответствующие статистические данные приводились, например, в передовой «Москвы», 1868, № 22, 28 апреля.

Говорят, крестьянин правоспособен <...>. Что же сделали крестьяне из этой правоспособности? <...> Известно, что у нас в некоторых местностях ежегодно происходит по нескольку бунтов. – Кошелев в статье «О нынешнем положении крестьян...» писал, что крестьянам дано «полное самоуправление, <...> такая свобода и такая власть, что они с ними справиться не в состоянии» («Голос из земства», стр. 82–83). Этим утверждениям Салтыков противопоставляет картину действительной «правоспособности» крестьянина, проследившая перипетию обычного «мужичьего бунта». В тогдешней печати часто сообщалось о подобных «бунтах». Так, в «Совр. заметках» «Отеч. записок» (1868, № 10, отд. II, стр. 259) рассказывалось о злоключениях крестьян Альшвагенской волости Курляндской губ., дважды

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отправлявших ходатаев в Петербург с просьбой о «временном облегчении в податях». «До решения» старшина волости был заключен в тюрьму, а местные власти принялись за насильственный сбор податей с поджогами изб и т. п. (См. также «Совр. заметки» в ОЗ, 1868, № 5, отд. II, стр. 152–153, и корреспонденцию о крестьянском бунте в газете «Русский», 1868, № 20, 22 апреля, стр. 313). Большой резонанс в прессе вызвал судебный процесс в декабре 1867 г. над 54 крестьянами села Хрущевка Данковского уезда Рязанской губ., отказавшимися выполнять, как незаконную, часть работы на их бывшего помещика (см. Г, 1867, № 355, 24 декабря; «Москвич», 1868, № 35, 8 февраля; «Колокол», 1868, № 3, 1 февраля – Герцен, т. XX, стр. 102–103).

...чтоб они были мудры как змии и кротки как голуби. – Из евангельского наставления Христа апостолам (Матф., X, 16).

Стр. 286...обычное право <...> не всегда находится в согласии с правом писаным... – «Обычное право» – народные представления о праве и справедливости, освященные вековым обычаем, – продолжало официально действовать и в пореформенную эпоху в волостных судах при рассмотрении некоторых крестьянских дел. Отношения же между крестьянами и помещиками регулировались «правом писаным» – общим законодательством Российской империи и законоположениями 19 февраля 1861 г.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Впервые – ОЗ, 1869, № 11, отд. II, стр. 142–164 (вып. в свет 17 нояб.). При подготовке к изд. 1882 Салтыков значительно переработал и сократил «письмо». Приводим два варианта текста ОЗ.

К стр. 288, после абзаца «Как делается русская деньга...»:

Как хотите, а в каждом человеке есть зародыш совести. Совесть эта может бездействовать только до тех пор, покуда не выступает вперед анализ, а вместе с ним и сознательность. Главная заслуга сознательности в том и заключается, что она делает невозможными медные лбы, пробуждает в человеке совесть, заставляет его если не влезать в кожу других (что для многих уже роскошь), то по крайней мере понимать, что польза общая не есть что-либо совершенно чуждое пользе личной, и соображать свои действия таким образом, чтобы эти два понятия не расходились в диаметрально противоположные стороны. Покуда в жизни царствует бессознательность, до тех пор, наряду с нею, будет царствовать и бессовестность, или, лучше сказать, такая нравственная теория, которая ставит непредусмотрительность и непосредственную выгоду единственным подстрекательным двигателем человеческой деятельности. Эта выгода так ощутительна для самого простого понимания, что ослепляет многих и до сегодня, то есть ослепляет, конечно, тех, которые, подобно нашим историографам, конец своего носа принимают за конец вселенной и ни одной мысли, сколько-нибудь сложной, обнять не могут. Но, заглушая совесть, бессознательность в то же время в значительной степени развязывает бессовестным людям руки. Они махают ими направо и налево именно потому, что не понимают, что из этого может произойти. Человек, у которого нет вкуса, свободно ест всякую дрянь; человек, у которого нет слуха, не поморщившись слушает самое нелепое сочетание звуков. Как хотите, а при известных условиях жизни свобода от чувств, отличающих человека от прочих животных, может дать силу. Вот почему даже малейшее вторжение сознательности кажется драгоценным и почти всегда приносит неисчислимы последствия. Присутствие совести вызывает на лицо краску и заставляет отступать перед такими мероприятиями, которые в состоянии бессовестности совершаются очень легко...

К стр. 292–293, после абзаца «и действительно, меньше чем через минуту...»:

«С чего ж они, однако, веселились! – размышляете вы, взирая на это зрелище и припоминая газетные репортажи прошлого и третьего годов. – Что освещали их иллюминации, их фейерверки? ужели эти навозные кучи настолько замечательны, что следовало освещать их бенгальскими огнями!»

– И как это, сударь, чудесно было – просто не посмотрелся бы! – продолжает повествовать разговорившийся ямщик, еще весь полный воспоминаний о виденных им великолепиях. – Как только этот самый чиновник въехал, так сейчас ему все огни! Весь навоз так и просиял! Терпел-терпел господин чиновник и вдруг заплакал. «Много, говорит, я на своем веку благоденствие видел, а такого, можно сказать, изобилия ни в жизни не видал...» Мы, сударь, в то время на четверку хлеба три четверки лебеды мешали, потому голодный год перед тем был! – прибавляет он,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru как-то оживленно передергивая вожжами и замахиваясь кнутом на лошадей. – Задохлись, клятые!

«Письмо девятое» является художественно-экономическим очерком жизни захолустного уездного города. В нем отражено бедственное положение массы городской бедноты, ремесленников и мелких торговцев, задавленных «тягостями беспримерными» – бесчисленными государственными и земскими налогами. Тема настоящего «письма» – исследование провинциальных промыслов и торговли, доход от которых составляет одну из существенных частей «всероссийского пирога» (национального дохода России).

На глубокий застой в экономической жизни провинциальных городов указывали многие публицисты той поры (см., например, статью Кошелева «О городах и горожанах», датированную 12 февраля 1869 г. – «Голос из земства», М. 1869, стр. 107–120).

Салтыков по роду своей последней службы – он возглавлял в 1865–1868 гг. казенные палаты последовательно в Пензе, Туле и Рязани – был призван следить за неукоснительным переходом «деньги» из карманов «обывателей» в государственную казну в виде патентов на право торговли, пошлин на кустарные промыслы, а также прочих налогов и разнообразных штрафов. Он очень остро ощущал, ценой каких каждодневных драм голода и нищеты поддерживается государственный бюджет Российской империи, и постоянно был озабочен тем, как «помочь бедному человеку», порой в обход царских законов.[72] Созданная в настоящем письме картина уездного русского города – «города Глупова» – царства безмолвия, навоза и разорения, картина исключительно конкретная, вырастающая целиком из живого знания российских захолустий и вместе с тем поднимающаяся до впечатляющего символа, – один из непосредственных подходов к Глупову «Истории одного города».[73]

В докладной записке по поводу 11-й книжки «Отч. записок» за 1869 г. цензор Лебедев отзывался о «Письме девятом»: «Статья эта, подобно всем произведениям Щедрина, носит на себе характер тенденциозности или пасквиля на какое-нибудь лицо, замаскированное особенным прозвищем: так, здесь упоминается о провинциальных историографах, под именем которых разумеются высокопоставленные лица в губернии и, сколько можно догадываться, губернаторы. В означенном письме историограф описан пошляком, пустозвоном, не понимающим ни жизни, ни экономических отношений описываемого края, ни средств его жителей. Город представлен с самой пессимистической стороны; жители нищими <...>. И все это изложено в едких, резких и желчных выражениях, способных в читателе возбудить негодование к лицам, допускающим существование такой крайности в России». Донесение заканчивалось выводом, что эта книжка журнала хотя и не дает прямых поводов к судебному преследованию, но доказывает «вредное и неблагонамеренное направление» журнала.[74]

Критика встретила «Письмо девятое» как «удачу» писателя. Буренин в обзоре журналов за ноябрь в «СПб. ведомостях» (1869, № 353, 23 декабря; подпись: Z) особенно отметил «полную юмора характеристику провинциальной городской торговли, представленную в живых сценах». А. Вошинников в «Новоросс. телеграфе» (1870, № 4, 6 января; подпись: А. В.) также указал на «комичную и до уныния грустную картину маленького городка, каких у нас немало».

Стр. 288...о каких-то господах идет речь, которые <...> прямо не поименовываются, но известны под названием «подлецов» и «изменников». – «Изменниками» реакционная пресса во главе с Катковым именвала со времени польского восстания 1863 г. русских революционных эмигрантов, в частности Герцена, Огарева и М. Бакунина, выступивших в защиту свободы Польши. Далее в злопыхательских речах «историографов» сатирически воспроизводятся инсинуации реакционной печати против редакторов «Колокола», будто бы своей лестью увлекших молодое поколение в гибельную крамолу.

Стр. 290...у различных прохожих молодцов, сделавшихся <...> предпринимателями железнодорожного дела. – О железнодорожной «горячке» 60-х годов см. подробнее в очерках «Наш savoir vivre» и «Хищники».

Стр. 291. Выну – всегда, во всякое время, непрестанно (церковнославянск.).

>Крапивна, Керенск, Егорьевск – известные Салтыкову по его службе 1865–1868 гг. уездные города Тульской, Пензенской и Рязанской губ.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 293. Ренсковый погреб – магазин виноградных вин (от старинного названия всякого виноградного вина – «ренское», то есть рейнское).

Стр. 297. ...поляки <...> ссыльные... – Участники польского восстания 1863 г., сосланные в разные губернии России, в том числе в центральные.

Стр. 298. Литератор-обыватель. – См. очерк «Литераторы-обыватели» в т. 3 наст. изд.

Стр. 299. Ну, что, как торгуете? – В воспроизводимом далее диалоге отразился, в частности, реальный факт из деятельности Салтыкова в Туле, когда к нему явилась просить о помощи целая депутация бедных женщин – неплательщиц пошлин и штрафов. «Салтыков принял живое участие в их положении: немедленно предписал полиции произвести дознания об имущественной несостоятельности их», и затем освободил многих от уплаты («Салтыков в воспоминаниях», стр. 489–490).

>...то чиновник палатский на тебя налетит, то из думы, а тут еще полиция – штраф подавай! – Чиновники губернской казенной палаты определяли сумму пошлин с торговцев и кустарей и при неуплате составляли акты на штрафы, которые взимались полицией. Помимо этого, ремесленники и торговцы должны были платить земские сборы в городскую думу.

>Плѣхи – слово, бытовавшее в родной Салтыкову Тверской губ., означавшее «тряпичницы», «ветошницы».

Стр. 302. Съеста – послеобеденный отдых (итал. *siesta*).

Стр. 305. ...посадский человек в недавнее время и освобожден от подушной подати... – Взимание подушной подати с мещан, цеховых ремесленников и рабочих в городах отменили с 1863 г.

Стр. 306...если <...> отчетливо представить себе эту картину нашей провинциальной торговли и ремесленности, вам, наверное, сделается <...> тошно. – Далее в ОЗ Салтыков, прибегая к данным официальной статистики и критически анализируя их, продемонстрировал разительное несоответствие доли мелкой торговли в доходах и налогах по сравнению с крупным капиталом и таким образом обосновывал срочную необходимость введения, взамен действующих, прогрессивного подоходного налога. Эта публицистическая заключительная часть «письма» (см. ее на стр. 510–512 в т. 7 изд. 1933–1941) была снята автором в изд. 1882, очевидно, в связи с тем, что ее фактические данные устарели, а основанные на них доказательства лишь повторяли общую мысль «письма», уже убедительно раскрытую иными, художественно-очерковыми средствами.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Впервые – ОЗ, 1870, № 3, отд. II, стр. 134–144 (вып. в свет 16 марта).

«Письмо десятое» создавалось, по-видимому, между январем и мартом 1870 г.

При подготовке к изд. 1882 Салтыков сократил «письмо». Приводим два варианта текста ОЗ.

К стр. 308–309, после абзаца «Слушать подобные рассуждения тяжело...»:

Только и слышишь кругом: нет энергии, нет решительности в действиях! И между тем, в то же время, осведомляешься о таких примерах энергии, при которых чувствуешь себя далеко не ловко. Последняя курица моего соседа сделалась жертвою энергии, но так как новой курицы от этого у него не народилось, то он с беспокойством ожидает, что в следующий раз энергия обрушится на нем самом. Другой сосед позволил себе однажды сказать, что энергия для энергии в общем результате равняется переливанию из пустого в порожнее, вдруг объят был повсеместным трясением (он вспомнил, несчастный, что такого рода энергия не всегда пустопорожня, но иногда сопровождается некоторыми сократительными частностями!) и, конечно, в другой раз едва ли решится высказать мысль столь смелую. Никто ничего не делает; никто не производит, не думает, не изобретает, но все трепещут и опасаются. На что, казалось бы, результата удовлетворительнее; однако провинциальная интеллигенция находит, что и этого мало. «Нет энергии!» – вопиет она и, очевидно, домогается уже такого положения вещей, которое так метко охарактеризовано пословицей: шаром покати!

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

К стр. 314. Кончалось «письмо» в ОЗ следующим текстом после абзаца «Этого-то, по-видимому, и добиваются...»:

Как ни грустно, но справедливость требует сознаться, что похвальбы насчет будущих подвигов строгости становятся в последнее время особенно настойчивыми.

Затруднения, неизбежные во всяком обществе, освобождающемся от устарелых форм жизни, вызывают не сознательное отношение к ним, а какое-то тупое недоумение, разрешающееся угрозами и бранными, малоупотребительными в печати словами. В жизни каждого общества выдаются такие минуты, когда в нем начинается работа самосознания, когда силы его, дотоле разъединенные или скрытые, постепенно группируются и выступают наружу. Такая работа ничего больше не требует, кроме спокойствия, но этого-то именно и не берет себе в толк наша провинциальная интеллигенция. Она теряется при виде этого движения и предлагает тараны и стенобитные машины там, где требуется только благосклонное от них увольнение.

Но будем думать, что это лишь бред наяву и что он, без особенных последствий, пронесется над провинцией, подобно многим другим Бредам, которыми так богаты многодумные головы представителей нашей интеллигенции.

В настоящем «письме» Салтыков выступает против «строгости», то есть беззакония, произвола и административного принуждения, и против поборников «усиления и концентрирования власти» самодержавно-бюрократической системы – «здания строгости», куда крепостники мечтают вновь «засадить россиян». Писатель защищает идею «здоровой жизни» – демократии.

Непосредственным поводом к созданию «Письма десятого» послужили дебаты вокруг готовившегося в то время правительством проекта административной реформы, направленного на усиление единоличной власти губернаторов. [75] О повышенном интересе Салтыкова к этому проекту, призванному законодательно закрепить усиление реакционного курса власти, свидетельствует его письмо от 23 марта 1870 г. к Некрасову (пересланное последним их общему старинному знакомому, высокопоставленному чиновнику В. М. Лазаревскому) с просьбой: «...Нельзя ли на короткое время прочитать проект административно-полицейской реформы» (см. также прим. к стр. 309).

Еще в январе 1868 г. министерство внутренних дел разослало «начальникам губерний, членам Государственного совета» и т. п. в качестве руководства к деятельности «Записку» псковского губернатора Б. Обухова. В ней утверждалась необходимость «общих государственных мероприятий» по дальнейшей «централизации губернской администрации», санкционированию ее «вмешательства во все виды общественной деятельности», подчинению губернатору прокурорского надзора и т. п. [76] (Вслед за этим Обухов был назначен товарищем министра внутренних дел.)

Публицисты дворянско-монархического охранительного лагеря видели в дальнейшем усилении административной власти единственный выход из «политических неурядиц» и экономического кризиса, переживавшегося Россией в конце 60-х годов (о выступлениях «Вести», «Русского», брошюре Г. Бланка см. в прим. к стр. 307–308). По свидетельству М. М. Стасюлевича, в те годы в ретроградных кругах приобрело широкое хождение выражение: «La légalité nous tue» – «Законность нас губит». [77] С сильной властью давно связывали свои надежды и поправевшие либералы Чичерин, Кавелин.

Затрагивая в споре с этими «теориями» коренные вопросы социально-политического развития России, Салтыков показывает несостоятельность претензий самодержавного государства на просветительскую миссию, высмеивает «просветительно-опустошительные подвиги» легионов его представителей – «безабучных» горе-цивилизаторов. Так «Письмо десятое» сближается с проблематикой «Господ ташкентцев» (очерки «Ташкентцы-цивилизаторы», «Что такое ташкентцы?», ОЗ, 1869, № 10, 11). Вместе с тем оно служит как бы теоретическим комментарием к фантастическим картинам глумовских «Воин за просвещение» из «Истории одного города» (эта глава напечатана в № 2 ОЗ за 1870 г.).

Стр. 307...фантомы, которые все мрачнее и мрачнее рисуются на общем фоне жизни. – В ОЗ далее следовало: «по мере того как самый фон делается более светлым».

Стр. 307–308...дайте только почувствовать <...>, что спасительное иго еще не

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru упразднилось, и вы увидите, как быстро исчезнут неурядицы и смуты... – В передовых статьях «Вести» 1869 г. повторялись требования введения «чрезвычайных административных мер», установления «сильной чрезвычайной власти» с целью «устранения неурядицы и водворения гражданского порядка в этом хаосе» (см. «Весть» от 22 марта, 13 апреля, 24, 28 мая и др.). Подобное же предлагали Г. Бланк в брошюре «Движение законодательства в России» (СПб. 1869) и В. Кочубей в статье «О губернаторской должности» («Русский», 1868, № 11, 5 февраля).

Стр. 308...ежели подрядчик притесняет рабочих <...>, им говорят: «Подождите, любезные! потерпите!» – В статье Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (РВ, 1869, № 10) рассматривался вопиющий случай притеснения рабочих на строительстве железной дороги и выражались надежды на постепенное улучшение их положения в будущем. С ней Салтыков незадолго до «письма» полемизировал в статье «Человек, который смеется» (ОЗ, 1869, № 12; т. 9 наст. изд.).

Стр. 309...концентрировать эту энергию в одном вместилище. Безобразие разделения властей ныне вполне сознано... – Речь идет о проекте сосредоточить власть на местах в руках губернаторов и «упразднить состоящие при них коллегияльные учреждения – губернское правление и полицейские управления» (МВ, 1871, № 12, 16 января). «Безобразие разделения властей» – очевидно, дореформенное разделение функций местного управления между администрацией и сословными органами дворянства. В ходе реформ 60-х годов у губернаторов сосредоточилась вся административная власть, включая контроль над местной полицией, – реформа уездной полиции 1862 г. передала в их руки право назначать исправников, прежде выбиравшихся дворянами. По закону 22 июля 1866 г. губернаторам было подчинено и большинство губернских учреждений министерств.

Широковещательность – эзоповская формула Салтыкова, включающая понятие бесконтрольности, произвола, всей полноты исполнительной и законодательной власти (в 1869–1871 гг. дебатировались проекты предоставления губернаторам права издавать «постановления и распоряжения» о «благочинии и благоустройстве», о «предупреждении и пресечении преступлений», которые обладали бы силой закона в пределах управляемых ими губерний – МВ, 1871, № 12, 16 января).

>...давая нашей деятельности направление исключительное (в смысле бесповоротной строгости), <...> можем достигнуть результатов очень нешуточных. – В ОЗ далее следовало разъяснение: «Этим способом мы скорее, нежели всякими другими пальятивами, сумеем доказать несостоятельность принципа, во имя которого мы действуем – это бесспорно». Эта мысль очень существенна для сатирической поэтики Салтыкова 70–80-х годов. В его гротескных, фантастических образах и сюжетах доводились до логического предела, до «всех последствий» краеугольные принципы господствующего строя, что позволяло особенно наглядно демонстрировать его несостоятельность.

Стр. 311...Чингис-хан, Батый, Аттила <...> сожгли, разрушили, разорили <...> Если люди кричат известному явлению «довольно!», то это значит, что оно им не надобно... – Имена монгольских завоевателей Чингис-хана и Батю (XII–XIII вв.) и предводителя гуннов Аттилы (V в.) служили в революционно-демократической публицистике общепринятым обозначением царского самодержавия. Салтыков эзоповски проводит здесь мысль о том, что оно изжило себя.

Стр. 313. Картина просветительно-опустошительных подвигов <...> своего рода «Последний день Помпеи» <...> мысль немеет. – Салтыков уподобляет зрелище произвола, поборов и усмирений, составлявших «цивилизаторскую деятельность» пореформенных администраторов, картине К. Брюллова «Последний день Помпеи» (1830–1836), изображавшей неотвратимую стихийную катастрофу, массовую гибель жителей Помпеи под вулканической лавой. Герцен также считал это изображение всеобщей человеческой трагедии, вызванной слепой неостановимой силой, символическим воплощением общественной атмосферы самодержавия (см. «О развитии революционных идей в России». – Герцен, т. VII, стр. 330–331).

Стр. 314...человек, у которого нет ничего, кроме энергии... – Таков именно образ градоначальника Брудастого, созданный Салтыковым в «Истории одного города».

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Впервые – ОЗ, 1870, № 4, отд. II, стр. 276–288 (вып. в свет 9 апр.).

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
При подготовке к изд. 1882 Салтыков переработал и сократил «письмо». Приводим три варианта текста ОЗ.

К стр. 316, после абзаца «Но этого еще недостаточно...»:

Ежели, по их мнению, даже перед громом нет надобности трепетать, то каким же образом следует себя вести, например, относительно станowego пристава? И что всего ужаснее – никак их нельзя в этих революциях уличить! Чувствуешь, что в словах их есть что-то неладное, а что такое – сам черт не разберет!

– Позвольте, милостивый государь! вы сейчас изволили сказать, что инстинкты животных определяются условиями жизни... так, кажется, я расслышал?

– Точно так, ваше превосходительство.

– Однако ж, казалось бы, что и предусмотрительная архитектура природы с своей стороны...

– Точно так, ваше превосходительство.

– Извольте, милостивый государь, продолжать!

И продолжает. Ни о ком из господ станowych не упоминает, а между тем чувствуешь, что каждое его слово так и брызжет станowymi...

Как уличить, что инстинкты животных определяются не условиями жизни, а чем-то другим... хоть бы, например, распорядительностью станowych? Что такое инстинкты? какое это слово? что такое условия жизни? Становой пристав представляет ли собой условие жизни или нет? что такое самое животное? животное ли, например, человек, или животными называются... только животные? Как с этим быть неспециалисту? Пожалуй, начнешь уличать, да так застрянешь, что потом и не вылезешь! И какой иезуитский ответ... именно иезуитский! «Точно так, ваше превосходительство!» Что ни спроси – все «точно так!». Смеется он или серьезно говорит – сам В. П. Безобразов его не поймет! [78] Что же делать-то, спрашиваю я вас, что же делать-то? Ведь этак, пожалуй, придется смотреть, как они революции разводят, да помалкивать! Или...

За этим «или» следует совершенно естественный переход к соображениям о том, какие полагаются возможным предпринять меры к освобождению русской жизни от одолеваящих ее специалистов и чудесников.

К стр. 324, после абзаца «Как ни больно, но придется...»:

Как скоро состояние бессознательности прекращалось, несправедливость единоторжий выяснилась сама собою, но, к сожалению, не выяснились средства к выходу из него. А средство тут одно: освобождение знания и умения из-под гнетущего контроля энциклопедизма строгости.

К той же стр. Заканчивалось «письмо» в ОЗ следующим текстом после абзаца «Можно бы привести здесь множество примеров...»:

И не только живут, но даже имеют настолько силы, чтобы безуспешно упорствовать в своих заблуждениях...

«Письмо одиннадцатое» непосредственно продолжает тему «Письма десятого». Салтыков подвергает здесь рассмотрению отношения дворянско-чиновничьего общества провинции к знанию, науке, страх перед ними как началами разрушительными, «посягающими» на привычный уклад жизни. Тема данного «письма»: представляют ли собой «творческую силу» невежество, обскурантизм – неразлучные спутники произвола, поднявшие голову в связи с усилением реакции.

«Строгость» и «предприимчивое невежество» – органический продукт крепостнических отношений, когда «в человеке усматривался лишь материал, который можно по усмотрению и скорчить, и вытянуть». Для осмеяния подобных воззрений и принципов писатель создает метафорическое понятие «кантонистский энциклопедизм». (Кантонисты – дети нижних чинов, до 1856 г. приписывавшиеся от рождения к военному ведомству, обучавшиеся в особых школах, где палочной дисциплиной вырабатывался тип невежественного и грубого служаки.) Это сатирическое обобщение

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вобрало в себя представление об умственном убожестве и безграничной самонадеянности невежественного бюрократа-солдафона, который, в противоположность «специалисту», деятелю «знающему и мыслящему», берется наскоком за всякую сферу деятельности, готов молниеносно разделаться с любыми общественными потребностями и стремлениями при помощи административного принуждения и «сечения», и привести все науки к «одному знаменателю». Новая, пореформенная действительность «целой цепью неудач протестует» против этих давно изживших себя приемов жизнестроительства. Однако поборники пресловутого «энциклопедизма», как гласила в ОЗ заключительная фраза «письма», не только живы, но и в силе (см. второй вариант к стр. 324). Неуклонный вывод из рассуждений этого письма, сформулированный в его журнальной редакции особенно прямо, – «освобождение знания и умения из-под гнетущего контроля энциклопедизма строгости» (см. первый вариант к стр. 324), то есть полная демократизация всей общественной, государственной, культурной жизни страны как главное условие ее развития, центральная историческая задача эпохи.

Стр. 317...то время, когда в среде нашей сложилась знаменитая пословица: «тяп да ляп – и корабль». – Здесь и далее речь идет о «фантазмагории» всякого рода прожектерства и, одновременно, о разгуле хищничества и казнокрадства в период Крымской войны и вызванных ею больших рекрутских наборов и дворянского ополчения.

фортеции и ретраншементы – укрепления и окопы (франц. *forteresse*, *retranchement*).

Стр. 318. Человек неученый, рыбак, пастух – все это принимало на себя обязательство уловлять людей... – В Евангелии от Матф., IV, 19, Иисус зовет рыбаков Андрея и Симона (впоследствии апостола Петра) следовать за ним, обещая сделать «ловцами человеков». Евангельское выражение используется Салтыковым в разных оттенках иронического переосмысления – это и принуждение, и принижение, и полицейская «ловля» людей, физическое уничтожение.

Стр. 319. Хочу, чтоб на этом месте был город, – и бысть... – Образную параллель к этим декларациям, восходящим к библейской легенде о сотворении мира, составляют действия Угрюм-Бурчеева в «Истории одного города».

Стр. 322...из легиона «способных и достойных»... – то есть из чиновничества, из государственной администрации царизма. Способен и достоин – слова из формуляра о службе.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Впервые – ОЗ, 1870, № 9, отд. II, стр. 64–82 (вып. в свет 4 сент.).

Салтыков работал над «Письмом двенадцатым» в июле 1870 г., параллельно с завершением «Истории одного города». 10 июля он писал Некрасову: «Я кончил «Историю города» и кончаю на днях «Письмо из провинции». Все это будут концы, и я более не стану уже возвращаться к этим предметам».

В журнальной публикации «Письма» следует предположить наличие цензурной замены на стр. 77–80 (стр. 335–338 наст. тома). В ОЗ текст со слов «возможны минуты прозрения» (в абзаце «Но, кроме поверья...») до абзаца «Предположите, с одной стороны...» набран со шпонами, чем отличается от остального текста, набранного без шпон. Очевидно, первоначально здесь был набран иной текст, большего объема.

При подготовке к изд. 1882 Салтыков переработал и сократил «письмо». Приводим три варианта текста ОЗ.

К стр. 333, после абзаца «И заметьте...»:

Конечно, он может утешать себя тем, что в этом случае работа самопокорения имеет чисто внешний характер, что она не затрагивает ни одного существенного убеждения, не разрушает ни одного основного верования, но ведь дней впереди много, и каждый из них приносит за собою все ту же необходимость внешней работы самопокорения. Устоит ли перед этой хмурой перспективой дней та светлая уверенность в неприкосновенности внутреннего строя, которую задается человек, сеющий новое слово на почве, уже поросшей крапивою и репейником слова ветхого, но глубоко путившего корни?

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
к стр. 334, после абзаца «Ничтожество этого результата <...> бедными тутошними людьми?»:

...которых типическая особенность в том только и состоит, что им бежать некуда? Он ест хорошую пищу, пьет хорошее вино, носит хорошую одежду; они и <едят,> и пьют, и носят – все худое. Очевидно, что естественное его место не между голодными оборванцами, а между сытыми и хорошо одетыми исправниками и другими пропагандистами всероссийской цивилизации...

к стр. 335, в начале абзаца «Но, кроме поверья...», после слов... «и для масс возможны минуты прозрения»:

...такие минуты, когда они, в свою очередь, начинают влиять на общее течение исторических событий.

Итоговое «письмо о провинции» посвящено разработке одной из постоянных и кардинальных тем Салтыкова – темы взаимоотношений передовой мысли и жизни масс. У Салтыкова нет сомнения, что и для масс возможны «минуты прозрения» (то есть сознательного, исторически активного, революционного действия, как разъяснялось в ОЗ, – см. вариант к стр. 335), что эти минуты «составляют неизбежную страницу в истории каждого народа». Однако свою задачу он видит в исследовании всей трагической сложности реальных коллизий, в которые ставит революционера русская действительность, когда он практически сталкивается с ней.

Забитая веками рабства масса не понимает, что «избавление зависит от нее самой», и ожидает его от чуда. Она не знает о своих «ревнителях», тяжкий опыт выработал в ней недоверие ко всем «сытым». (В ОЗ социально-психологическая мотивировка этого недоверия была развернута подробнее – см. вариант к стр. 334.)

Художник избирает ситуацию, в которой общение революционера с народом принимает наиболее естественный для тогдашних условий вид: его герой водворен в одно из российских захолустьев. Эта ситуация весьма характерна для пореформенного десятилетия, когда жертвами репрессий стали не только выдающиеся деятели революционного лагеря – Чернышевский, Михайлов, Н. Серно-Соловьевич, Налбандян и др., – но и сотни рядовых участников демократического движения, высланных «в отдаленные губернии» по приговору политических судов или в административном порядке (в связи со студенческими волнениями 1861 и 1869 гг.; «делом 32-х», «обвинявшихся в сношениях с лондонскими пропагандистами»; следствием по делу нелегальной типографии П. Д. Баллода, «казанскому заговору» 1863 г., делу Каракозова и др.). Среди сосланных оказались в те годы люди столь разной глубины убеждений и силы духа, как ученик Чернышевского И. И. Кельсиев и либеральный профессор П. В. Павлов, революционный публицист П. Л. Лавров и участница студенческих волнений А. П. Блюмер, этнограф П. Н. Рыбников и революционер И. А. Худяков (причастный к покушению на Александра II в 1866 г), юнкер В. В. Трувеллер (пострадавший за привоз в Россию «Колокола» и др. лондонских изданий) и земледелец Ю. М. Мосолов.

Драматизм положения и душевного состояния этих сотен политических ссыльных запечатлен Салтыковым в эзоповском псевдониме «акклиматизируемый человек». В этой метафоре передана горечь судьбы человека передовой мысли, «высших стремлений», насильственно перенесенного в идейное одиночество враждебно-обывательского бытия глухой провинции.

Глубина, достоверность социально-психологического исследования перипетий общения «водворенного»: и «аборигенов» обусловлена также обширным личным опытом Салтыкова, находившегося в положении «акклиматизируемого» не только в период «вятской ссылки» (1848–1855; воспоминаниям о ней посвящены также «Годовщина», «Добрая душа» – см. стр. 638, 640), но и в недавние годы последней службы в провинции (они рассматривались им самим как время добровольной ссылки).

Салтыков особенно остро осознавал опасность отчаяния, угрожающую демократу, не находящему пути к разуму масс в эпоху исторического перерыва. Не имея возможности предложить никаких «утешений», кроме общих исторических перспектив «прозрения» народного в будущем, он как бы ставил перед политическими ссыльными альтернативу: мужество и идейная стойкость, верность идеалу и при столь трагических обстоятельствах – или «умирение», а с ним душевный надлом, опустошенность. Изображением нюансов душевной борьбы «акклиматизируемого», всех подстерегающих его трагических срывов, «письмо» идейно закаляло этих «не героев»,

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru а просто честных, полезных и наклонных к добру людей». Финальные строки «письма» («Люди и даже дела их исчезают на наших глазах поистине беспримерно...») полны горечи. Но в то же время они вызвали в сознании читателя-друга образы революционных деятелей несокрушимой идейной убежденности, жизненный подвиг которых вдохновлял на самоотвержение во имя освобождения мысли. [79]

Трагические судьбы людей несгибаемого революционного духа продолжали волновать писателя и в последующие годы. 20 ноября / 2 декабря 1875 г. он сообщил П. В. Анненкову о замысле рассказа «Паршивый», непосредственно связанном с раздумьями «Письма двенадцатого» (см. также его письмо к Некрасову от 26 апреля / 8 мая 1876 г.).

Появление «письма» в журнале было встречено критикой сочувственно. Рецензент газеты «Сын отечества» (1870, № 220, 29 сентября, стр. 1; без подписи) отдал ему даже предпочтение перед завершающими главами «Истории одного города» на том основании, что здесь «горькая правда прямее и откровеннее». Суровые раздумья идейного вождя демократии о жизни народной и внесении в нее передового сознания привлекали к себе многие поколения революционеров. М. С. Ольминский среди любимейших произведений Щедрина в письме из тюрьмы к сестре Л. С. Александровой от 14 апреля 1897 г. называл двенадцатое «Письмо о провинции». [80]

Стр. 325...путешественник-специалист, командированный от какого-нибудь ведомства, а пожалуй, и от двух... – Выпад против В. П. Безобразова, который в составе экспедиции, снаряженной в 1867 г. Вольным экономич. и Русским географ. обществами, обследовал состояние «хлебной торговли в бассейне рек Вятки и Белой, а также за Уралом» и одновременно «по высочайшему повелению» «обозревал» казенные горные заводы в Приуральском крае. Далее Салтыков пародирует утверждение Безобразова в статье «Наши охранители и наши прогрессисты» (РВ, 1869, № 10) о росте вывоза хлеба, как показателе «чрезвычайного возрастания земледельческого производства в России». Пародийный «ученый дневник» вместе с тем высмеивает «методологию» официальной науки вообще. Деятельность Безобразова впоследствии не раз служила Салтыкову отправным пунктом для создания сатирических образов дельцов от науки (Велентьев в «Господах ташкентцах», Полосатов в «Недоконченных беседах», Грызунов в «Письмах к тетеньке»).

...нечто пикантное против наших охранителей и прогрессистов, утверждающих, что благосостояние народа находится в упадке... – В статье «Наши охранители и наши прогрессисты» Безобразов предъявлял демократической публицистике «Отеч. записок» (в частности, Салтыкову) демагогическое обвинение в том, что, сосредоточивая внимание на «современном экономическом упадке России», она сближается в своей позиции с реакционными публицистами «Вести».

...пуговица от мундира великого князя Святослава Игоревича, потерянная во время битвы с Цимисхием <...>, как бы снятая с новейшей ливреи... – Битва Святослава, великого князя Киевского, с войсками византийского императора Иоанна Цимисхия происходила при Доростоле в 971 г. Салтыков иронизирует здесь над псевдонаучными изысканиями официозных историков, накладывающими «мундирную», «ливрейную» окраску на русскую древность.

...выпускал книжицу <...> «Исследование о хлебной торговле в России»... – Речь идет о книге Безобразова «Хлебная торговля в Северо-Восточной России (в Камском бассейне и Приуральском крае)», СПб. 1870.

Стр. 326...поднимает завесу будущего... – Эзоповское обозначение социалистических устремлений и идеалов (см. также стр. 95 в наст. томе и стр. 108, 395 в т. 6 наст. изд.).

Стр. 327. Рай Разъезжей улицы – потерянный рай! – Салтыков иронически сопоставляет идейные и материально-бытовые трудности жизни в глухой провинции ссыльных революционеров, людей передовой мысли, с райской «безопасностью и безмятежием» их жизни в Петербурге. Ирония подчеркнута ассоциацией с богоборческой поэмой Д. Мильтона «Потерянный рай».

Стр. 329. Она не хочет знать о тех высших соображениях, которые бросили странника в ее захолустье... – то есть о демократических и социалистических идеях. В ОЗ несколько далее, после слов «И, сообразив это, начинают жалеть вдвое» (стр. 330 наст. тома), разъяснялось, что «для обывателя высшие соображения недоступны уже по тому одному, что ему недоступен самый строй понятий, вызвавший эти

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «соображения».

Стр. 330...наши благонамеренные свистуны. – В ОЗ далее следовало: «ради пикантности готовые на всякую неправду». Речь идет о публицистах-охранителях, подобных Безобразову, об официозной и реакционной критике вообще, обвинявшей Салтыкова в преднамеренном сгущении мрачных красок. Этим критикам враждебного лагеря писатель возвращает кличку, которой они (по названию сатирического отдела «Совр.»– «Свисток») называли публицистов революционно-демократического лагеря. (Она была пущена в оборот Катковым – см. его статьи «Несколько слов вместо «Современной летописи», «Наш язык и что такое свистуны» – РВ, 1861, №№ 1, 3.) Ср. стр. 336 и прим. к ней.

Стр. 332...кто же смолodu не был молод? – Перифраз пушкинского стиха «Блажен, кто смолodu был молод» («Евгений Онегин», гл. VIII, строфа X).

Человек, отдающий себя делу воспитания... – В ОЗ далее следовало разъяснение: «в особенности делу воспитания людей, уже находящихся под игом известного сорта цивилизации».

Стр. 333...строчить втихомолку просьбицу – то есть донос.

Стр. 336. Ученые свистуны <...> утверждают самую бессовестную неправду. Их поражает <...> перспектива суточных, подъемных и прогонных денег. – Новый выпад против Безобразова и других официозных экономистов. Приукрашивание в их трудах действительного положения пореформенного крестьянства расценивается Салтыковым как намеренное искажение истины в корыстных целях. Резкость этой оценки усилена в изд. 1882 (в ОЗ вместо слов «перспектива <...> денег» было: «безграничность их собственного самомнения»).

Патагония – распространенный в революционно-демократической публицистике эзоповский псевдоним Российской империи. (Большую часть коренного индейского населения Патагонии, этой испанской, затем аргентинской колонии в Южной Америке, истребили завоеватели; уцелевшие аборигены были совершенно бесправны.)

Стр. 339. Не только из жизни, но даже из хрестоматий и курсов словесности исчезают люди. И за каждым исчезновением – молчок. – Намек на преследования известных деятелей литературы, на гибель многих из них в казематах, на замалчивание и клевету после смерти или в случае эмиграции. За этими строками встают имена Радищева и Рылеева, Чернышевского, Михайлова, Герцена, Грановского – весь тот длинный «мартиролог» русской литературы, о котором писал Герцен (Герцен, т. VII, стр. 208). См. также статью Салтыкова «Один из деятелей русской мысли» (1870; т. 9 наст. изд.).

Грады и веси <...> постепенно познают пользу употребления картофеля... – См. прим. к стр. 7.

Примечания

1
попойках.

2
прекрасном поле.

3
Но это так не делается!

4
Но это невозможно!

5
рассказывайте!

6

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Мне наплевать...

7
с законом в руке.

8
Но то, что вы предлагаете, непрактично, дорогой мой!

9
очень элегантным и модным,

10
В Провен, тру-ля-ля-ля...

11
будем танцевать, пить... и петь!

12
рулетку.

13
что так принято в обществе.

14
Куда мы идем? Боже! куда мы идем?

15
Речь идет не об этом.

16
грешках.

17
Так вот! держу пари...

18
Так вот! я вас уверяю...

19
Суворов! это имя, которое стоит целой эпопеи!

20
Как вам это нравится?

21
Простите, но есть еще вопрос.

22
с Византией – вы представляете?

23

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
и заметьте...

24
Куда мы идем!

25
кто удовлетворит необходимые статьи бюджета?

26
Хотел бы я посмотреть!

27
Условимся же, черт возьми!

28
я вас спрашиваю!

29
Понимаете?.. свою курицу! свою последнюю курицу!

30
Вот молодец!

31
любезности.

32
кремль.

33
молодец.

34
А когда-то за это платили только две копейки!

35
благие пожелания.

36
чистой доской.

37
См. статью без подписи «Положение крестьянского хозяйства». – ОЗ, 1858, № 9, отд. II, стр. 95.

38
Например: В. П. Мещерский. Письма из средних великороссийских губерний за 1867 г., СПб. 1868; А. Кошелев. Из провинции. – СПб. вед., 1867, № 82, 24 марта; он же. Голос из земства, М. 1869; В. Д. Голос из деревни. – «Русский», 1868, № 16, 11 марта. О преобладающей направленности подобных свидетельств очевидцев бывший министр народного просвещения А. В. Головнин писал редактору «Вестн. Европы» М. М. Стасюлевичу 13 ноября 1868 г.: «...Ездили, кажется, собственно для того, чтоб разглашать теперь, что они сами, на местах, видели весь вред крестьянской и

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru судебной реформы и земских учреждений и убедились также на местах в необходимости усилить, хотя бы временно, административную власть губернаторов» («М. М. Стасюлевич и его современники...», т. I, СПб. 1911, стр. 503).

39

См.: И. В. Князев. «Особые мнения» М. Е. Салтыкова-Щедрина (из материалов Пензенского областного архива). – «История СССР», 1963, № 5, стр. 147–150.

40

П. Д. Боборыкин. Монрепо. (Дума о Салтыкове); цит. по изд. «Салтыков в воспоминаниях», стр. 135.

41

«В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева» (т. 9 наст. изд.).

42

III и IV письма Скалдина, наиболее глубоко освещающие эти проблемы, появились в №№ 11, 12 за 1868 г., вслед за VI «Письмом из провинции» (ОЗ, № 10 того же года).

43

ОЗ, 1868, № 12, стр. 509.

44

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 25.

45

Там же, т. 2, стр. 520.

46

I и II «письма» Скалдина появились в журнале еще в 1867 г., до перехода его в руки новой редакции во главе с Некрасовым. Новая редакция в примечании к III «Письму» Скалдина оговорила, что не всегда согласна с его воззрениями. – ОЗ, 1868, № 11, стр. 255.

47

Д. И. Писарев. Реалисты (РС, 1864, №№ 9, 11). – Соч. в 4-х томах, т. III, М. 1956, стр. 9–10, 126, 137 и др. Близкие идеи выражались в публицистике В. А. Зайцева; см.: В. Я. Кирпотин. Радикальный разночинец Д. И. Писарев, М. 1933, стр. 191 и сл.; Ф. Кузнецов. Варфоломей Зайцев – революционный критик и публицист. – «Вопросы литературы», 1966, № 3, стр. 158–162.

48

А. И. Герцен. Наброски «Писем к противнику»; «Письма к путешественнику» (К, 1865, лл. 199, 201 от 1 июля, 1 августа). – Герцен, т. XXX, стр. 796; т. XVIII, стр. 355, 367–370.

49

См.: М. А. Бакунин. Письма к А. И. Герцену, Женева, 1896, стр. 468, 473–474.

50

См., например, «Письмо пятое». – «Неделя», 1868, № 13, стр. 391 и др. – П. Л. Лавров. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. I, М. 1934, стр. 227 и др.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
51

См. также: А. С. Бушмин. Народ в изображении М. Е. Салтыкова-Щедрина – Сб. «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы», М. – Л. 1960, стр. 274–311.

52

СПб. вед., 1869, № 76, 18 марта (подпись: Z).

53

ВЕ, 1869, № 4, стр. 988.

54

Д, 1876, № 3, стр. 414.

55

См. например, о «первых благородных пионерах» нового суда в кн.: Г. Джаншиев. Эпоха великих реформ, изд. 6, М. 1896, стр. 415.

56

А. М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 25, М. 1953, стр. 316.

57

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 43.

58

В тексте ОЗ и изд. 1869 эта мысль развита подробнее – см. выше вариант к стр. 238–239. Одним из исторических комментариев к этим предостережениям Салтыкова может служить «Записка» псковского губернатора Б. Обухова министру внутренних дел от 10 декабря 1867 г. В ней утверждалось: «Как общие правительственные мероприятия, так и деятельность частных административных лиц должны быть направлены к тому, чтобы собрать и соединить разбросанные в весьма достаточном количестве консервативные элементы», и предлагались финансовые меры укрепления положения и влияния крупных землевладельцев – поземельный кредит и т. п. (см. «Русский администратор новейшей школы», издано Ю. Ф. Самариным, Берлин, 1868, стр. 49–50).

59

Речь идет о значительной крепостнической оппозиции правительству в период подготовки крестьянской реформы. О последующих требованиях компенсировать дворянство расширением дворянских привилегий, олигархической конституцией см. стр. 544 наст. тома и стр. 551 в т. 5 наст. изд.

60

См., например, передовые в №№ 28, 30, 33 и др. «Вести» за 1868 г.; статью В. Д. «Голос из деревни». – «Русский», 1868, № 16, 11 марта; брошюру В. П. Мещерского «Письма из средних великороссийских губерний...», СПб. 1868.

61

Е. И. Покусаев. После крушения революционной ситуации. – Сб. «Н. Г. Чернышевский Статьи...», т. 3, Саратов, 1962, стр. 159; С. Д. Гурвич-Лицинер. Об идейной эволюции А. И. Герцена в 60-е годы. – Сб. «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.», М 1965, стр. 180; С. А. Макашин. М. Е. Салтыков-Щедрин в 1860-е годы. Биография (рукопись).

62

Опасность «отклонения политических интересов» «во имя других, более плодотворных», была отмечена Салтыковым еще в статье 1863 г.

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Драматурги-паразиты во Франции» (см. в т. 5 наст. изд. стр. 254, 606–607).

63

См. письма Салтыкова к А. Н. Пыпину от 2 апреля 1871 г. и в редакцию «Вестн. Европы». Во многом близкие к «Письму шестому» мысли об «источниках сочувствия к народной жизни» были высказаны Салтыковым уже в 1863 г., в рецензии на «Повести Кохановской», в апрельской и майской хрониках «Наша общественная жизнь», но тогда его оценка народных масс, опутанных «наружными и внутренними путами», не носила еще трагической окраски (ср. т. 5 наст. изд., стр. 374–377, и т. 6, стр. 74 и 91).

64

См. прим. к стр. 64.

65

Ничему не научились, ничего не забыли.

66

после меня хоть потоп.

67

Ссылка Салтыкова на «совершенно справедливую мысль» о «трех периодах» относится к статье Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения» (см. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, М. 1950, стр. 377–379). Это отмечено в работах: Е. И. Покусаев. После крушения революционной ситуации. – Сб. «Н. Г. Чернышевский. Статьи...», т. 3, Саратов, 1962, стр. 159–160; Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, стр. 170–171.

68

Вышла в свет между 20 и 26 марта. – См. «Правительств. вестник», 1869, № 70, 30 марта, стр. 5, «Библиограф. указатель». В брошюре собрано несколько статей Кошелева о земстве, положении крестьян и т. п.

69

См., например: Н. Колюпанов. Общий взгляд на первый период истории земских собраний в России. – ВЕ, 1867, т. IV; см. там же, 1869, № 5, то есть незадолго до написания «Письма осьмого», статью «Провинциальное земство» (подпись: Б).

70

См. его сборник «Русский администратор новейшей школы», Берлин, апрель 1868 г.

71

Эта обобщенность адреса полемики значительно усилена в изд. 1882, где не только прямые ссылки на Кошелева многократно заменены общим определением «апологисты сближения», но и сняты критические пассажи против специфически славянофильских положений его брошюры. См. выше варианты к стр. 276, 281 и прим. к стр. 274, 278, 281.

72

И. М. Михайлов. М. Е. Салтыков в Туле. – «Салтыков в воспоминаниях», стр. 487–490; см. также прим. к стр. 299 наст. тома.

73

Ее главы о бедствиях народных – «Голодный город», «Соломенный город» – были напечатаны в ОЗ, 1870, № 1 (т. 8 наст. изд.).

Письма о провинции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

74

В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М. – Л. 1926, стр. 34–35.

75

См. запись в дневнике Никитенко от 27 января 1870 г. об этом «замечательном памятнике административной мудрости», сущность которого «заставляет опасаться, что в силу его вся Россия отдается под полицейский надзор» («виновники» проекта, по его мнению, – шеф жандармов П. Д. Шувалов и министр внутренних дел А. Е. Тимашев). –А. В. Никитенко. Дневник, т. 3, л. 1956, стр. 167.

76

См. текст «Записки» в брошюре «Русский администратор новейшей школы», Берлин, 1868.

77

ВЕ, 1868, № 12, редакционное прим. к статье «Мировые посредники и крестьянское управление», стр. 837. См. об этом также в письме А. В. Головнина к М. М. Стасюлевичу от 13 ноября 1868 г. («М. М. Стасюлевич и его современники...», т. I, стр. 503) и стр. 589 наст. тома.

78

Этот выпад против Безобразова вызван утверждением последнего в статье «Наши охранители и наши прогрессисты», будто благодаря ироническому «тону», «сатирическому элементу» в «Отеч. записках» (в первую очередь в произведениях Салтыкова) «публика всегда, в самые трагические минуты негодования прогрессистов, может недоумевать, серьезно или насмех они говорят» (РВ, 1869, № 10, стр. 432). См. также прим. к стр. 325.

79

Финал «Письма двенадцатого» развивал мысли апрельской хроники «Наша общественная жизнь» 1864 г. о трагизме положения «истинных деятелей» России, что было прямым откликом на процесс Чернышевского (см. стр. 667–670 в т. 6 наст. изд.).

80 «Вопросы литературы», 1960, № 2, стр. 168.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!